

«ДЕЛАТЬ В ЖИЗНИ СВОЕ ДЕЛО»

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ АНДРЕЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ
ЧЕРНЫШЕВЕ



Общество сохранения
литературного наследия

Москва
2019

УДК 821.161.1.09(47+57)(092)(082)Чернышев А. А.
ББК 83.3д(2=411.2)6я43Чернышев А. А.
Д29

Редактор-составитель Артем Лысенко
Дизайн Илья Гурьянова

*Книга подготовлена при активном и всестороннем участии
Аллы Борисовны Азаровой (Чернышевой)*

Д29 «Делать в жизни свое дело» **Воспоминания об Андрее Александровиче Чернышеве** / ред.–сост. Артем Лысенко – М.: О-во сохранения лит. наследия, 2019. – 448 с., ил.

ISBN 978-5-902484-96-7
Агентство СІР РГБ

Книга «Делать в жизни свое дело» посвящена памяти литературоведа, критика, доктора филологических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Андрея Александровича Чернышева (1936–2019). Автор ряда работ по русской литературе и киножурналистике, он обрел широкую известность в конце 1980 – начале 2000 гг. как пропагандист и публикатор основных произведений одного из выдающихся писателей русского зарубежья Марка Алданова. В сборник включены воспоминания об ученом его друзей, родных, учеников, коллег по работе на кафедре русской журналистики и литературы факультета журналистики Московского государственного университета. Печатается ряд работ А.А. Чернышева автобиографического характера, а также конспект лекций по русской литературе первых десятилетий XIX века и о Пушкине, прочитанных в Будапештском университете в 1976 году. Конспект лекций, изданный тогда же в Венгрии, в дальнейшем не переиздавался.

*На фронтисписе фото А.А. Чернышева работы Бориса Кауфмана.
Фото на суперобложке и в обеих фототетрадах –
из семейного архива Чернышевых*

ISBN 978-5-902484-96-7

© Азарова А.Б. (Чернышева), 2019

© Лысенко А.В., 2019.

© Общество сохранения литературного наследия, 2019.

От редактора-составителя

Книга, которую вы держите в руках, посвящена памяти Андрея Александровича Чернышева (1936–2019) – доктора филологических наук, профессора факультета журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Ученый с разносторонними интересами, он читал курсы лекций по русской литературе первых десятилетий XIX века, о А.С. Пушкине, вел многочисленные спецсеминары, его перу принадлежат монографии об авторе замечательной русской драмы «Дети Ванюшина» С.А. Найденове, о первых десятилетиях истории русской киножурналистики, другие исследования по литературе и кино. Трудно переоценить вклад А.А. Чернышева в изучение и пропаганду жизненного пути и творческого наследия одного из крупнейших писателей русского зарубежья М.А. Алданова: Андрей Александрович выступил в российской печати с большим количеством статей о нем, познакомил читателей с его романами, повестями, рассказами, очерками в нескольких подготовленных им собраниях сочинений, многочисленных отдельных изданиях, журнальных публикациях.

Сборник «Делать в жизни свое дело» состоит из нескольких разделов. Первый включает воспоминания об А.А. Чернышеве его близких людей, друзей, с которыми он рос, учился в школе, в МГУ им. М.В. Ломоносова, аспирантуре, коллег по работе в Союзе кинематографистов СССР, на факультете журналистики, учеников.

А.А. Чернышев не написал воспоминаний о своей жизни, однако несколько статей, в том числе неопубликованных, носят отчетливо выраженный автобиографический характер. В совокупности эти материалы, вошедшие во второй раздел, дают представление о жизни ученого, его работе, интересах, взаимоотношениях с людьми. Здесь же публикуется серия предисловий к крупным подборкам переписки М.А. Алданова с В.В. Набоковым, И.А. Бунинным и многими другими деятелями русской эмиграции. Эти материалы А.А. Чернышев в конце 1990-х гг. печатал в журнале «Октябрь». Предисловия к ним, на наш взгляд, не только вводят читателей в атмосферу русского зарубежья 20–50-х гг. прошлого века, но и дают представление о характере и формах той огромной работы, которую Андрей Александрович выполнил в архивах, прежде всего – в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке.

В третьем разделе печатается конспект лекций А.А. Чернышева по русской литературе первых десятилетий XIX века и о А.С. Пушкине. Это один из самых любимых курсов Андрея Александровича. Опубликован он был в 1976 г. в Будапеште, где Чернышев читал лекции в университете, и больше не переиздавался. Публикуя этот конспект, мы стремились к тому, чтобы читатель имел возможность почувствовать высокий профессиональный уровень научной подготовки у еще молодого, 40-летнего, специалиста-филолога.

В «Приложениях» дается перепечатка давней, конца 1980-х гг., публикации «Тринадцатый директор» из газеты «Вечерний Ленинград», в которой рассказывается о трагической судьбе деда А.А. Чернышева – Мечислава Михайловича Добраницкого. Он был известным деятелем революции, генеральным консулом СССР в Гамбурге, директором Государственной пу-

бличной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и расстрелян в ходе сталинских репрессий в конце 1930-х гг. Эта же участь постигла ближайших родственников М.М. Добраницкого, в том числе его сына – Казимира Мечиславовича (отца А.А. Чернышева). Все они впоследствии были реабилитированы. Еще одной публикацией в приложениях (рецензия А.А. Чернышева «В поисках утраченного времени») дается представление о четкой позиции Андрея Александровича при обсуждении профессиональных проблем, его принципах ведения публичных научных дискуссий. Здесь же, в «Приложениях», печатается два письма Вячеслава Назарова к А.А. Чернышеву, статьи которого о друге-поэте публикуются в свою очередь во втором разделе.

Возможно, кто-то обратит внимание на некоторые расхождения в данных, приводимых в воспоминаниях. Мы не посчитали возможным приводить тексты к единому знаменателю и что-либо подправлять в тех случаях, когда трудно или невозможно перепроверить тот или иной факт и внести окончательную ясность. Очень важно зафиксировать, как всем разным людям запомнилось. А в дальнейшем, надеемся, будут появляться материалы, уточняющие приводимые данные.

При подготовке книги к печати мы опирались на всестороннюю активную помощь Аллы Борисовны Азаровой (Чернышевой). Она предоставила нам все имеющиеся в ее распоряжении материалы, оставшиеся после кончины мужа – Андрея Александровича, написала для сборника воспоминания, участвовала в отборе фотоснимков из семейного архива. Все ее советы, пожелания были учтены. Надо признать, что вообще без деятельного участия Аллы Борисовны, заинтересованной в том, чтобы сохранить память о жизни и творчестве Андрея Александровича, настоящее издание вряд ли бы состоялось.

Материалы этой книги, а также другие работы А.А. Чернышева размещены на сайте www.andrey-chernyshev.ru. Сайт будет пополняться по мере поступления откликов на книгу воспоминаний, новых статей, рецензий, фотографий и т.д.

Артем ЛЫСЕНКО

ВОСПОМИНАНИЯ

ОБ АНДРЕЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ЧЕРНЫШЕВЕ

Ясен ЗАСУРСКИЙ

Преподаватель, ученый, личность

Весть о кончине Андрея Александровича Чернышева отозвалась болью. Вся его жизнь со студенческих лет прошла на моих глазах. Он был моложе меня, и когда учился на нашем факультете журналистики, я уже преподавал. Его студенческий период, его становление как личности с обостренными общественными интересами пришлось на бурные пятидесятые годы, пиком которых был XX съезд партии, заставивший на многие проблемы общества посмотреть иными, чем прежде, глазами. Чернышев был умным прогрессивным человеком.

Но, должен сказать, политика в его жизни никогда не выступала на передний план, он с самого начала учебы на факультете был всецело предан русской литературе, отдал ей десятки наиболее плодотворных в творческом отношении лет. Он был увлечен жизнью и судьбой замечательного русского писателя, автора «Детей Ванюшина» Сергея Найденова, написал книгу, вышедшую в издательстве Московского университета еще в 1977 г. Андрей Александрович сумел сказать о драматурге новое слово, ввести в научный оборот целый ряд не известных фактов и документов, осмыслить творческий путь Найденова

ЗАСУРСКИЙ Ясен Николаевич – советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова (1965–2007), с 2007 г. – президент факультета журналистики, Заслуженный журналист Российской Федерации.

с позиций исследователя, не только полюбившего своего героя, но и досконально исследовавшего все доступные на тот момент архивы.

Способность, я бы даже сказал страсть к архивной работе будет отличать научный подход Андрея Александровича к любой исследовательской задаче на протяжении всей его дальнейшей жизни. Очень хорошо помню, как он защищал докторскую диссертацию, посвященную русской дооктябрьской киножурналистике. Он был во всеоружии, мгновенно парировал все вопросы, которые ему задавали не только оппоненты, но и другие знатоки проблемы, в том числе от Союза кинематографистов. Чернышев глубоко разработал тему, продуктивно проведя в архивах немало времени, достойно выгладел на защите. Я как декан факультета испытывал чувство удовлетворения за человека, которому не мог не симпатизировать. Вскоре монография так же, как и первая его книга, вышла в издательстве нашего университета, а позднее Андрей Александрович по праву стал профессором кафедры русской журналистики и литературы.

Он испытывал интерес к русской эмигрантской литературе, увлекся почти не известным тогда у нас в стране Марком Алдановым. Получив в США доступ к Бахметевскому архиву и капитально поработав в нем, сумел познакомить нашего читателя с огромным массивом романов, повестей, рассказов, очерков, писем яркого писателя, очень хорошего, кстати сказать, журналиста и издателя, одного из основателей «Нового журнала» в Нью-Йорке, друга Бунина и Набокова. Чернышев на рубеже и в середине 1990-х гг. подготовил и выпустил несколько собраний сочинений Алданова, позднее вышел восьмитомник, а перед этим развернул на страницах наших газет и журналов настоящую пропаганду его творчества, рассказал о его жизни, работе, антифашистской борьбе. Помню обширные подборки из переписки Алданова с Буниным, Набоковым, другими писателями,

художниками, деятелями культуры, политиками, которые Чернышев неутомимо печатал в журнале «Октябрь», сопровождая публикации обстоятельным, как всегда, выверенным и глубоким анализом, комментариями. Считаю, что Андрей Александрович, введя не только в научный, но и в широкий читательский оборот нашего общества произведения Марка Алданова, совершил настоящий подвиг. Без творчества Алданова теперь невозможно представить мир русской литературы и журналистики первой половины прошлого века.

Среди лучших преподавателей нашего факультета я особенно ценил и ценю тех, кто не читает лекции по бумажке, а по-настоящему интересен студентам, умеет увлечь их. Это особенно важно, когда речь идет о русской литературе и том его периоде, который должен хорошо знать каждый, – периоде Пушкина. Андрей Александрович был его знатоком и именно таким специалистом, такой личностью. Чернышев останется в памяти как крупный ученый, преподаватель, прочитавший на нашем факультете немало очень интересных курсов по русской литературе, помогавший аспирантам. Как профессор, которого ценили и уважали коллеги и студенты, как человек широких интересов, живой, справедливый, интеллигентный и талантливый.

Анатолий АНДРИКАНИС

Жили по-соседству, вместе учились в школе

Я познакомился с Андреем в 1944-м. Заканчивалась война с фашистами. Мы с матерью приехали из эвакуации в Москву. Жили на Петровке в доме № 20, я – в квартире № 1, Андрей – в квартире № 2. Обе квартиры находились на одной лестничной площадке на втором этаже. Дом был построен для богатых людей в начале XX века: высокие потолки – 4,5 метра, комнаты площадью около 30 квадратных метров, был проход из одной комнаты в другую через двери. После революции в каждую комнату были заселены отдельные семьи, а двери между комнатами были закрыты. Дом находился между улицей Петровкой, переулком Петровские линии и Неглинной улицей.

Познакомила меня с Андрюшей его бабушка Лидия Александровна (он ее называл Бутюша), с которой Андрюша жил. Его родители, рядовые люди, были репрессированы. Отец, Добраницкий, больше не появлялся. Мать, Ронжина Нина Георгиевна, после войны вернулась домой. На бабушку до появления матери Андрюши легла вся забота о воспитании внука во все время войны. Годы были очень трудные: продукты выдавались по карточ-

АНДРИКАНИС Анатолий Николаевич – инженер, специалист в области ракетно-космической техники, с 1954 г. и по сегодняшний день работает в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия»), в течение первых десяти с лишним лет под руководством С.П. Королева.

кам в ограниченном количестве, одежду достать было тяжело, как правило, перешивали для детей из старой одежды взрослых.

После войны мы ходили в магазины за продуктами. После отмены карточек в магазинах свободно продавалась икра красная и черная, спокойно можно было купить крабовые консервы, но для нас это было достаточно дорого. Ежегодно снижали цены на многие продукты.

На улицах почти не было машин, изредка ездили пассажирские экипажи с кучером на переднем сидении. Андрюшу тем не менее однажды задела машина, но все обошлось без травм. Чаще всего можно было увидеть американские машины: легкой «виллис» или грузовой «студебеккер».

Андрюша, благодаря бабушке, учился дома. Он был хорошо подготовлен по гуманитарным предметам, в школу поступил сразу в третий класс и очень хорошо учился. Мы учились в 166-й начальной школе, где окончили четвертый класс, и перешли в 170-ю среднюю школу. Там мы учились в разных классах. Андрюша знал основы английского языка и поступил в класс, в который брали подготовленных по языку детей. Мать Андрюши была переводчицей и знала, кажется, шесть иностранных языков, чем помогала в учебе сыну.

Дома мы вместе играли в разные игры: шахматы, шашки, в переулке или на бульваре – в футбол теннисным мячиком.

Иногда мы ходили в Сандуновские бани, где был бассейн, и мы там учились плавать. Бани были по соседству с нашим домом на Неглинной улице.

Отец подарил Андрюше фотоаппарат с негативом на пластинках, и мы фотографировали друг друга и все, что было интересно, освоили процессы проявки и печати фотографий, работу с увеличителем.

У нас был сосед Романов Боря. Он жил в нашем подъезде, но на третьем этаже. Мы часто проводили время вместе. Боря был

очень музыкальным парнем: учился в музыкальной школе, играл дома на пианино. Он нас с Андрюшей познакомил с джазом, и мы полюбили джаз. Андрюша иногда разыгрывал Борю, и он поддавался на розыгрыши. К сожалению, Боря еще школьником погиб при операции на головном мозге, мы очень переживали это горе.

У Андрея появился отец – Александр Николаевич Чернышев, который его усыновил. Отец вместе с нами иногда принимал участие в развлечениях, так он научил нас играть в детские карты. Он делал интересные подарки Андрюше: мне запомнились наручные часы, которые самозаводились при ходьбе от движения рукой.

В одной комнате им жить стало невозможно, и родители Андрюши обменяли комнату в квартире № 2 на большую по площади квартиру в бельэтаже этого же дома. Квартиру перестроили так, что у каждого была своя комната. Но потолки были значительно ниже – примерно 2,5 метра.

Я после окончания седьмого класса пошел в техникум, а Андрюша готовился поступить в университет на факультет журналистики. При встречах он меня ставил в тупик написанием некоторых слов, которые могут спросить при поступлении в университет. Но у него был богатый запас знаний по выбранной специальности: с детства он знал наизусть «Евгения Онегина», он часто читал наизусть стихи, много читал художественной литературы. Я помню, что он читал нам по памяти стихи Маяковского, Северянина.

Школу Андрей кончил с медалью.

Далее мы стали реже встречаться, т.к. были заняты на работе, но созванивались, делились новостями. Когда мы встречались, часто играли в преферанс. Я у Андрея встречал его друзей по университету: Володю Бонч-Бруевича, Вилену Гундорова и других.

Мы вместе отдыхали на Черном море: были в Шепси, Гаграх, Коктебеле. Иногда в нашу компанию на юге входили товарищи Андрея (Калинушкина, Устинова). На Кавказе мы полюбили грузинские вина: Киндзмараули, Оджалеси, Салхино и потом при встречах старались достать эти напитки. Андрюша в море совершенствовал свое умение плавать.

В последние годы мы чаще всего встречались на днях рождения друг друга.

Вилен ГУНДОРОВ, Эмма БУРОВА

Третий завет

Вилен Александрович: Вот и ушел в мир иной второй из нашей тройки – Андрюша Чернышев.

Что нас было только трое, я стал понимать после ухода первого – Володи Бонч-Бруевича. С 1954 г., то есть в течение 65 лет, товарищей, друзей вокруг нас было много. Хороших друзей – меньше, но тоже были. А вот близких друзей было (стало) только трое – Володя, Андрей и я. Так мне это представляется в последнее время. Все эти годы встречались то часто, чуть ли не каждый день, то редко. Но каждая встреча давала новые знания, новые ощущения, новое видение жизни. Понимание, что в городе, рядом, есть друг, настоящий друг, усиливало уверенность в смысле жизни. Это понимание далось не сразу, но утверждалось постепенно с каждой новой встречей. Воздействие Андрея на меня было ощутимо даже тогда, когда мы не встречались. Действовали сила его знаний, его манера поведения, его отношение к людям.

Эмма Ивановна: Вилен был другом Андрея, а я подружкой Аллы. Мы много лет с Виленом шли как бы параллельным кур-

ГУНДОРОВ Вилен Александрович – работал старшим научным сотрудником отдела дальней радиолокации НИИ дальней радиосвязи Министерства радиопромышленности СССР. Участник испытаний экспериментальной системы противоракетной обороны «А». Советским специалистам удалось 4 марта 1961 г. впервые в истории осуществить перехват головной части баллистической ракеты Р-12; БУРОВА Эмма Ивановна – специалист-архивист, в течение многих лет работала в Институте автоматизированных систем управления Министерства рыбного хозяйства СССР.

сом, бывали, очевидно, в одних и тех же компаниях, участвовали во встречах с людьми одного и того же большого круга Чернышевых, но познакомила нас двоих, лично, Алла только в начале 1990-х гг. И вот уже четверть века мы живем вместе. А Андрея я впервые увидела в 1959 г. Алла пригласила меня на свой день рождения. К нам подошел красивый молодой мужчина, и втроем мы провели несколько замечательных часов. Помню, как он просвещал нас по части советской литературы, рассказывал о Малышкине и Шолохове, а мы все смеялись. О Малышкине я тогда вообще ничего не слышала. После того, как мы с Виленом поженились, мы отмечали каждую годовщину нашего совместного жития, и у нас всегда в этот день, 31 марта либо в первых числах апреля, бывали Андрей и Алла. Кстати сказать, мы вместе встречали и Новый год. Чернышевы приходили к нам, как правило, первого января, благо наши дачи расположены относительно недалеко друг от друга. Они умели поддерживать и усиливать праздничное, радостное настроение.

В.А.: Я примерно в это же время, в конце 1950-х гг., когда Эмма впервые увидела Андрея, может быть, немного пораньше, тоже познакомился с ним – благодаря Володе Бонч-Бруевичу, с которым мы любили играть в преферанс. Потом к нам в этой игре присоединился и Андрей. Он с мамой и отчимом жил на Петровке, напротив ресторана «Аврора» (в дальнейшем его переименовали в «Будапешт»), в очень непритязательной квартире на втором этаже. Наверное, раньше это были складские помещения, совсем или почти, не помню точно, без окон, а до потолка можно было достать рукой. Перед тем, как войти в квартиру, преодолевался подъем по узенькой черной лестнице. В тесных комнатках обращал на себя внимание старинный секретер из красного дерева. Видимо, он остался от родителей Андрея. Также бросалась в глаза и висевшая над его кроватью абстрактная картина – не ковер, хотя чем-то и похожая на него,

а именно картина с гаммой красок и линий. Не ширпотреб, не репродукция из «Огонька» (у Андрея был взыскательный тонкий вкус), а чья-то серьезная художественная работа. Мы были молоды и любили пошутить друг над другом. С Володей Бончем, когда Андрея в комнате не было, быстро переворачивали картину вверх ногами: заметит или нет? Андрей, входя к нам, сразу же обнаруживал нашу каверзу и немедленно возвращал абстракцию в правильное положение.

Он пользовался любой возможностью, чтобы расширить свои художественные познания. Как-то мы ездили с ним на машине в Каунас, я сидел за рулем, и первый адрес, куда он меня потянул, был знаменитый костел. Он хотел сам посмотреть витражи и мне с большим знанием предмета объяснял, в чем их уникальная красота, рассказывал об истории создания шедевра. Во всем чувствовалась научная основательность Андрея, отзывчивость каких-то его внутренних душевных струн при встрече с настоящим искусством. Вторым адресом в Каунасе, который, по мнению Андрея, просто нельзя было проигнорировать, стал музей Чюрлениса. «Этого художника должен знать каждый», – настаивал мой друг. Раньше я ничего не знал о нем, а с тех пор он неизменно присутствует в мире моих интересов.

Вот так же произошло и с Алдановым, Андрей раскрыл для меня богатство этой недюжинной личности. Мало того, что мы с Эммой перечитали и полюбили произведения прекрасного писателя-эмигранта, опубликованные в нашей стране Чернышевым, мы много обсуждали с Андреем эту яркую фигуру русского зарубежья. Ну, обсуждали, это, наверное, неточно сказано. Все-таки мы были с Андреем очень разными людьми, в том числе по образованию, профессии. Он гуманитарий, филолог, доктор наук, профессор, а я окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, разработчик радиолокационных станций, сотрудник НИИ, сугубый технар. Тем более

нам было интересно с ним. Мы узнавали от него много нового. Бывало, на даче у него сидим, он, поглаживая кошку, что-то отвечает на наши вопросы после какого-нибудь прочитанного нами романа Алданова, а потом увлекается и выдает целые... ну, может быть, не лекции, но очень пространные неспешные монологи. И я уж не знаю, через что происходило у нас настоящее приобщение к Алданову – через его книги или через такие вот увлекательные беседы с Андреем. И последнюю его обобщающую работу об Алданове в итоговой книге «Открывая новые горизонты» мы прочли с немалым интересом.

Э.И.: Мы с Виленом большие любители путешествий, особенно он. Где только не побывали, и в нашей стране, и за границей! Во Франции заехали в Грасс, к дому, где жил Бунин, а в первый же день пребывания в Ницце взяли такси и отправились на кладбище искать могилу Алданова: мы такую поставили перед собой главную цель в этой французской поездке. Сами не смогли найти, это сложно, обратились в контору, там пожилая работница отыскала нужные сведения, сообщила нам номера участка, могилы, дала сопровождающего. На могиле писателя сделали несколько фотоснимков, привезли их Андрею Александровичу с Аллой... Жаль, сами они так и не собрались побывать там, хотя очень хотели.

В.А.: Разговорить Андрея было не так просто. Он все-таки из категории «молчунов». О себе что-то сообщал, когда его спрашивали. О трагической истории его семьи я узнал от него только лет двадцать назад. Ответы его всегда были емкими и поразительными. Он серьезно относился к произносимому слову. Его надо было слушать внимательно, иначе терялась возможность уследить за мыслью, всегда интересной. С ним, пожалуй, трудно было разговаривать, потому что он как бы невольно заставлял тебя подтянуться, следить за своей речью, стараться соответствовать нормам культурного, интеллигентного челове-

ка. Он своим примером ставил планку, она была повыше твоей и обязывала. При этом никакой скованности я никогда не чувствовал, наоборот, с ним хотелось общаться, Андрей очень притягивал меня к себе.

Временами я ощущал, что мне его не хватает. Помню, он уже перебрался на новую квартиру, в район Палихи, на последний, пятый этаж. Мне страшно хотелось его увидеть: у Андрея день рождения, но он его, как правило, не отмечал. Позвонил к нему, сказал, что зайду. «Заходи, конечно». Он был дома один, мы пили чай. Так хорошо с ним было! Я отвел душу.

Иногда мы не встречались подолгу: Андрей уезжал за границу – в США, Венгрию, Германию. Он там работал в архивах, читал лекции. Его интересовала культура других стран и народов. В Индии он жил в очень скверных условиях, потому что на командировочные деньги особо не разгуляешься. Он рассказывал об этих условиях: глиняный пол в комнате, за занавеской примитивные туалетные приспособления... Все лишения этот интеллигентный человек стойко переносил ради возможности узнать что-то новое о другой стране.

Э.И.: Вглядывался в людей, был очень наблюдательным. Это мы с Виленом еще раз с благодарностью к нему отметили, когда Андрей Александрович в сентябре 2017 г. подарил нам свою книгу «Открывая новые горизонты» с большим посвящением: «Эмме и Виле. Когда я вас слушаю, порою случается, что начинает фразу или мысль один из вас, а заканчивает другой (другая). Для меня, филолога, это очевидный знак единства двух душ, а не случайная небрежность. Вокруг вас редкостная и благодетельная аура внимания, доверия, заботы о ближнем. Я как-то пошутил (в шутке есть доля истины), что надо бы молодоженов водить в ваш дом на экскурсии – пусть учатся быть счастливыми вдвоем. Люблю вас...»

В.А.: А в последней фразе этого посвящения он написал: «...Три завета: 1) не прогибайтесь перед болезнями, 2) не разлучайтесь, 3) не забывайте меня». Когда он подарил свою книгу с такой надписью, я просто поблагодарил его. Мы были оба живы. Теперь мне есть что сказать, но его уже нет. Андрей, твой третий завет, пока я жив, – закон для меня!

Помню! Помню! Помню!.

Лев БОРЩЕВСКИЙ

«Высокое рядом с тобой, умей его разглядеть»

Как сказано у Пастернака:
*«Начало было так далеко,
Так робок первый интерес...»*

Не помню точно, в каком году мы познакомились. Могу только сказать, что вскоре после моего поступления на факультет журналистики МГУ в 1955-м. Студенты с любопытством приглядывались друг к другу и легко сближались. Андрей был на два курса старше. Отчасти поэтому, наверное, общение было поначалу эпизодическим. Вспоминая позже об этом времени, он охарактеризовал в одном письме ко мне наше знакомство как «шапочное». Но однажды мы как-то случайно столкнулись в «Книжной лавке писателей» на Кузнецком мосту, где он – на зависть мне – имел полезные контакты и мог покупать лучшее из того, что выходило. Разговорились, слово за слово, и (тут я еще раз процитирую Андрея) «вдруг нашли такое сходство понятий и даже душ, что стали друзьями на долгую жизнь. Жаль, что не вели дневники, было бы любопытно сейчас прочитать, как мы тогда представляли будущее».

БОРЩЕВСКИЙ Лев Аронович – журналист, выпускник факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время живет и работает в США.

Действительно, жаль. Помню, правда, что радостных надежд в то время было с избытком (на дворе стояла «оттепель»), но по мере того, как они не сбывались, приходилось с болью расставаться с иллюзиями.

О политике говорили мало. Больше о журналистике и литературе. Тогда появилась возможность, хоть и крайне ограниченная, раздобывать какие-то зарубежные издания запрещенных в Союзе писателей авторов, в основном это была продукция Издательства имени Чехова. Так мы знакомимся с Набоковым, Борисом Зайцевым, Цветаевой, Андреем Белым. У нас было о чем поговорить.

Андрей никогда не упоминал кого-либо из репрессированных родственников, не распространялся о судьбе родителей. Сегодня, когда мы так много знаем о «Большом терроре», трудно вообразить, до какой степени мы были так мало осведомлены в то время. Узники только-только возвращались из ГУЛАГа и предпочитали помалкивать. К тому же при освобождении они давали подписку о неразглашении. Сведения просачивались по капле. До разоблачений Солженицына еще было далеко. У нас с Андреем был один общий кумир – профессор Александр Васильевич Западов. Он вел курс русской литературы XVIII века. Позже Чернышев написал о нем: «мой любимый университетский учитель» и для заголовка своей последней книги взял услышанное когда-то от Западова выражение «Открывая новые горизонты». Западов предложил мне написать курсовую работу о Мандельштаме. Я с удовольствием взялся за нее, но вскоре столкнулся с проблемой почти полного отсутствия источников информации. Удалось достать кое-какие старые издания. От друзей получил «самиздат» со стихами 1920–1930-х гг. – переплетенные машинописные листки. Но о том, что произошло с поэтом, я не имел ни малейшего понятия. И когда наивно попросил Западова дать мне рекомендательное письмо в литера-

турный архив, он с саркастической усмешкой сказал: «Тут нужны совсем другие архивы, там моя подпись ничего не значит».

Исследователи, которые хотели жить дальше в ладу со своей совестью, в советские времена старались братья за темы, по возможности далекие от главных идеологических троп. Может быть, поэтому Андрея привлек драматург Сергей Александрович Найденов. Публика знала об этом писателе мало. Известна была пьеса «Дети Ванюшина», да и то немногим. Чернышев выступил в роли первооткрывателя, опубликовав в 1977 г. книгу «Путь драматурга. С.А. Найденов».

Интересной частью его деятельности было участие в работе Бюро пропаганды киноискусства. Хорошее кино в то время было отдушиной и для зрителя, и для тех, кто занимался им профессионально. Думаю, и Андрею эта работа, связанная с разъездами, приносила немалое удовлетворение, отвлекая от факультетских будней. Он не раз приглашал нас на свои презентации в кинотеатр «Иллюзион». Помню, например, комедию «Тетка Чарлея», над которой мы тогда смеялись от души.

Общение с Андреем Чернышевым всегда было удовольствием. Приятная наружность, легкость и изящество в жестах и манерах, что-то такое, что я бы назвал аристократизмом. У него явно был вкус и умение одеваться. Улыбчивый, общительный. Можно было разговаривать с ним бесконечно долго. Как обычно, он ставил точку в беседе сам, часто неожиданно, обычно короткой фразой «С богом!», которая не предполагала долгое прощание.

Другие места, другие времена. Конец 1994 г. Мы живем в Нью-Йорке, в Астории (в Квинсе). Неожиданно на нас сваливается радость: приехал Андрей, получил грант от корпорации IREX, будет работать в Бахметевском архиве, собирать материалы об Алданове. В это время мы виделись больше, чем, может быть, когда-либо прежде: у него никого в Нью-Йорке

не было, и ему было приятно поделиться своими новыми многочисленными находками и провести вместе минуты недолгого досуга.

Мы гуляли по Централ-парку, по той его части, что находится неподалеку от Колумбийского университета и, стало быть, от Бахметевского архива. В архив я как-то заходил вместе с Андреем и имел возможность посмотреть, где и как он работает. Мы бродили по близлежащим улицам, разглядывали недостроенную нью-йоркскую достопримечательность – неоготический кафедральный собор Св. Иоанна Богослова на Амстердам-авеню, который начали сооружать еще в 1892 г., да так и не закончили до сих пор. Он был задуман когда-то как храм всех религий. Некоторые критикуют его за архитектурную эклектику, может быть, отчасти справедливо. Однако все равно это очень впечатляющее сооружение.

Работа в архиве была, насколько я мог судить, потрясающе успешной. Чернышев нашел много такого, чего и не ожидал найти. Лицо его, когда мы виделись, неизменно светилось радостью. Настроение у него было приподнятое. Нью-Йорк как город был ему очень по душе.

Второй раз он приехал на достаточно долгий срок уже вместе с женой Аллой. На этот раз было больше свободного времени. Мы вчетвером (чета Чернышевых и я с женой Соней) гуляли по Манхэттену, съездили на прогулочном судне к Статуе Свободы. Это короткое плавание произвело на него сильное впечатление. Позже он написал мне в письме: «Увиденное в тот день поразило меня: высокое рядом с тобой, умей его разглядеть». Часть этой фразы, которую я вынес в заголовок, мне кажется, можно отнести к нему самому.

Мы отправились в Бруклин, в район Вильмсбурга, который тогда начал быстро развиваться и облагораживаться. Его облюбовала молодежь, учащаяся или недавно получившая об-

разование. А там, где селится такая юная, энергичная публика, мгновенно плодятся небольшие ресторанчики, бары, галереи, магазинчики и антикварные лавки. Из одной из них я буквально не мог увести Андрея. Там была всякая всячина, старинная и не очень, картины, фарфор, посуда, металлические мелочи. Его, как ребенка, нельзя было оторвать от этих незатейливых диковин. Потом мы зашли пообедать в недавно открытый тайский ресторанчик. Мы с женой там бывали прежде. Но я беспокоился, понравится ли гостям еда и напитки. Заказали жареную рыбу и горячий сакэ. Мои опасения оказались напрасны. Все пришлось по вкусу. Из наших прежних совместных трапез у меня сложилось впечатление, что Андрей совсем не привередлив в еде. Как-то, еще в первый приезд Чернышева, когда мы еще обитали в Астории, однажды после совместной прогулки вспомнили, что в холодильнике пусто, и заказали на скорую руку что-то в местном китайском ресторане. Андрей ел с удовольствием, и его явно покорило снобистское замечание еще одного случайно оказавшегося за столом гостя о том, что Chinese food – это дешежка.

К сожалению, последнее время виделись мало. Мы ездили в Москву крайне редко. А Андрею больше в Америку выбраться не удалось. Переписывались, перезванивались, обменивались поздравлениями к праздникам.

В 2017-м, когда вышла книга Чернышева «Открывая новые горизонты», он попросил меня прислать отзыв, с оговоркой – без комплиментарности. Я отправил нечто вроде микрорецензии. Хочу частично процитировать мое письмо:

«Дорогой Андрей!

Для нас с Соней было подлинной радостью получить от тебя и прочитать твою книгу. Во-первых, потому, что автор, как трудно догадаться, – дорогой для нас человек. А во-вторых, по-

тому, что она захватывающе интересна (Впрочем, что тут «во-первых», а что «во-вторых», определить нелегко).

Да, ты предостерегал меня против комплиментарности, и я всеми силами стараюсь этого избежать. Но правда состоит в том, что мы оба и в самом деле читали с огромным удовольствием. Должен признаться, что «Рядом с “чудесными кино”...» – для меня terra incognita, совершенно новый материал, из которого прежде были известны лишь крупницы. А «Материк по имени «Марк Алданов», хотя и более знаком, но не настолько, чтобы уверенно совершать по нему прогулки. В этом отношении твоя книга станет для меня путеводителем».

Так оно и вышло. Мы перечитываем Алданова и каждый раз при этом с благодарностью вспоминаем Андрея. Он сделал так много, как никто, для возвращения этого замечательного писателя публике, читающей по-русски.

Итак, мы знали друг друга больше 60 лет. В письме, которое Андрей прислал за несколько месяцев до смерти, он восхищался тем, что в наших отношениях за все время «не было ни одной фальшивой ноты». Эта ремарка согревает сердце.

У Алданова есть такая фраза: «Делать в жизни свое дело, делать его возможно лучше, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь, хоть маленький разумный смысл».

Мне кажется, это было кредо самого Андрея Чернышева, которому он следовал всегда, еще со времен своей юности, еще до того, как сделал первые шаги, вступив на «материк по имени «Марк Алданов».

Людмила СЕРГЕЕВА

«Слова прощения и любви»

Мне кажется, что Андрей Чернышев был в моей жизни всегда. Нам было по 19 лет, мы оба перешли на второй курс университета, он – на факультете журналистики, я – на филфаке. Встретились мы летом 1954 г. (Боже мой, 65 лет назад!) в университетском доме отдыха в Дубултах, на Рижском взморье. Каждый из нас мог бы сказать об этой встрече словами Осипа Мандельштама: «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен».

Андрей – высокий, красивый молодой человек, застенчивый, неловкий, не умел танцевать, а все вокруг были помешаны на танцах, он же был воспитан несовременно – всем девочкам целовал руку, произносил по-старомосковски некоторые слова: грешневая каша, коришневый цвет, булосная, яблосный пирог. Потом-то я узнала, что так говорила его бабушка, которая Андриюшу воспитала. Андрей смотрел на меня восторженно, нежно и робко, как только смотрят мальчики, впервые влюбившись в девочку.

На своей последней книге «Открывая новые горизонты» Андрей Чернышев написал мне: «Люда, в мои зеленые (годы. –

СЕРГЕЕВА Людмила Георгиевна – филолог, критик, мемуарист, печаталась в журналах «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Знамя», в «Независимой газете». В 2019 г. в издательстве АСТ (Редакция Елены Шубиной) вышла ее книга «Жизнь оказалась длинной», в которую вошли воспоминания об Анне Ахматовой, Надежде Мандельштам, Иосифе Бродском, Андрее Синявском и Марии Розановой. Работала редактором в издательстве «Советский писатель», журнале «Библио-глобус. Книжный дайджест».

Л.С.) ты была перлом, сном, кумиром...». Так он и относился ко мне все годы, пока я не вышла замуж. Мне льстило столь трогательное и восхищенное отношение Андрея, тем более, что этот интеллигентный мальчик был умен и начитан, с ним интересно было общаться. «Все-таки мы были публикой книжной, а в известном возрасте, веря в литературу, предполагаешь, что все разделяют или должны разделять твои вкусы и пристрастия», – написал Иосиф Бродский как будто точно о нас.

Сохранились две фотографии того времени. Одна – у террасы нашего летнего домика в Дубултах, где мы дружно и весело жили втроем: слева Юля Алиханян, студентка второго курса исторического факультета МГУ, посередине Лиля (фамилии не помню), студентка четвертого курса Московской консерватории, справа – я. Мы сидим на крылечке, а в ногах у нас, положив голову Лиле на колени, дурачится Андрюша. Снимал нас мой знакомый рижанин – студент, тоже будущий журналист, Игорь Дижбуте, которого все называли ласково просто Диж. Кстати, с Юлей я продолжала общаться и в Москве. У ее родного дяди, знаменитого физика академика Алиханова, была прекрасная библиотека. Из этой библиотеки мы впервые прочли Олдоса Хаксли, Олдингтона и Хемингуэя – «Фиесту», «Иметь и не иметь», «Прощай, оружие». Это все довоенные прекрасные издания в отличных переводах. Мы с Андреем всегда обменивались хорошими книгами, читали их аккуратно и всегда возвращали хозяевам.

А вот вторая фотография, где мы с Андреем в рижском парке у парапета, вышла более интимной благодаря Дижу. Он сказал Андрею: «Ну что ты стоишь рядом с Людой, как солдатик, руки по швам, обнял бы ее». И это объятие Андрея стало таким неожиданным и неловким, запрокинуло меня на спину, я едва удержалась на ногах, судорожно ухватившись за руку Андрея. Я засмеялась, а Андрей едва коснулся губами моей щеки – это

максимум того, что он мог позволить себе, глядя на меня влюбленными глазами.

Вернувшись в Москву, Андрей сразу пригласил меня к себе домой на Петровку и познакомил с бабушкой. Вот в его бабушку я влюбилась сразу и навсегда. Мне в жизни не достались бабушки и дедушки, я поздний ребенок, а мне так всегда хотелось иметь бабушку. Лидия Александровна была не просто Андрюшиной бабушкой, но личностью неординарной, дамой «не из нашего столетия». Она говорила на прекрасном русском языке, не подверженном советскому новоязу, была глубоко верующим человеком – в углу ее комнаты всегда у иконы горела лампадка. Лидия Александровна хорошо знала и любила русскую литературу. Как-то она сказала мне о Чехове, которого часто перечитывала: «Чехов – это мой пятый Евангелист». Ее подругами смолodu были Елена Сергеевна Шиловская, задолго до того, как она стала женой Булгакова, а также Александра Леонидовна Оболенская, княжна, мать Константина Симонова. Все это окружало Андрея с детства.

Лидия Александровна меня сразу приветила и полюбила. Я нередко забегала к ней, когда она была одна, без Андрея. Жила я неподалеку – в Малом Гнезниковском переулке. Лидия Александровна рассказала, что Андрюша писал ей из Дубулт восторженные письма о своих чувствах ко мне, чего я никогда от самого Андрея не слышала. Но он почти все время был рядом: мы вместе ходили в кино, на выставки, в библиотеку МГУ, я его взяла на встречу с Бурлюком в музей Маяковского в Гендриковом переулке, ходили мы и в гости к знакомым Андрея. Помню, однажды были в Хлыновском тупике у молодого Льва Тимофеева, ставшего впоследствии известным журналистом и правозащитником. Андрей познакомил меня с Толей Якобсоном, бурным и очень интересным человеком, тогда он был школьным учителем и только начал заниматься литературной

деятельностью. Позже Толя Якобсон стал известным диссидентом, его преследовали власти, ему пришлось эмигрировать в Израиль, где он трагически закончил жизнь. Познакомил меня Андрей и со своим лучшим университетским другом Володей Бонч-Бруевичем, с которым они дружили потом всю жизнь, и ушли друг за другом: сначала Володя, следом за ним – Андрей Чернышев.

Я тоже представила Андрея своим университетским подругам – красавице Зое Сироткиной, Люсе Мякинковой, Тане Калинушкиной (увы, всех троих уже нет на этом свете), Тане Соколовой. Девочки были от Андрея Чернышева в восторге: такой воспитанный, интересный, несовременный молодой человек. Андрея они всегда предпочитали двум моим поклонникам, которые позже появились на горизонте.

После речи Хрущева на XX съезде КПСС с разоблачением сталинских злодеяний Андрей открыл мне свою семейную тайну. Его отец Казимир Мечиславович Добраницкий расстрелян в 1937 г., как и дед с бабушкой по отцовской линии. Отец Андрея был известный журналист, библиофил, входил в круг близких знакомых Волошина и Ахматовой. Андрей носил фамилию и отчество отца до тех пор, пока его мама, Нина Георгиевна, не вернулась из лагеря, где провела 8 лет своей молодости, попала она туда двадцатидвухлетней. Вернувшись на свободу, она снова вышла замуж – за инженера-полиграфиста Александра Николаевича Чернышева, очень доброго и достойного человека, который Андрюшу усыновил. Так Андрей Добраницкий перестал быть сыном «врага народа» и стал на всю оставшуюся жизнь Андреем Чернышевым.

Андрей поведал мне, что он не только не помнит своего отца (ему не было и двух лет, когда отца арестовали), но даже не знает, как он выглядел. Ни одной его фотографии в доме не осталось: то ли забрали все при обыске, то ли бабушка уничто-

жила из страха за маленького внука, которого бабушка забрала к себе и воспитывала одна почти до десяти лет. С вернувшейся из лагеря мамой отношения у Андрея всегда были напряженными, и маму и папу ему навсегда заменила бабушка. Лидия Александровна мне как-то призналась: «Я очень любила своего мужа, люблю Ниночку, мою единственную дочь, но Андрюшу я люблю больше всех, наверно потому, что это моя последняя любовь в жизни».

В 1957 г. я вышла замуж за Андрея Сергеева. Я сразу поехала на Петровку, чтобы самой рассказать об этом Андрюше – он сказал, что все равно мы останемся друзьями. Так и вышло: хотя виделись мы теперь реже, чаще звонили друг другу. Осенью 1959 г. мы с Андреем Сергеевым поехали отдыхать в Коктебель. Сойдя с автобуса, с вещами, мы сразу пошли к Дому Поэта. Нам отрыла Мария Степановна, вдова Максимилиана Александровича Волошина. Мой муж с порога начал читать наизусть «Дом Поэта».

Войди, мой гость, стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога...
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах.
Мой кров – убог. И времена – суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы...

Мария Степановна растрогалась – к ней в то время еще не приходили молодые люди, знавшие наизусть ненапечатанные стихи Волошина. Паломничество к Дому Поэта случится много позже. Мария Степановна предложила нам пожить у нее, пока мы не найдем комнату в поселке, допустила к архиву Волошина.

Мы стали ее «новыми молодыми друзьями», как аттестовала нас Мария Степановна. И в один из вечеров на ее кухне я спросила, говорит ли ей что-нибудь имя Казимира Добраницкого. Она сразу оживилась и сказала, что Казик был большим почитателем Волошина и частым гостем в их доме. Казик был очаровательный молодой человек, хорошо воспитанный и образованный, они с Максом его очень любили. И тогда я рассказала, что дружу с сыном Казимира Добраницкого, который ничего не знает об отце и даже не представляет себе, как он выглядел. Мария Степановна немедленно пошла в свою комнату искать фотографию Казика. И вскоре вернулась с любительским снимком отца Андрея Чернышева. Я умолила Марию Степановну дать эту фотографию, чтобы показать сыну, а он непременно придет к вам, я его уговорю, вернет это фото вам и лично услышит Ваши воспоминания о своем отце. Что Андрей Чернышев и сделал примерно через год. По-моему, мой поступок не одобрила Нина Георгиевна, мама Андрея, страх в ней сидел глубоко, прошлую свою жизнь она не склонна была вспоминать, она хотела ее забыть. Я же всегда была на стороне правдивой памяти, пусть даже страшной.

Похожий разговор о Казимире Добраницком я однажды завела и с Анной Андреевной Ахматовой. Она сказала: «Да, был такой милый молодой человек, весьма образованный, страстный библиофил, у него были все мои книжки стихов. Меня давно не печатали, и как-то в начале 1930-х гг. Казик мне с энтузиазмом сказал: «Вот когда мы придем к власти, Анна Андреевна, ваши стихи будут печататься всегда и везде». – «Это значит, что для меня ничего не изменится, потому что вы никогда не придете к власти». И как всегда, оказалась пророчицей. Догадывалась ли Анна Андреевна о том, что Казимир Добраницкий был осведомителем НКВД с 1932 г., о чем стало известно из рассекреченных архивов?

Алексей Варламов в книге о Михаиле Булгакове в серии ЖЗЛ тоже ссылается на архивы, из которых следует, что и дед Андрея Мечислав Михайлович Добраницкий, европейски образованный человек, бывший послом в Швейцарии, а в конце жизни директором Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, сотрудничал с НКВД. Понять бы психологию этих людей, образованных, способных, интеллигентных, пламенных революционеров, помогавших ЧК, ОГПУ, НКВД. Неужели они наивно полагали, что этот «карающий меч революции», уничтожая миллионы людей вокруг, никогда не обрушится на их головы и их семьи?!

Андрюша попросил меня снять копии страниц из книги Варламова, где говорится о его отце и деде, и прислать ему. Похоже, долго скрывавшаяся от Андрея подлинная семейная история его не только интересовала, но волновала, беспокоила и даже страшила. Может быть, поэтому он не хотел идти на Лубянку знакомиться со следственным делом отца. Но жена его Алла, сама опытная архивистка, уговорила Андрея все-таки ознакомиться лично с делом расстрелянных родных и осужденной на восемь лет лагерей матери. Для нежной и ранимой души Андрея это было тяжелейшим испытанием. Но самой виноватой в его глазах почему-то оказалась выжившая мама: из дела Андрей узнал, что она вела себя на допросах не безупречно. И до конца жизни Андрей не мог матери этого простить. В расчет не бралось, что она, таким образом, пыталась спасти двухлетнего сына. Наши с Аллой доводы, что мы не можем быть судьями этим несчастным людям, потому что сами не проходили через эту жуткую мясорубку и не знаем, как бы вели себя в той ситуации, на Андрея, к сожалению, не действовали. Он так и ушел не примиренным с матерью. Андрей – невинная и трагическая жертва жестокой советской истории. Такая участь постигла многих детей «врагов народа».

Андрей был всегда трудолюбив, работа и творчество спасали его от всех невзгод. Академическая карьера Андрея Чернышева – он стал профессором факультета журналистики МГУ, его преподавательская деятельность не проходили у меня на глазах, об этом я знаю лишь из его собственных скупых рассказов. Я родила дочь и надолго ушла в материнство и воспитание дочери, потому редко видела Андрея. В судьбе Андрея за это время тоже произошли два важнейших события, целиком поглотивших его. Во-первых, он выбрал себе уникальную, умную, добрую и заботливую жену Аллу Азарову, с которой прожил долгую счастливую жизнь. С Аллой легко дружить всем Андриюшиным друзьям юности, мне в том числе.

Во-вторых, он открыл для себя и для русской литературы эмигрантского писателя Марка Алданова, которого самозабвенно полюбил, долго изучал и написал интересные, глубокие статьи, впервые составил его собрания сочинений с собственным развернутым предисловием и комментариями. Имя Андрея Чернышева теперь навсегда вписано в историю отечественной словесности именно в связи с писателем Марком Алдановым.

Андрей написал мне на своей последней книге и такие слова: «Потом вдруг и одновременно мы опять стали испытывать тяготение друг к другу. В тебе открылся новый дар: ты стала интересным и мудрым телефонным собеседником. Благодарю судьбу за твое участие в моем персональном спектакле». Не так литературно и метафорично, как это сделал Андрей, я тоже благодарю судьбу за то, что он был моим близким другом.

К сожалению, я не исполнила последнюю просьбу Андрея в его 83-й день рождения. Я его поздравила 14 февраля, мы хорошо поговорили по телефону, он мне печально сказал: «Маленький, я умру через неделю». Я обратила его слова в шутку, чтобы подбодрить его: «Мы все умрем, Андриюша, только, в отличие от тебя, не знаем, когда». Через час мне перезвонила Алла: «Андрей

просит тебя приехать, он хочет проститься с тобой». Мне очень нездоровилось в тот день, да и звал меня Андрей проститься не первый раз, и я не приехала. Андрей умер ровно через неделю! Теперь до конца дней мне каяться и корить себя. Прости меня, Андриюша, я перед тобой очень виновата. Но я уповаю на твое великодушие, ибо верю вслед за Иосифом Бродским, что

Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

2 апреля 2019 (сороковины по Андрею)

Галина ЛАПШИНА

В строгих рамках филологии

Вспоминаю бурный 1956 год. Прошел XX съезд партии, там выступил с разоблачением культа личности Сталина Н.С. Хрущев. На факультете проводилось комсомольское собрание, все бурлило. Основным выступающим по поводу доклада на съезде был Игорь Дедков, вождь нашего факультетского освободительного движения. И вот теперь шло яростное обсуждение, сталкивались позиции, накопившиеся политические эмоции хлестали через край. Велико было желание перемен. О десталинизации на нашем факультете, как она проходила, давно написаны книги. Отсылаю хотя бы к дневникам того же ставшего впоследствии знаменитым Игоря Дедкова, роману Василия Рослякова «От весны до весны».

Но я отчетливо помню и свои собственные впечатления и от того времени и от того кипящего эмоциями комсомольского собрания. Оно проходило в Коммунистической аудитории. Ее еще не коснулась реконструкция, была открыта балюстрада. Там, наверху, слева сидели Андрей Чернышев с Володей Бонч-Бруевичем и еще кто-то третий. Они, точнее сказать, не сидели, а очень подвижно, крайне эмоционально, громко вели себя, что-то выкрикивали, хотели, чтобы их реплики были услыша-

ны. При этом как-то неосторожно переваливались через борт балюстрады, и нам, внизу, казалось, что они либо сами, либо вместе с балконом, не дай бог, полетят вниз.

Было время надежд, начиналась оттепель. Стали выходить толстые красные сборники «КПСС в резолюциях», мы искали подробностей того, что происходило в 1920–1930-е гг., в публиковавшихся документах, стенографических отчетах партийных съездов и т.д. Доискивались до истины, всем нам она была нужна. Единодушным было стремление изучать труды Ленина. Казалось: там есть все ответы. Вот если бы мы действительно пошли по пути, разработанному Лениным, если бы не Сталин... Мы ведь, казалось, должны теперь подняться до какой-то истинной справедливости, за которую боролись. Не могу утверждать, что именно так думал Андрей, но так или приблизительно так думало все студенчество того периода, и я, и все мои друзья, в том числе. Андрей в этом смысле ничем из других не выделялся. Так, по крайней мере, мне казалось.

В дальнейшем, когда он пришел на кафедру преподавателем, я уже чувствовала, что он не «как все», а что у него во всем самостоятельная, независимая позиция. Это чувствовалось всегда: когда мы обсуждали с ним какую-нибудь публикацию в прессе, когда он высказывался на кафедре по поводу очередной диссертации или плана работы и т.д. Его самостоятельность хорошо ощущали студенты на лекциях.

При этом, должна заметить, он был достаточно немногословным, даже закрытым человеком. Мы мало что знали о его личной жизни, почти никогда не видели его жену. Только один или два раза я встретила его на факультете вместе с очаровательной, интеллигентной Аллой Борисовной, они приходили в связи с какими-то событиями... Зато очень охотно рассказывал о своих собаках, которые всегда жили у них, он их любил.

ЛАПШИНА Галина Сергеевна – доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный преподаватель МГУ, лауреат Ломоносовской премии, член Союза журналистов России.

...Ему как лектору был свойствен академический, старый стиль. Это хороший стиль. Пожалуй, могу в чем-то сравнить его с манерой Людмилы Евдокимовны Татариновой или Елизаветы Петровны Кучборской. Такая же выверенность каждой фразы, неспешность, некоторая театральность.

С другой стороны, в этот стиль вносилась полная свобода суждений. Знаю, что дышалось Андрею хорошо: декан Ясен Николаевич Засурский давал нам в этом отношении полный карт-бланш и никакой цензуры, никакого специального контроля или присмотра никогда не устраивал. Наш тыл был защищен, и мы, в том числе и Чернышев, чувствовали себя раскрепощенно, что, конечно, не могли не замечать студенты.

Как использовал он эту свободу? Лекторский стиль Андрея Александровича отличала одна привлекательная особенность: он никогда не позволял себе вульгарно привязывать изучаемый литературный текст к какому-то сиюминутному событию. Он не был оратором-публицистом, держался в строгих рамках филологии. Хотя он и кончил наш факультет, но в нем преобладало именно филологическое начало. Думаю, что этому есть объяснение. Нам преподавали прекрасные, крупные ученые-филологи, такие, например, как Петр Алексеевич Николаев, Александр Васильевич Западов. Николаев представлял московских ученых, а Западов приехал к нам из Ленинграда, там, как известно, была своя школа. Александр Васильевич никогда не привносил в свои лекции вульгаризаторских «осовремениваний». Так что Чернышев, как и все мы, испытывал на себе разные влияния. Они формировали его как филолога. Я уж не говорю о домашнем факторе: Андрея воспитывали, как я вспоминаю, две бабушки – родная бабушка Лидия Александровна Ронжина и Татьяна Александровна Иванова, лермонтовед.

А если вернуться к имени Александра Васильевича Западова, то Андрей Александрович считал его главным своим учителем.

Последнюю свою итоговую книгу «Открывая новые горизонты» он назвал так, подчеркивая свою преемственность от него: у Александра Васильевича это был один из вариантов заголовка какой-то статьи.

Ирина ЛЫСЕНКО

«Не зря прожил день»

Андрея Александровича и Аллу Борисовну в круг нашего, с мужем, общения ввел младший сын Артем. На факультете журналистики он слушал лекции профессора по русской литературе, под его руководством писал курсовые работы и диплом. За несколько лет до Артема Андрей Александрович преподавал и у старшего сына, Константина.

Много лет назад в нашей квартире стали раздаваться телефонные звонки, мужчина деловым тоном, не тратя ни своего, ни нашего времени на церемонные любезности, произносил лишь имя сына. Если Артема не было, и я хотела поинтересоваться, что передать ему – куда там! Не успевала: в трубке уже шли гудки.

Артем стажировался в Америке. Я не знала, что он постоянно общается по телефону с Андреем Александровичем и Аллой Борисовной. Поэтому удивилась, когда вдруг позвонил Андрей Александрович и, мне показалось, несколько тревожным, не привычным для меня тоном сообщил, что Артем не давал о себе знать несколько дней. Спросил, все ли у него нормально.

В 1990-е гг. мы жили до переезда Чернышевых на Ленинский проспект по соседству, в одном дворе. Однажды Андрей Александрович, встретив сына во дворе, после небольшого раз-

ЛЫСЕНКО Ирина Александровна – член Союза журналистов России, 35 лет работала в редакции газеты «Сельская жизнь».

говора с ним, вдруг пригласил его в гости, заверив, что жена тоже будет ему рада, «салатик сделает». Помню, подумала: как же здорово, что муж уверен в реакции жены на неожиданного гостя, да еще ради него готова суетиться на кухне. С самой Аллой Борисовной мы познакомились несколько лет спустя.

После очередной встречи Артема с Чернышевыми сын показал мне маленький листочек с отрывком из стихотворения Лермонтова «Молитва», написанный мелким, бисерным почерком Андрея Александровича. Он немного перефразировал поэта и обратил строки к Артему. Получилось очень необычно и трогательно! Я не могла не позвонить Андрею Александровичу, не поблагодарить его за это движение души к нашему сыну.

Мы стали часто встречаться. Не помню названия того уютного, теплого кафе, где Андрей Александрович произнес тост в честь нас, родителей Артема. Его смысл сводился к тому, что мы воспитали сына, которого, по его мнению, и критиковать не за что. Было очень приятно.

Приближался юбилей моей двоюродной сестры, мы готовили к нему подарок. Облюбовали по интернету гжельский самовар и с поисками успокоились. Вдруг Артем передает предложение Аллы Борисовны поехать в Гжель: «Там найдем самовар получше и подешевле». Вот тогда мы и познакомились с Аллой Борисовной лично. Она открылась как человек энергичный, заботливый и, что тоже очень важно, практичный. С тех пор поездки в Гжель за подарками, сувенирами к 8 Марта, Новому году стали у нас регулярными. Всех продавщиц в десятках магазинчиков в этом поселке Алла Борисовна знала по именам, а ее встречали как давнюю добрую покупательницу. Нужные фирменные вещицы она выбирала, проявляя, на мой взгляд, хороший вкус и полное знание торговой конъюнктуры.

Был случай, когда мы ездили в Гжель вместе с Андреем Александровичем. Стоял декабрь, мела вьюга. Тем не менее, он не

оставался сидеть в теплом салоне машины, а ходил с нами по магазинчикам, с детским любопытством присматривался ко многим синим фигуркам, громоздившимся на полках.

Поездка складывалась не очень удачно. Несмотря на метель, бегала собачка, лаяла и вдруг совершенно неожиданно укусила Андрея Александровича за ногу, через брюки. Почему-то выбрала именно его, любителя собак и кошек. Он не захотел придать этому значения, не разрешил ничем смазать ранку, тем более принять другие, более серьезные, меры. Он даже, что было бы так естественно, не топнул в сторону собачки. В эту же поездку случилась еще одна «маленькая неприятность» – так любил выражаться Андрей Александрович: не удавалось машину снять с охраны. В морозный день мы вынуждены были мерзнуть и под визг сигнализации ждать, пока Валерий, муж, разберется с причиной поломки. Андрей Александрович не нервничал, не выражал беспокойства, наоборот, подбадривал нас, успокаивал, шутил. Поездка как-то еще больше расположила меня к нему.

В последние годы мы планировали какое-нибудь совместное путешествие за рубежом. Но Андрей Александрович слабел, осуществить намерение удалось только с одной Аллой Борисовной. Мы вырвались в Норвегию, где полторы недели провели в живописном краю в домике на берегу фьорда, в тишине и спокойствии. В такой умиротворенной обстановке очень нуждалась Алла Борисовна, все силы отдававшая заботе о муже. Она сомневалась, ехать или не ехать, но замечательно и благородно повел себя Андрей Александрович, настояв на том, чтобы ей немного отвлечься. Конечно, она приняла все меры к тому, чтобы в ее отсутствие обеспечить за ним безупречный уход, конечно, она то и дело звонила из Норвегии домой и своим подругам, ухаживавшим за больным человеком, переживала, волновалась, но все-таки необходимый отдых состоялся. И мы все были очень рады за Аллу Борисовну.

Вспоминаю еще один эпизод. Когда недуги уже довольно сильно одолевали Андрея Александровича, а Алла Борисовна вообще избегала оставлять его дома одного, она попросила меня побыть с ним. Я хорошо помню эти два-три часа, проведенные с ним наедине. Он был слаб, но разговор состоялся. Сначала он задал мне несколько вопросов о сыне, немного рассказал о своем детстве и юности. Я, в свою очередь, поинтересовалась, почему он до сих пор не написал воспоминаний о своей жизни: в ней ведь так много очень необычных страниц! В ответ услышала: «Это никому не интересно!» Я почувствовала, что у Андрея Александровича не экспромт сорвался, а выразилось выношенное убеждение.

А потом неожиданно для меня он сказал: «Я сегодня не зря прожил день – придумал эпитафию для своего камня: «Здесь лежит хороший человек»».

Я постаралась поменять тему нашего разговора.

Леонид ФЕЛЬДМАН
Алла КОЛЫХАЛОВА
Ирина ГЕРЧИК
Александр ГЕРЧИК

Он был поцелован Богом

Андрей Александрович был человеком необыкновенной эрудиции и огромного таланта. Обладая феноменальной памятью и знаниями в области литературы и искусства, он передавал их студентам и всем, с кем общался. Хорошо разбирался в других сферах, его интересовали и кино, и музыка. Мы встречались с ним у него в доме на Петровке, где он провел юные и студенческие годы. Часто собирались на даче «Отдых». Эти встречи, когда мы говорили и говорили о театральных постановках, книгах, фильмах, оставили неизгладимый след в каждом из нас.

Он был поцелован при рождении Богом...

Елена БОНЧ-БРУЕВИЧ

Интеллигентный, бескомпромиссный

С семьей Чернышевых связана вся моя сознательная жизнь. С Андреем я познакомилась в 1961 г. вскоре после того, как вышла замуж за Володю Бонч-Бруевича, с которым Андрей учился на одном курсе на факультете журналистики МГУ. Очень хорошо запомнила первое посещение квартиры Чернышевых. Он жил тогда в доме рядом с рестораном «Будапешт». Что располагалось раньше в этом здании, не знаю, но квартира Андрея была несколько странная. Какие-то коридорчики, самая большая комната достаточно маленькая, проходная и без окон, но главное – потолки, до них спокойно можно было дотянуться рукой.

Но комната Андрея – отдельная, уютная, с окном. Сразу бросились в глаза две репродукции женских портретов Модильяни. Я в те годы очень слабо представляла себе этого художника и тогда глаз не могла оторвать от этих удлинённых шей, от этих изломанных лиц. И сам Андрей поразил меня не меньше – было такое впечатление, что о кино и литературе он знает все на свете. У него была своеобразная манера говорить – довольно медленно, делая небольшую паузу перед каждой фразой, речь

БОНЧ-БРУЕВИЧ Елена Ивановна – кандидат философских наук, работала редактором в АПН, издательстве «Советская энциклопедия». Супруга В.В. Бонч-Бруевича.

очень интеллигентная, без всяких там слов-паразитов, нелитературных выражений, не говоря уж о ненормативной лексике.

Мы встречались довольно регулярно. Он не был, что называется рубаха-парень, от него вряд ли можно было ожидать немедленного остроумного экспромта в стихах, иногда он замыкался, уходил в себя, даже слегка улыбался каким-то своим мыслям, но каждая встреча с ним обогащала новыми знаниями. Позже появилась Алла – жизнерадостная, улыбчивая, доброжелательная, всегда готовая прийти на помощь, прекрасная хозяйка (рецепты ее салатов даже печатались в журнале «Работница»). Мы продолжали дружить уже семьями, даже как-то раз вместе отдыхали в Турции.

Я отнюдь не «инженер человеческих душ», но по поводу пары Андрей-Алла у меня сложилось определенное мнение. Алла – сгусток энергии и коммуникабельности, с шести утра на ногах, успевала управиться с сотней дел (своих и чужих), а в перерывах еще и вернисажи, и новые фильмы. Андрей – очень избирателен в подборе друзей, все делал не спеша, обдуманно. Алла – не потерпит и пяти минут шатающегося стула, неплаченного счета или оторванной пуговицы, сама решает все бытовые проблемы, а их, особенно на даче, тьма, сама находит работяг и улаживает финансовые вопросы к взаимной выгоде. Андрей – созерцатель и мыслитель. Но, дополняя друг друга, они составляли очень гармоничную пару. А уж то, как Алла ухаживала за Андреем последние годы, когда он тяжело болел, не выходил из дома, капризничал, путал день и ночь, – это выше всяческих похвал. Несомненно, Алла продлила на какое-то время мужу жизнь.

Андрей был очень принципиальным человеком. В бытность его – профессора, знатока русской литературы – преподавателем на факультете журналистики, дочка моей близкой подруги, студентка факультета, завалила у Андрея зачет. Подруга моя об-

ратилась к Володе: «Попроси Андрея Александровича, пусть будет добрее к моей дочке». Володя, который никогда никому не отказывал ни в одной просьбе, на этот раз был тверд: «Бесполезно».

Однажды мне посчастливилось поработать с Андреем. Он в то время увлекся грандиозным писателем-эмигрантом, тринадцать раз номинированным на Нобелевскую премию по литературе, которого только-только начали узнавать в нашей стране, Марком Алдановым. Андрею удалось получить грант и поработать в американских архивах. Он предложил Издательству АПН, где я тогда трудилась, книгу исторических очерков Алданова. Заявка была такой интересной, что руководство издательства немедленно согласилось на издание довольно увесистого тома. Работа началась. Большинство очерков печаталось в русскоязычной газете «Последние новости» (Париж). В Ленинке газеты имелись, но из-за их хрупкого состояния ксерокопировать не разрешили. Пошли на хитрость. Наш фотограф сделал снимки статей. Условия съемки были не лучшими, такими же оказались и результаты. Издательские машинистки, кляня на чем свет стоит Андрея, меня и ни в чем не повинного Марка Александровича, с трудом разбирались в смазанных и нечетких фрагментах текстов. А потом Андрей сидел в Ленинке и, водя пальцами, сверял машинопись с газетами. Он предложил кое-что еще из необъятного наследия Алданова. В результате однотомник вырос до шести томов, куда вошли рассказы, портреты, знаменитые романы «Живи, как хочешь» и «Начало конца», историко-философское сочинение «Ульмская ночь». Все произведения впервые изданы в России. Положа руку на сердце, скажу, что я горжусь этим нашим с Андреем детищем.

История эта имела продолжение. В 1988 г. я по программе «Народная дипломатия» была в США, в нескольких городах. Везде жили в американских семьях. Не помню уж, в каком го-

роде познакомились с очень милым пожилым человеком Николасом Ли, филологом, специалистом по русской литературе. Он прекрасно говорил по-русски и очень хорошо относился к нашей стране. Через некоторое время он приехал в СССР, мы пригласили его в гости. Я поинтересовалась, какими конкретно нашими писателями он занимается, и услышала ответ: «Изучаю творчество Алданова». Я кинулась к телефону. «Андрей, тебе знакомо такое имя – Николас Ли?» Как всегда после небольшой паузы и очень четко он ответил: «А как же. Это крупнейший в Штатах специалист по творчеству Алданова». – «Тогда хватай такси и к нам». Через считанные минуты Андрей был у нас. Больше с нашим американцем ни мы, ни другие гости общаться не смогли. Только Алданов существовал для Андрея и Николаса. Потом они переписывались некоторое время, Ли даже написал предисловие к одному из томов, но... Николас был уже очень пожилым человеком.

Особая тема – кошки-собаки. Андрей очень любил собак, предпочитал иметь у себя одну породу – колли. Век колли недолог, я помню нескольких – все красивые, ухоженные, очень добрые и ласковые. Однажды, не помню уж почему, Андрей должен был покинуть наше дачное застолье и поехать на свою дачу, оставив нам Аллу. Путь неблизкий: до станции, на электричке до Москвы, на метро до другого вокзала, опять на электричке на свою станцию. На даче Андрей появился не один, где-то по дороге к нему пристала бродячая собака, так они вместе и доехали. Пес некоторое время жил у Андрея. Он оказался очень шепутным и лютой ненавистью ненавидел пригретых Андреем бездомных кошек. Дело пахло котовбийством, пришлось собаку пристроить в хорошие руки. Вспоминаю еще красавицу черную кошку Багиру и доставшегося в наследство от мамы кота Тишу. А на даче – все окрестные бродяжки, некоторым разрешалось даже заходить в дом. Когда Андрей заболел и уже не мог ездить

на дачу, он тосковал не по загородному воздуху, не по цветочкам, ягодам и яблокам, он беспокоился о кошках.

В моей памяти и памяти моих близких Андрей останется человеком интеллигентным, умным, бескомпромиссным, энциклопедически образованным. Он прекрасно написал о моем муже для книги его памяти. До последних дней интересовался, как идет работа, когда книга выйдет. Не дождался. Теперь нет ни Андрея, ни Володи. Свои воспоминания Андрей закончил отрывком из стихотворения Марины Цветаевой. Мне кажется, уместно и мне завершить свои заметки этими проникновенными строками:

И будем мы судимы – знай –
 Одною мерою.
 И будет нам обоем – Рай,
 В который – верую!

(Марина Цветаева, «Чужому», 1920)

Людмила ГИЛАНОВА

В орбите его обаяния

Впервые я увидела Андрея (это не было знакомством) в середине 1960-х гг. В кафе за соседним столиком сидели два молодых человека, один из них был очень красиво одет. Они обсуждали какой-то фильм Федерико Феллини. Я отметила про себя, какие интересные и умные молодые люди.

Потом, когда моя подруга Алла вышла замуж, я была приглашена на их квартиру на Петровке. И в ее муже, а это был Андрей, я узнала того интересного молодого человека, причем в основном по интонации голоса.

Андрей сразу принял подруг Аллы, был очень любезен, сердечен. Все попадали в орбиту его обаяния. С этих пор посещение этого дома было для меня праздником. За стенами оставалась бытовая суета.

Даже в последнее время, когда Андрей был болен, его профессиональная память поражала. Надо было вспомнить стихотворение Лермонтова по нескольким строчкам, и он, не задумываясь, называл его.

Сейчас ощущается пустота, брешь в моем духовном окружении. Память об Андрее как о сердечном, умном, бескорыстном друге навсегда останется со мной.

ГИЛАНОВА Людмила Никифоровна – врач-эндокринолог, терапевт высшей категории, работала в одной из поликлиник Южного округа г. Москвы.

Владислав ПРОНИН

В котлованах и впадинах памяти

С Андреем Александровичем, Андреем, Андрюшей мы познакомились в педагогическом институте им. В.И. Ленина на Малой Пироговке, расположившемся в прекрасном неоклассицистическом здании под стеклянным колпаком инженера Шухова. Во внутреннем дворике поставили статуи двух соколов ясных. К ним привыкли, их не замечали. Здание стимулировало катарсис, а программа аспирантуры обязывала возвыситься до соцреалистических вершин. Аспирант Чернышев – впрочем, вовсе не Чернышев – Андрюша – усиленно штудировал тексты, черновики, рецензии и все, что касалось «Детей Ванюшина». Я не без сомнений пытался доказать, что Леонгард Франк был прав, повторяя из рассказа в новеллу формулу «Der Mensch ist gut». Жизненный опыт меня убедил, что человек добр, а общение с Андреем тому способствовало.

Он был по-настоящему добр. Его интеллектуальные закрома были полны актуальной информацией, которой он изредка делился с деревенским неофитом. Хотя, по-честному, он был сноб, но интеллектуал нуждался в реципиенте. В те давние года он явно отличался вкусом и интеллектом. Сказывалась семейная

ПРОНИН Владислав Александрович – доктор филологических наук, профессор, член Союза германистов, автор книг «Поэзия Генриха Гейне» («Наука», 2011), «Иоганн Вольфганг Гете, его современники и последователи» (М., 2014), вузовского учебника «История немецкой литературы» («Логос», 2007) и др. Работает в ГИТИСе и Университете современного театрального искусства.

генетика, опыт нескольких поколений. Кроме того, враги ведь не дремали и сообщали ежевечерние любопытные новости театра, музыки, книгоиздания. Тот же Сева Новгородцев не зря получал свои тридцать или сколько там фунтов. Кто хотел, тот знал, что происходит за пределами Садового кольца. Относиться к мефистофельским голосам можно по-разному, важно было правильно оценить все, что слышишь издали или рядом. Не будем забывать, что правдами и неправдами мы попадали на Бергмана, Феллини или Аньес Варда. Вряд ли кого-нибудь из нас, молодых, выпрямила новая волна, но открытие Америки, Скандинавии меняло мировидение. Впрямь казалось: «Ведь где-то есть простая жизнь и свет», но поэтесса все-таки заблуждалась.

Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что Андрей и его приятели были заядлыми книгочеями: плечи выше ушей и томик Бахтина подмышкой. Конечно же, нет. Мы были молоды, веселы, обожали розыгрыши. Любили беззаботное времяпрепровождение вопреки неотвратимым коллоквиумам и рефератам. Как все обучающиеся в советских вузах, ломали голову, как нам реорганизовать Рабкрин.

Пили. На мой взгляд больше, чем нынешние молодые. Сухое вино пахивало ремарковщиной. Попробую повеселить учеников и учителей профессора Чернышева. Вы бывали в Гаграх, гуляли по набережной? Нет? Боюсь, что вы опоздали. Идем, значит, по набережной, а вдоль духаны, духаны. Пахнет Ахашени! Мы мимо не проходили. Глядь, а навстречу идет наш приятель, потомственный зарубежник Мишка. Мы соединили наши усилия, на троих разливать сподручнее. Мы выпили Цинандали, Саперави, Гурджаани, Мукузани, Киндзмараули, а Ахашени пить не стали, оказалось прокисшее. А дальше куда? В ресторан Дома писателей. Кушать хочется, и выпить не прочь. Официанты молодых ученых почему-то игнорировали. Мишка объявил, что я племянник Хоннекера. Я ругался по-немецки.

Ноль внимания. Я стал читать громко Гете. Андрей сказал, что мой Großvater Карл Маркс. Хотите верьте, хотите нет, но это подействовало. Нам все принесли.

Андрей был центровой во всех смыслах: жил в центре, был в центре событий, лучше сказать все-таки – в курсе. Все слышал, обо всем узнавал первым, делился слухами с узким кружком приближенных. Не носил костюмы фабрики «Большевичка» и нейлоновые сорочки. Не был стилигой, а скорее денди. Надевал летом красивую, модную рубашку, в которой, по-видимому, родился. Но все было не так просто.

Квартира в переулке на Петровке была тесная, но разделенная на крохотные комнаты. Тем не менее, вроде бы имелась прислуга. Одна из двух бабушек – лермонтовед – имела отдельное жизненное пространство. Скромная жилплощадь принадлежала Андрею, его книгам и его пуделю. Когда Андрей уезжал на заработки, читать лекции о достижениях в кинематографе, меня призывали гулять с псом. Псина понимала ситуацию и ко мне относилась лояльно. Мать – Нина Георгиевна. Андрей всегда говорил «мать», и в этом чудилось что-то горьковское или просто горькое. Жена видного политдеятеля, расстрелянного в 1937-м, провела в лагерях десятков лет. Валила лес, была бригадиром. Никогда ничего про это не рассказывала. Вернувшись, начала жизнь сызнова. Вышла замуж за профессора – Александра Николаевича Чернышева. На всякий случай поменяла сыну отчество и фамилию. Сама переводила на французский язык учебники, которое издавало, по-моему, издательство «Высшая школа» для зарубежных студентов. От Нины Георгиевны впервые услышал о романе «Мастер и Маргарита», который ей давала читать Елена Сергеевна. Вдовы общались. Андрей по заданию «Литературной газеты» готовил разного рода рефераты по актуальным проблемам. Буржуазной культуры. В том числе и о творчестве коллекционера бабочек. Ему заказали антинабоков-

скую статью, он позвал меня в соавторы. Мы оба от искушения предать огласке сочинения Владимира Владимировича советскому читателю не устояли. Машинка застучала.

К тому времени тексты Сирина-Набокова были прочитаны в «Современных записках» и отдельных изданиях. Друзья – они же враги – привезли мне несколько книжек. Они имелись и в библиотеке имени В.И. Ленина в тринадцатом отделе на самой верхотуре. Попастъ туда было не так уж и сложно: надо было принести ходатайство из учреждения, где ты трудишься или просто получаешь зарплату, с просьбой разрешить пользоваться специальным хранением в связи с проблематикой планового исследования. Тема – чем шире, тем лучше. Можно в дальнейшем получать журналы зарубежные, в том числе и эмигрантские.

...Прихожу как-то после работы и заказываю «Лолиту». В ответ: «Мы эротическую литературу вечером не выдаем». Я опускаю все свои шуточки по этому поводу, но на самом деле сотрудница работала в первой половине дня, а уходя, шкаф заперла на ключ и никому не доверяла: вредная все-таки работенка.

Получив с утра пораньше экземпляр «Лолиты», я погрузился в чтение, но за один присест «Исповедь светлогожего вдовца» не одолел. Оставил на своем номере читательского билета. Прихожу в другой раз. Библиотекарша в ящик своего стола положила мою «Лолиту» и нервно ее почитывала. Потом сделала вид, что ищет на стеллаже. «Да вот же она, у вас в столе», – простодушно констатирую я. Она покрывается красными пятнами и гневно мне в лицо бросает: «Как вам не стыдно читать такую гадость!» Хладнокровно вступаю в полемику: «Я борюсь с буржуазной идеологией! А вот зачем вы ее читаете? Вам читать ее не положено!».

Что с ней произошло! Лицо стало сплошной красной маской, руки задрожали, она боялась потерять непильную работу.

Мне ее даже стало жалко. Вот до чего мог довести В.В. Набоков советских библиотекарей!

Сейчас все можно, но нужна ли эта литературоведческая набоковская громада? Творчество В.В. Набокова забалтывается, приобретает зачастую ложную многозначительность.

Лолита (можно без кавычек?) доставила нам немало хлопот. Сюжет о взрослом дяде, соблазняющем школьницу, чересчур крамольный для советской прессы. Сотрудники ЛГ по всем вопросам консультировались на Старой площади. Мы наступали на горло собственной песни. И все же это было первое появление американского писателя у себя дома. Умный читал между строк, а цитаты красноречиво опровергали шустрых писак. Появился наш амбивалентный труд накануне очередного съезда партии. Статья называлась «Владимир Набоков, во-вторых и во-первых...» Она красовалась в редакции на доске лучших материалов. Нас благодарили редакторы, жал руку главный, просили написать что-нибудь еще. По слухам, статью читал Набоков. Его спросил журналист (все тот же Сева Новгородцев?), читал ли автор первую статью о нем в России и как он относится к тому, что его в ней ругают. В.В. ответил, что пусть ругают, зато читают. Затем полюбопытствовал: «Как это в условиях тоталитарного режима они сумели все прочитать?»

В нашем совместном творчестве наступил спад. В ЛГ напечатали наш текст «Кто боится Агаты Кристи?». Ясное дело, никто ее не боялся. Локальной сенсацией стала статья о Хичкоке. В редакцию для нас двоих привезли ленты Хичкока. Все сотрудники слетелись в кинозал яко птицы небесные. Никто не работал.

Дальнейшие наши работы шедеврами не были, и мы прекратили совместное творчество. Стали меньше общаться. Так подельники после совершенного злодеяния расстаются, стесняясь друг друга.

Армен МЕДВЕДЕВ

Все проходит...

Было это, кажется, в 1966-м. А может быть, в 1967-м. Мы с женой, Людмилой, оказались на отдыхе в Гагре. Образовалась, как водится, курортная компания, в которой выделялась женщина редкостной красоты и породы. Звали ее Нина Георгиевна Чернышева.

Узнали мы, что работает она профессиональным переводчиком (с русского и на русский) технической литературы. Была она обаятельна, умна, иронична. Была душой наших пляжных посиделок и походов в прибрежные ресторанчики. При расставании в конце отпуска Нина Георгиевна предложила не терять друг друга в Москве и обещала познакомиться со своим сыном, нашим ровесником, мы с радостью согласились и по возвращении быстро оказались в ее доме на Петровке.

Дом оказался странно привлекательным. Что было в нем до 1917 г.?

Может быть, гостиница, а может, и приют для бедных студентов. Какая-то запутанная система лестниц, переходов, коридоров. И где-то в глубине этого старинного (и множество раз перестроенного) сооружения скрыта была квартира Черныше-

МЕДВЕДЕВ Армен Николаевич – российский кинокритик, киновед, кинопродюсер, педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Дважды лауреат премии «Ника». В 1992–1999 гг. – Председатель Госкино РФ, с 1999 г. – президент Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества («Фонд Ролана Быкова»). Совместно с А.А. Чернышевым написана книга «Десятая муза», 1977 г.

вых: две или три крохотных комнаты с глубокими, как бойницы, окнами. Переступив порог этого жилища, ты словно погружался в океан обаяния и вкуса московской старины. Что исходило от стильной старомодной мебели, от «старорежимной» посуды, от обилия книг, а главное – от облика самих хозяев. Первой вспоминаю Бабушку, мать Нины Георгиевны.

Она казалась очень старой и немощной, а когда начинала говорить, то обнаруживала и силу духа, и память, память о потрясениях, пережитых ею в молодости. И сквозь старость и болезненность проглядывала красота, в которой она не уступала собственной дочери.

Не забуду и Александра Николаевича, мужа Нины Георгиевны.

Особо запомнил его улыбку. А улыбался он постоянно, но не притворно и не приторно, а в силу безграничной доброжелательности и тонкого остроумия. Александр Николаевич много знал и охотно делился этим с другими.

Но центром любви и внимания, которые излучал дом Чернышевых, был Андрюша, знакомство с которым обещала его мама. Признаться, я не многого ожидал от встречи с ним. Как правило, намерения старших свести воедино молодых дают слабый результат. В моей, во всяком случае, практике. У разных поколений разные представления о критериях дружбы и товарищества.

Андрюша в первые же минуты знакомства не просто понравился мне, но показался и оказался «своим в доску». Потом, с годами, все больше обнаруживалось у нас общего. Но это потом. А в первый же час мы начали запросто обсуждать разные темы, обнаружив даже общих знакомых. Мы будто бы росли рядом долгие годы. Наверное, самым важным здесь оказалась наша общая принадлежность к породе москвичей, еще весьма ощутимая в шестидесятые годы прошлого века.

Андрей был прекрасно воспитан и серьезно образован. Поэтому, наверно, он мог в первые секунды общения произвести впечатление книжного юноши, изысканно манерного. Впечатление это мгновенно рассеивалось в лучах умного тонкого юмора, которым наделена была вся семья Чернышевых. Андрея – особенно. Смешное было для него синонимом необычного. Он не любил того, над чем нельзя было смеяться. В ироничных характеристиках приятелей-сверстников, его собственных учителей, просто знакомых всегда чувствовался масштаб личности персонажей веселых историй. Шутки Андрюши порой бывали рискованными, но никогда грубыми и всегда изящно изложенными.

Мы проводили много времени вместе. Неоднократно в выходные дни и в пору коротких отпусков выезжали в Подмосковье или в пригороды Ленинграда. Мы с женой постепенно втягивались в круг друзей и знакомых Андрея Чернышева, что также доставляло нам радость.

Постепенно образ веселого, обаятельного и очень умного парня, уже укоренившийся в моем сознании, стал обогащаться новыми, как оказалось, важнейшими чертами и красками. Дарование и трудолюбие серьезного ученого – вот что оказывалось определяющим в Андрее Чернышеве. Поначалу эти свойства его натуры проявились «на поле», явно не главном в его жизни. Через какое-то время после нашей встречи Андрей попросил меня рекомендовать его на лекторскую работу в Бюро пропаганды советского киноискусства. Ему, аспиранту, хотелось иметь какой-то постоянный приработок. Я так и понял смысл его просьбы и с удовольствием взялся помочь. Но в Бюро «новобранца» встретили настороженно (у него, мол, образование, далекое от кино). Но все сомнения были недолгими. Все, за что брался Андрей, он делал скоро и надежно. Бюро быстро стало для него домом родным.

Однажды мы с ним пересеклись в Ленинграде. Я там был по своим делам, а он приехал с лекциями в местный кинолекторий. Разумеется, я пошел на одно из Андрюшиных выступлений. И получил несказанное удовольствие.

Мой друг с блеском овладел взыскательной питерской аудиторией, свободно дышал и плавал в новом для него киноматериале. Но главным для него оставалась область литературы. Далее все происходило по нарастающей. Первым серьезным объектом исследования для Андрея явилось творчество русского писателя Сергея Найденова, автора неувядаемой пьесы «Дети Ванюшина». Вступив в активную фазу освоения темы «Найденов» (а это была, если не ошибаюсь, Андрюшина кандидатская диссертация), он не отвлекался ни на что, работал быстро, эффективно. Закончив важное для него дело, Андрей сразу же раскрыл огромный, пестрый веер разнообразных занятий.

Он увлеченно и добросовестно преподавал в Московском государственном университете, правда, каждая новая встреча со студентами укрепляла в нем чувство юмора. Он охотно откликался на предложения поехать куда-либо по международному обмену: по несколько месяцев преподавал в университетах Венгрии и Кубы. И много писал на самые разные темы, словно хотел освоить и подчинить себе новые территории знания. В жизни повседневной Андрей по-прежнему охотно делился вновь приобретенными знаниями. Причем, без напора и назидательности, как бы между прочим, он сообщал сведения о деталях жизни известных ученых или государственных деятелей. А мог шутливо сообщить: «Незнакомка» А. Блока замечательно ложится на мелодию «Марша монтажников-высотников». Моя жена, к сожалению, покойная теперь, все годы нашего знакомства с Андреем многократно повторяла: «Я так благодарна ему за то, что он открыл мне то и это».

Чем дальше мы жили рядом, ощущение, что Андрей постоянно одаривает нас, вводя в свой мир, чрезвычайно богатый и интересный, не проходило. Много менялось в жизни. Ушли наши родители. Но появилась Алла, верная любящая спутница Андрюши. Менялись адреса. Но и в новых районах их жилища сохраняли аромат быта Чернышевых, заведенный еще на Петровке. Московский быт, обаятельный и уютный.

В последние годы жизни, вопреки надвигающемуся мучительному нездоровью, Андрей подтвердил свою репутацию талантливого ученого, совершив несколько исследовательских прорывов.

Его блестящая докторская диссертация рождена была второй (после литературы) привязанностью. Он посвятил эту работу российской кинопрессе, покорив всех, кто прочел ее, масштабом и оригинальностью исследования. А еще Андрею Чернышеву принадлежит заслуга возвращения в наш читательский обиход замечательного писателя, отправленного в эмиграцию событиями 1917 года, – Марка Алданова.

Но возраст и болячки брали свое. Не отменили (это было невозможно), но как бы замедлили наше общение. Виделись мы с Чернышевыми реже, но с неизменной радостью. Я часто вспоминал Андрюшу, много думал о нем, пытался уловить и осмыслить истоки своеобразия его личности. И вот что вспомнилось мне. Однажды он сам открыл мне тайные обстоятельства своего появления на свет. Как следовало из рассказа Андрюши, Александр Николаевич не был его биологическим отцом.

Нина Георгиевна была замужем за достаточно крупным чиновником в сфере издательского и театрального дела. Видно, он был человеком достойным. Приятельствовал с Михаилом Булгаковым. Имя его даже упомянуто в исследованиях М. Чудаковой, посвященных великому писателю.

И вот когда родился Андрей, его отца арестовали: на дворе аккурат 1937-й год. Я, честно говоря, не знаю всех подробностей взаимоотношений Нины Георгиевны и Александра Николаевича в тот момент, но, несомненно, он был влюблен в нее. И когда муж оказался в тюрьме (а потом расстрелян), поклонник писал ей ободряющие письма, встретил ее, женился на ней, усыновил мальчика. И прожили они втроем долгую, счастливую жизнь.

Странное сплетение горя и любви, жестокости и благородства. А в этом сплетении знаки Андрюшиной судьбы. Он появился на свет в страшное время. Но люди, которые лелеяли и воспитывали его, обратили низость обстоятельств в благородное и высокое. Таким был, таким жил Андрей Александрович Чернышев. Но все проходит, к сожалению.

Владимир ЛИНКОВ

О памяти и ее пределах

История моих отношений с Андреем Чернышевым – история заблуждений и освобождения от них.

Я пришел на факультет журналистики в 1970 г., и Андрей примерно в это же время стал преподавателем. Но он был здесь «свой» еще со студенческой, аспирантской поры, а я «чужой» – с филфака. Я человек непроницательный, часто ошибаюсь. Так получилось и с первым впечатлением о Чернышеве, оно было неблагоприятным: мне он показался таким партийным товарищем. Для нас (того времени!) это было очень существенным обстоятельством и характеристикой – как человек относится к режиму, к власти. Я был в душе оппозиционер и не принимал эту власть. А ведь мы преподавали русскую и советскую литературу, выходили на студенческую аудиторию с лекциями, вели семинары, всегда находились с ребятами в тесном контакте. Они ждали от нас профессиональных знаний, но и человеческой честности, искренности. Как высказывать свои взгляды, излагать позицию по тому или иному вопросу? Ведь шаг влево, шаг вправо... В этой связи возникала масса не только этических, но и идеологических, политических неувязок, которые как-то

ЛИНКОВ Владимир Яковлевич – советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ. Автор монографий и учебников «Художественный мир прозы А.П. Чехова», «Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина», «История русской литературы XIX века в идеях», «Введение в литературоведение» и др.

приходилось распутывать и преодолевать. Каждому преподавателю по-своему – кто как умел и хотел.

Сейчас трудно себе представить эту ситуацию. У нас был студент подготовительного отделения, которого чуть не исключили, потому что он говорил, что ему Лука нравится больше, чем Сатин. Почему, надеюсь, понятно.

Остановлюсь чуть поподробнее на обстановке той поры. Наш факультет, идеологический, партийный, готовил профессиональные кадры для советской прессы. Все регламентировалось и в той или иной форме контролировалось. Хотя, надо сказать, с годами давление ослабевало. Партийная хватка слабела, и деканат в последние годы перед развалом СССР вообще не обращал на это внимания: читай что хочешь и как хочешь. Но кое-что, антисоветчину, не допускалось нести, ясное дело. О себе могу сказать, что в принципе кривить душой не доводилось. То, что нельзя было говорить, я не говорил. Но душой не кривил. Нас с Андреем роднила эта позиция, он был такой же. Мы не были диссидентами, но чувствовали между, за которую заходить не могли. Он охотно ездил от факультета читать курсы лекций в зарубежных университетах – в Будапеште, Дели, Гаване – еще и потому, что на какое-то время устраивал для себя передышку – перемещался в атмосферу большей свободы.

Общий откровенный разговор на факультете был исключен. А вот один на один – да, возможен, но с известными оговорками и пониманием, кто обладает какой мерой терпимости. С Андреем впоследствии мы могли вести дружеские разговоры с любой степенью доверительности. Все коллеги по преподавательскому корпусу на факультете вообще были очень разные. Вот Борис Иванович Есин, наш заведующий кафедрой русской журналистики и литературы, фронтовик, доктор наук, профессор, коммунист – его кто-то мог воспринимать как стойкого, убежденного партийца, но на самом деле он вовсе не был догма-

тиком. Вспоминаю Анатолия Бочарова, замечательного профессора, известного критика. Он был коммунистом, думаю, что и в душе тоже. Однако какая же разница была между ним и другим коммунистом, преподавателем, с которым Бочаров на защите диссертации не захотел даже сесть рядом. Такая дробность, градация и в самой партии наблюдалась и росла, вспомните для наглядности перестройку, кардинальную поляризацию позиций двух членов политбюро – Лигачева и Яковлева...

Андрей поначалу мне казался таким серьезным, партийным, и по этой причине трудно было с ним сойтись. Он очень официально держался. Но это оказалось чистой внешностью. Вообще-то говоря, его негативное отношение к советской власти было более глубоким, чем мое. У меня была еще иллюзия, что может быть «социализм с человеческим лицом» и что товарищ Сталин все извратил, а если бы был жив Ленин, то все было бы по-другому. Андрей был свободен от этих иллюзий хотя бы в силу того, что он пострадал как человек с дворянским происхождением, что его деды и родители были репрессированы и многие погибли. Он не мог над этим не размышлять и не мог не делать глубоких выводов.

Его дворянское происхождение отразилось на манере поведения, оно было строгим, официальным, без рабоче-крестьянского панибратства. Унаследованные от предков необычные, может быть несколько чопорные, привычки и правила настояживали только в первый период знакомства, а со временем воспринимались как вполне естественные. Потом, когда я с ним близко сошелся, я понял, что он, конечно, совсем другой человек по сравнению с тем, каким показался вначале. И мне с ним стало просто. Итак, первое заблуждение, от которого я освободился: Чернышев был совсем не партийным человеком, если учитывать заскорузлый и даже зловещий оттенок этого слова.

Второе преодоленное мною заблуждение относилось к официальности Андрея в общении с людьми. Нет, он был человеком вполне коммуникабельным, как сейчас говорят. И прежде всего хочу отметить его чувство юмора. Вспоминаю, как он мне рассказывал про своего приятеля «туманной комсомольской юности», который в годы перестройки пошел в кинотеатр на эротический фильм. И так он его шокировал, что тот стал закрывать ладонью глаза и выбегать из зала со словами «прекратите это безобразие!», хотя зал-то все воспринимал адекватно и был в недоумении, когда слышал эти нелепые возгласы. Андрей так смешно и выразительно рассказывал, что я хорошо его себе представил и тоже смеялся.

Он был человеком с юмором и, может быть, поэтому любил задавать каверзные и небанальные вопросы. Один из них: «Володя, скажи, почему в «Сказке о золотом петушке» царь так был возмущен желанием колдуна получить шамаханскую девицу?» Подобные вопросы и ответы на них легко ложились в наши разговоры. Он был хороший, приятный собеседник. Кого я так называю? Человека, который слушал тебя. Когда он встречался с новыми мнениями, он никогда не реагировал мгновенно. Сначала он задумывался и выдавал осознанное: «Пожалуй, ты прав». Или: «Нет, я с тобой не согласен». В ответах отсутствовал бездумный и безответственный, свойственный многим автоматизм. Это очень ценно.

Я всегда сознавал, что он был человеком широких, разносторонних познаний и интересов, не похожим на тех ученых, которые всю жизнь изучают один и тот же предмет, любят его, вникают, углубляются. Они способны достичь замечательных результатов, а если речь идет о преподавателях, то могут много полезного передать студентам. Андрей относился к другому типу, был другой человек, шире, – и тем, кстати сказать, по-своему очень интересным для студентов. Его интересовали,

кроме собственно литературы, например, киножурналистика, ее дореволюционное вызревание в России, драматургия, театр, в частности, Найденов, современная живопись. Прекрасно разбирался в современном кино, мы с ним обсудили немало новых фильмов. У меня, как и у него, была возможность смотреть те, что не шли в широком прокате, это обстоятельство подбрасывало нам темы для бесед, объединяло и сближало. У него был вкус, четко выработанная система критериев, позволявшая придерживаться своей позиции, давать произведениям совершенно определенные оценки. Не просто – этот фильм понравился, а этот нет, – а почему понравился или нет. Он разворачивал, если в данный момент являлась такая необходимость, системный, методично выстроенный фронт аргументов. Концептуальный подход я всегда обнаруживал и в его книгах, и в статьях, в том числе небольших по размеру. Любую работу он начинал с обдумывания. Основательность в подходах вызывала симпатию.

Глубоко, искренне, пристрастно он относился к Алданову, его героям, он любил их. Я, кстати говоря, некоторые романы этого автора прочитал с подачи Чернышева. Мне кажется, он несколько преувеличивал его значение, хотя писатель Алданов хороший, что говорить, а человек был вообще незаурядный. Чего стоят его споры с Буниным, его предсказания, что начнется война и будут воевать союзные республики. Но, слава богу, этого в крупных масштабах не случилось, хотя костры разгорались в Азербайджане, Армении, на Украине, в Молдавии, Грузии... Много охватил и предвосхитил своим умом и талантом Алданов. Его надо читать, он и сегодня хороший и осведомленный советчик для тех, кто обсуждает даже сугубо современные вопросы.

В Андрее мне всегда импонировало его великодушие. Он мог познакомиться с моей работой и сказать: ты знаешь, я прочитал, мне понравилось. Это, поверьте, нечасто встречается в

профессиональной среде. Бывает, выпущенная книга вообще не получает никакого отклика, даже от коллег. Не согласны со мной по тем-то и тем-то позициям? Поспорьте. А тут – тишина, ни полслова. Андрей был в этом отношении чутким, деликатным. Он обязательно высказывался и не факт, что непременно хвалил. Ждешь не комплиментов, а участия. Беспощаднее всего молчание.

В Андрее таилось что-то детское, он был легко ранимым человеком с тонкой душевной организацией. Он часто задумывался о смерти, говорил о ней. Уход в физическое небытие неизбежен. Останется ли память о человеке и какая – вот в чем вопрос. Его пугали пределы этой памяти. Он мне говорил: хорошо, если бы студенты помнили нас. Я ему отвечал: Андрей, конечно, хорошо, но что ты думаешь, они будут вечно жить? Это невозможно, нереально. И он уходил в себя.

Но у памяти, на самом деле, много форм, в том числе и долговечных. Некоторые из них имеют прямое отношение к Андрею. Когда я в качестве туриста был в Венгрии, мне по моей просьбе дали адреса венгерских русистов. С одним из них, это была женщина, я встретился. Она сказала, что за все время преподавания русской литературы, когда в Венгрию приезжали филологи из России, только два из них были настоящие хорошие преподаватели: Андрей Чернышев и Валентин Недзведский с филфака МГУ. Их курсы лекций как высоко оцененные были там напечатаны отдельными изданиями.

Чернышев сблизил читающую, современную Россию с Алдановым.

Разве все это будет забыто? О такой посмертной памяти можно только мечтать.

Игорь ВОЛГИН

Ушел с работы, чтобы всецело отдаться науке

Когда я пришел работать на кафедру, как раз отмечался юбилей Андрея Чернышева: ему исполнилось сорок лет. Очень тепло о нем говорили. Наши отношения впоследствии оставались хорошими, нормальными, но, правда, только в кафедральных рамках. Я отдавал должное его многим достоинствам. На заседаниях кафедры он никогда не бубнил что-то, а вел себя эмоционально, к месту шутил, отпускал удачные остроты. Слушать его было не скучно! Говорил он всегда по делу, но не стертым языком, а живописно. Он вообще был человек очень живописный. Его легко было пародировать, чем студенты на капустниках и занимались, – верный признак признания.

Меня всегда удивлял артистизм Чернышева. Как артистично он читал лекции! Был очень эмоциональным, лично заинтересованным, вел себя не по-школярски, даже не по-университетски, а именно сочетая свою ученость, большую эрудицию с очень доступным методом изложения. Академизм сливался с эмоциональностью. Общую картину дополняла прекрасная жестикуляция, модуляция голосом. Актер! После лекций его окружали

ВОЛГИН Игорь Леонидович – советский и российский литературовед, критик, историк, поэт; доктор филологических наук, кандидат исторических наук, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького.

студенты, он с ними охотно разговаривал. Был доступный, открытый, доброжелательный.

Его доброжелательность я хорошо почувствовал и по отношению к себе. Он читал мои статьи, даже те, что печатались в не очень известных, специальных изданиях. Читал и всегда откликался на них какими-то добрыми словами. Было очень приятно, потому что мы ведь редко читаем работы друг друга. Научное сообщество очень разъединено, каждый следит за публикациями только по своей специальности. Андрей Александрович, не будучи специалистом по Достоевскому (он вообще занимался другим периодом!), находил время и возможность подходить к знакомству с филологическими новинками без профессиональной узости, был щедр на добрый отклик. Помню, как мы с ним в начале 1980-х гг. обсуждали только что вышедший на экраны фильм Александра Зархи «26 дней из жизни Достоевского», к которому я был причастен как научный консультант. Суждения Чернышева были важны для меня, потому что он, как известно, профессионально занимался проблемами кино и даже посвятил одному из его аспектов докторскую диссертацию.

Наш интерес друг к другу был взаимный. Я тоже читал его работы, прежде всего об Алданове. Андрей Александрович был захвачен им как ученый, как читатель. Этого писателя знали тогда у нас мало, появлялись только первые публикации. Я, как и многие, был увлечен историческими романами Алданова. Читатель в то время знакомился не только с ним, но с целым пластом неизвестной или малоизвестной русской эмигрантской литературы и философии (Набоков, Зайцев, Шмелев, Ильин, Мережковский и др.), в которой одно из ведущих мест принадлежало Алданову. Его неоднократно выдвигал на Нобелевскую премию Бунин. Награду Марк Александрович не получил, но упорное желание Бунина воздать Алданову по заслугам его, думаю, объяснимо: он по тщательности письма, по метафористике, по ха-

рактору изложения был наиболее близок к Бунину, в нем что-то существенное было от Ивана Алексеевича. Это их роднило, сближало, делало друзьями. Все это мне было тогда интересно узнавать, прежде всего из работ Чернышева.

Андрей Александрович отдавал Алданову все свое время. Ему хотелось поработать над его рукописями в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке, где сосредоточено наследие писателя. С удовольствием вспоминаю, что я ему написал большую рекомендацию для этой поездки, высоко оценил уже написанные работы Чернышева, настаивал на том, что эта поездка необходима. Наверное, кто-то еще, кроме меня, давал рекомендацию Андрею Александровичу, не помню точно. Но, думаю, что мое мнение учитывалось: перед этим я был в Америке, выступал там с лекциями. Все это принималось в расчет.

Кстати сказать, в 1990-е гг. с оформлением виз в связи с научными обменами было значительно проще, чем сейчас. Я скоро отправляюсь в Бостон, на Всемирную конференцию по Достоевскому, так вот замечу – с каким гигантским трудом приходилось добывать визы для членов нашей делегации!

Чернышев довольно успешно в течение почти года поработал в Америке, накопил немало интересных материалов, после поездки много печатался, в «Октябре» опубликовал несколько очень памятных и сегодня, значительных подборок из переписки Алданова с Буниным, Набоковым, многими другими деятелями культуры русской эмиграции. Новые материалы несли новое знание о них. Все это было очень важно для российского читателя, специалистов.

Более двадцати лет мы работали с Андреем Александровичем вместе на кафедре русской журналистики и литературы. И вдруг в конце 1990-х гг. что-то произошло: он ушел из университета. Это было неожиданно и всех удивило. Я, конечно, не

знаю всех мотивов, которыми он руководствовался. Его просили остаться, но он был настроен решительно. Это не укладывалось в модель поведения университетского ученого, преподавателя, профессора. Обычно люди такого положения не порывают с высшей школой: академическая карьера позволяет успешно сочетать научную работу с преподавательской. Правда, время тогда было не лучшее, зарплаты у ученых снизились до никаких, как и условия жизни. Но ведь Андрей Александрович ушел не для того, чтобы заниматься извозом или торговать на вещевых рынках, как поступали некоторые другие.

Он ушел, чтобы всецело отдаться науке, ни на что не отвлекаясь. Чернышев сделал свой выбор, и его смелое решение заслуживает уважения. Последовавшие за этим публикация новых научных работ, выход подготовленного им восьмитомника (вслед за множеством отдельных изданий и двух шеститомников) М.А. Алданова, его большой фильм о любимом писателе, который время от времени уже многие годы показывают по каналу «Культура», появление статей и интервью в журналах и т.д. подтверждают правоту его поступка. К тому же у Андрея Александровича начиналась полоса тяжелых болезней.

В моей памяти он останется как человек достойный, серьезный, очень своеобразный и глубоко преданный науке.

*Из интервью Игоря Волгина
Артему Лысенко. 23 мая 2019 г.*

Наталья ЗАВЬЯЛОВА

Дорогой наш человек

Я познакомилась с Андреем Александровичем Чернышевым во второй половине его жизни, но такое ощущение, что знала его всегда. Он был настоящим Человеком с большой буквы. Его труды не пропадут даром, они полезны и необходимы нам, его современникам, без них не обойдутся и в будущем.

Андрей Александрович состоялся не только как ученый, но и как семьянин, как друг. Не о каждом можно такое утверждать. Он был умен, галантен, интеллигентен. Очень внимателен и заботлив в отношении Аллы Борисовны, своих коллег и друзей. Пока живу, буду его светло вспоминать.

ЗАВЬЯЛОВА Наталья Алексеевна – соседка Чернышевых по даче.

Валерий ЛЫСЕНКО

Во всем серьезность и обстоятельность

Познакомился я с Андреем Александровичем гораздо раньше, чем он со мной. В наших уютных московских дворах между Палихой и Тихвинским переулком с некоторых пор я стал замечать джентльмена, неспешно гулявшего с колли. Только потом мой младший сын Артем, учившийся на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова, упомянул о лекциях по русской литературе первой половины девятнадцатого века. Их читал некий Чернышев. Нет, я такого не знал, нам лекции этого периода на том же факультете читал в шестидесятые годы незабываемый Владимир Александрович Архипов. Артему лекции Андрея Александровича нравились, и он начал под его научным руководством писать курсовые работы о В.Ф. Одоевском, к которому привлек внимание студента. Профессор и его ученик сблизились, выяснилось, что Чернышев (бывает же такое в гигантском городе!) живет в соседнем доме и это он по утрам выгуливает свою роскошную породистую собаку.

С Чернышевым – пропагандистом и публикатором творчества Марка Алданова я познакомился в конце 1980-х гг. В то

ЛЫСЕНКО Валерий Петрович – член Союза журналистов России, в 80-х – начале 90-х гг. работал заместителем главного редактора газеты «Советская Россия», главным редактором газеты «Московская правда», в дальнейшем занимался издательской деятельностью.

золотое время мы впервые узнавали массу других имен и книг, запрещенных и не издававшихся в СССР, журналы выходили миллионными тиражами, и вот в этом изумительном потоке литературы Алданов отнюдь не затерялся. Его историческими романами, очерками, эссе зачитывались тогда многие, я был в их числе.

Было приятно и лестно видеть, что Андрей Александрович проявляет интерес к Артему, своему студенту, потом диссертанту. Когда сын готовил к печати свою книгу «Голос изгнания», А.А. Чернышев написал послесловие к ней. Больше того, он пришел на факультет журналистики, хотя уже не работал там, на защиту диссертации Артема (она состоялась зимой 2000 г.) и выступил, сказав много теплых, ободряющих и напутственных слов. К счастью, наш старший сын Константин записал это выступление на видео, мы храним его, а теперь, после ухода Андрея Александровича, с сожалением осознаем, что это, наверное, одна из немногих оставшихся видеозаписей с ним, не считая, конечно, его присутствия в документальном телевизионном фильме об Алданове на канале «Культура».

Он очень расположил меня к себе, когда, поздравляя Артема с днем рождения, под видом тоста прочитал проникновенную «Молитву» Лермонтова. При этом он в двух местах изменил слова. Но это были не ошибки и не забывчивость, конечно, сказались – было желание точно приладить стихотворение к Артему и что-то теплое выразить от себя лично.

Андрей Александрович был легко ранимым человеком, иногда казалось – обидчивым, несколько мнительным. Зная, что я работал в книжных издательствах, он однажды обратился с просьбой опубликовать книгу, в которую вошла бы переписка Алданова с Набоковым, Буниным и другими видными представителями русской эмиграции, то есть то, что в конце 1990-х гг. он в виде больших подборок напечатал в журнале «Октябрь».

В это же время вышел том писем Алданова, подготовленный другими составителями. Я поинтересовался у Андрея Александровича, видел ли он эту книгу и задал несколько других вопросов, обычно возникающих у издателей перед подготовкой подобных ответственных изданий, – об авторском праве, наличии соответствующих документов, объеме текста и т.д.

Видимо, что-то ему в моем письме не понравилось. Возможно, я неаккуратно выразил просьбы. Может быть, самый вал вопросов (их было много) насторожил его, и он подумал, не кроется ли за этим просто-напросто неприятие предложения. В общем, он мне написал записку, довольно сухую, из которой следовало, что никакого продолжения разговора на эту тему не будет. Но поскольку я в то время не представлял никакого издательства и все вопросы задавал как бы для себя, в предварительном порядке, чтобы самому все понять и только после разъяснений выйти на знакомых издателей, то идея и в самом деле заглохла сама собой, хотя эпизод вызвал чувство какой-то вины и досады.

С Андреем Александровичем по телефону мы почти не общались. Общение шло через записки, которые передавал Артем. К счастью, на отношениях сына со своим профессором ничего не отразилось. Вскоре мы с женой стали чаще бывать у Чернышевых на Ленинском проспекте, сблизилась, что называется, семьями. Вместе с обаятельной Аллой Борисовной ездили в Гжель за так любимыми ею и нами всякими фигурками, посудинками, самоварами, бывали у них на даче, пили сухое вино, сколько раз заглядывали в Раменском в уютную хинкальную на втором этаже. Наконец, вместе с Аллой Борисовной побывали на отдыхе в Норвегии, где жили в чудесном домике на берегу живописного фьорда, недалеко от мощного водопада, которым мы любовались с моторной лодки, управляемой Артемом. Незабываемые впечатления!

Бывая с нами, Андрей Александрович проявлял радушие, угощал ароматным чаем, заваренным по своей особенной «технологии», говорил немного, но всегда весомо, с расчетом, что его слова вызовут ответную реакцию, начнется обсуждение затронутой темы. На даче подводил к картинам на стенах, спрашивал мнение, не торопился высказать свое. Но когда я начинал что-то говорить, чувствовал, что он готов подробно, глубоко рассказать и о картинах, и о направлении, к которому они принадлежат. Такая мини-лекция, всегда интересная. А мое мнение, если бы использованные аргументы были существенными, он готов был бы присоединить, по привычке ученого все систематизировать, к своей позиции. Или использовать в дальнейшем как доводы, с которыми невозможно согласиться и вот почему.

Во всем серьезность и обстоятельность. И требовательность к себе, своим работам, очень жесткая их оценка. Помню момент, когда Артем как редактор-составитель последней, итоговой, книги избранных исследований Андрея Александровича «Открывая новые горизонты», хотел в нее, кроме новой монографии об Алданове и монографии о дореволюционной киножурналистике в России (в основе – докторская диссертация А.А. Чернышева), включить текст книги о Найденове. Им когда-то об этом замечательном драматурге была защищена кандидатская диссертация, а в 1970-е гг. издательством Московского университета выпущена книга, которая и сегодня хорошо воспринимается: она насыщена ценным биографическим материалом, интересными мыслями. Но Андрей Александрович воспротивился. Он решил, что за полвека много воды утекло, кое-что следовало бы переосмыслить. Был настроен категорично. Жаль, но это и называется требовательностью к своим работам.

Так получилось, что первые несколько экземпляров тиража последней книги Андрея Александровича привезли к нему мы

с женой. Было это в начале осени 2017 г. Он уже тяжело болел, практически никуда из дома не выходил. Очень радовался изданию, сделал нам трогательную надпись на подаренном экземпляре: «Дорогим Ирине Александровне, Валерию Петровичу. Вы крестные родители этой книги, которую сейчас держите в руках. Я очень счастлив, что в 80 выпустил новую, последнюю, книгу. Но еще более счастлив, вспоминая, сколько чутких, бескорыстных, добрых людей способствовали ее изданию. Вы первые из них. Спасибо Вам за Артема. Андрей Чернышев».

Александр РУДНЕВ

«Вашим мнением дорожу...»

Я был знаком с Андреем Александровичем Чернышевым, по всей видимости, с начала 1980-х гг., с того времени, когда я подвизался на кафедре истории русской журналистики и литературы журфака в качестве соискателя, сдавал там кандидатские экзамены и занимался публицистикой и газетно-журнальной критикой Леонида Андреева – это была тема моей диссертации. Когда мое диссертационное сочинение было в первом варианте написано и представлено на обсуждение, то среди рецензентов оказался и Андрей Александрович. Будучи «рецензентом не из добрых», по его собственным словам, к моей работе он, тем не менее, отнесся вполне внимательно и доброжелательно, о чем его в свою очередь попросил мой научный руководитель профессор Владислав Антонович Ковалев, очень заботившийся обо мне и охарактеризовавший меня как человека хоть и не вполне еще созревшего, но в чем-то несомненно, по его мнению, способного.

Прочитав работу, Андрей Александрович сказал мне следующее:

РУДНЕВ Александр Петрович – филолог, литературовед, критик, кандидат филологических наук, член Союза писателей России (Московское отделение), печатается в газетах «Литературная Россия», «Слово», журнале «Наш современник». Комментатор, автор вступительных статей и предисловий к собраниям сочинений Леонида Андреева, Алексея Толстого и других русских писателей конца XIX – первой половины XX вв.

– Вам надо ее тщательно привести в порядок – как расчищают сад весной от накопившегося за зиму мусора.

И потом неоднократно давал мне всякие советы и рекомендации.

Помню также и то, что он однажды забыл или оставил где-то экземпляр моей рукописи, и ее не могли найти.

– Сочувствую вашим неприятностям, всего доброго, – услышал я по телефону от него очень сухие и, скажем прямо, малолюбезные слова, когда я в полном смятении обратился к нему. К счастью, рукопись вскоре нашлась, и недоразумение было исчерпано.

Андрей Александрович относился ко мне определенно плохо, и, когда я приходил на заседания кафедры, мы почти всегда садились с ним рядом и часто перешептывались на самые разнообразные темы.

Многokrатно мне приходилось слышать его выступления на кафедральных собраниях, когда обсуждались различные работы, диссертации и т.д. – он говорил всегда очень четко и ясно, предельно аргументированно, иногда бывал резковатым. И я, как будто это было вчера, отчетливо слышу и представляю себе его столь же четкую, несколько скандированную речь, которая всегда его отличала.

А однажды я оказался невольным свидетелем неприятного конфликта, произошедшего между Андреем Александровичем и сотрудницей кафедры, и хорошо запомнил, с каким достоинством и спокойствием он отвечал на какие-то, очевидно, достаточно пристрастные нападки в свой адрес.

Андрей Александрович был абсолютно интеллигентным и воспитанным человеком в каком-то старинном, я бы сказал, навсегда теперь отошедшем и утраченном почти полностью духе – чувствовалось, что это «не заемная», что называется, не благоприобретенная культура, а та, которая у человека может

быть только в крови и отличается каким-то особым, даже трудно передаваемым словами обаянием. А происходил он, как известно, из старомосковской интеллигентной семьи и был, как я узнал от него, потомком петрашевца Ханыкова. Настоящая его фамилия была Добраницкий, но обстоятельства его жизни сложились так, что он носил фамилию своего отчима.

Примерно тогда же, в свои аспирантские годы, я узнал и о сфере научных интересов и занятий Андрея Александровича – приобрел и прочитал его книжку о драматургии С.А. Найденова – когда-то творчество этого писателя было одной из основных его тем, – а потом и книгу о русской дооктябрьской киножурналистике. При всей своей безусловной традиционности, но отнюдь не в негативном смысле этого слова, работы А.А. Чернышева характеризуются высочайшей научной культурой, тонкими, порой остроумными, хлесткими суждениями и очень добротной, почти исчерпывающей источниковедческой базой.

Второе же издание его книги о дореволюционной киножурналистике под заглавием «Открывая новые горизонты» с добавлением раздела о М.А. Алданове появилось совсем недавно, в 2017 г.

М.А. Алданов был в течение долгого времени, пожалуй, центральной фигурой научных занятий и изысканий Андрея Александровича – почти все издания сочинений М.А. Алданова, начиная с 1980-х гг., в том числе собрания сочинений, выходили под его редакцией и им, по сути дела, одним были подготовлены. Поэтому не будет преувеличением сказать, что в этой области никто не сделал так много, как Андрей Александрович. Он был подлинным энтузиастом в сфере изучения и издания этого писателя и очень был ему предан.

А мне как-то уже в последние свои годы предложил написать статью «Алданов и Алексей Толстой».

– У меня уже нет сил, – добавил он.

К сожалению, эта идея осталось по каким-то причинам несущественной.

Уже, будучи тяжело больным, Андрей Александрович прислал мне книгу с надписью, более похожей на письмо, которая очень тронула меня, поэтому я приведу ее полностью:

«Дорогой Саша, у меня только что вышла книжка (последняя, по-видимому), и я с удовольствием и добрым чувством шлю ее вам. Мы, кажется, никогда с вами о ней не говорили. Подозреваю, что и вы тихо и полутайно пишете главную книжку своей жизни. Ведь вы талантливый человек, а с таких много взыскуется. В гости вас не зову, я в скверной физической форме, на улицу не выходил более года. Но очень прошу: позвоните, пожалуйста, скажите, что о ней думаете. Вашим мнением дорожу.

Андрей Чернышев. Сентябрь 2017 г.»

Почитав книгу, я, конечно же, позвонил и что-то стал говорить о ней – и не только хвалебные слова, но и какие-то критические соображения и даже сделал замечания. Тогда Андрей Александрович попросил меня написать рецензию, что я с удовольствием и незамедлительно выполнил. Моя рецензия под заголовком «Кинематограф и литература» была опубликована в газете «Слово» некоторое время спустя, в конце марта уже следующего, 2018 г. Наряду с прочим, мой разбор содержал и одно замечание и несогласие с автором по поводу Алданова и Алексея Толстого, быть может, не вполне корректно высказанное, и это, должен заметить, Андрею Александровичу не очень понравилось. Но что же делать – написанное пером не вырубить топором!

Где-то, очевидно, уже после ухода Андрея Александровича из университета – не могу точно вспомнить, когда это было – или, возможно, несколько раньше, я почти потерял его из виду. Один раз только, помнится, случайно встретился с ним на ули-

це, на Воробьевых горах, возле университетского 1-го гуманитарного корпуса. Мы постояли немного, поговорили о том – о сем, он поинтересовался моими делами, которые складывались непросто, я проводил его немного и больше с ним не встречался и, кажется, ничего о нем не слышал много лет. Знал только от кого-то, что Андрей Александрович некоторое время провел в США, где, наряду с прочим, занимался в известном Бахметевском архиве эмигрантскими материалами.

Но лет шесть, должно быть, назад я, обнаружив его телефон в своей записной книжке, неожиданно даже для самого себя позвонил ему, и с этого момента начался новый виток наших общений. Я по его просьбе послал ему несколько своих статей и работ, среди которых особенно его заинтересовал очерк о Вл. А. Ковалева, опубликованный в «Литературной России», – да и не удивительно, ведь это был его многолетний ближайший коллега!

Созванивались мы двусторонним образом – не только я ему звонил, но и он мне. Обменивались разными новостями и впечатлениями, мнениями, особенно подробно он рассказывал о тех новых фильмах, которые ему удавалось посмотреть в Доме кино, и пригласил как-то меня составить ему компанию. Это почему-то не удалось, зато я выбрался к Андрею Александровичу на дачу, на 42-й километр Казанской железной дороги, и очень радушно был принят им и Аллой Борисовной. Этот классический подмосковный дачный дом среди сосен очень понравился мне – в нем оказалась превосходная коллекция гжельской посуды и масса других очень интересных вещей.

Когда я уезжал, Андрей Александрович проводил меня за калитку, потом я обернулся и некоторое время смотрел ему вслед, пока его фигура не скрылась за поворотом переулочка. И как оказалось, видел его в последний раз. Но наши общения с ним и Аллой Борисовной продолжались по телефону, мы как-то очень

сблизились и сдружились, несмотря на то, что Андрей Александрович однажды заметил, что ему трудно уже начинать новые дружбы, но так оно продолжалось почти до последнего времени.

О смерти Андрея Александровича я узнал, увы, с большим опозданием.

Что ж, вечная ему память, как вечная память той почти уже совсем ушедшей интеллигенции прежнего времени, к которой он всецело принадлежал. Я рад и горжусь тем, что был знаком с этим человеком – отличным педагогом (имею, полагаю, моральное право сказать так, хотя и не учился у него и недостаточно его знал в этом качестве), прекрасным, высокообразованным и культурным ученым-исследователем, интересным, обаятельным и доброжелательным собеседником. И написание этого небольшого очерка считаю своим долгом перед его памятью.

Сергей ЧЕРНОВ

Заметил мои горящие глаза...

Я помню, как впервые оказался на его лекции на факультете журналистики. Сразу было видно, что это необычный, неординарный профессор, с особенной манерой чтения лекций – он менял тональность, иногда что-то говорил, слегка растягивая слова (это было немного похоже на распевность Бродского), поднимаясь в высокие ноты. Не все это принимали. И на его лекциях не было звенящей тишины среди студентов. Но это было безумно интересно!

Мне сразу показалось, что Андрей Александрович может быть для меня еще одним из проводников в мир изящной словесности. А.А., видимо, заметил мои горящие глаза и как-то быстро выделил меня среди студентов. Мне это было приятно и хотелось познакомиться с ним поближе.

Потом, в конце 1980-х гг., я делал с ним какое-то интервью для моей программы «Экспресс-камера» на Московском телеканале и, как молодой человек, еще не обжегшийся, погруженный в эйфорию свободы и раскрепощенности начатой перестройкой, задавал не совсем тактичные вопросы про сталинские времена и ГУЛАГ. И А.А. как-то аккуратно и несмело старался побыстрее закончить этот разговор. Это уже позже я узнал про его семейную историю – посадку мамы и ее чудесное освобождение

ЧЕРНОВ Сергей Петрович – издатель кулинарных книг.

с помощью давнего друга семьи Константина Симонова. Эта страшная травма, к сожалению, осталась у А.А. на всю жизнь. И лечил он ее с помощью... литературы.

Именно Андрей Александрович Чернышев стал первооткрывателем Марка Алданова для россиян конца XX века.

В каком-то смысле моя любознательность помогла ему в этой огромной работе. Я был подписчиком газеты «Иностранец», выходявшей в свет в те свободолюбивые годы. В ней я увидел объявление, что одному из американских университетов требуется на работу профессор русской литературы. «Чем черт не шутит», – сказал я А.А., – «Подайте документы, а вдруг...» И вскоре вместе с Аллой Борисовной они уехали в Штаты, где он проработал чуть меньше года, не только читая лекции в Колумбийском университете, но проводя многие часы в архивах американских библиотек, собирая материалы о выдающемся русском писателе, эмигранте первой волны, случайно не получившем (как говорил А.А.) Нобелевской премии. Именно Алданов писал беспощадные очерки на Советскую власть, именно Алданов написал один из самых мощных антисоветских романов «Начало конца», разбирая механизм укрепления тоталитаризма.

В последнее время, когда Андрей Александрович уже перестал выходить из дома, ему трудно было работать, он все чаще грустил и отдавался во власть пессимизма. Чтобы хоть как-то поддержать его и вывести из этого состояния, я, при встрече, заводил с ним беседы о литературе и Алданове – это срабатывало, хоть и не надолго. После одной из таких бесед я сам загорелся идеей сделать интересный издательский проект, связанный с Марком Алдановым, и рассказал А.А. Мне показалось, он также загорелся этой идеей. Я даже подумал, что он успеет написать предисловие к этой книге. Но, к сожалению, не успел.

Хотя смог дать мне обширнейшие инструкции и советы, как это лучше сделать.

Если это случится, он, конечно же, будет посвящен моему замечательному Учителю и другу – Андрею Александровичу Чернышеву.

Андрей РАСКИН

Кто хотел, тот взял, сохранил, понес дальше...

Заметки на полях конспекта студента факультета журналистики, прослушавшего курс лекций профессора А.А. Чернышева по истории русской литературы первой четверти XIX века в осеннем семестре 1988–1989 учебного года.

На факультете журналистики к литературе (отечественной и зарубежной) всегда было особое отношение. Подчеркнутый пietet. И ничего не нужно было объяснять, это висело в воздухе, автоматически схватывалось, передавалось из поколения в поколение. Факультет журналистики всегда был пропитан литературой. Ее много читали, осмысливали и даже делали попытки заниматься собственным творчеством.

Возможно, свою роль сыграла история факультета. Ведь в послевоенном 1947 г. сначала появилось отделение на филологическом факультете, и только спустя пять лет, в 1952 г., было принято решение о создании факультета. Но филологическая традиция была сохранена. Она проявлялась во многом: в университетской традиции чтения, любви и особом уважении к

РАСКИН Андрей Вадимович – выпускник факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, студент профессора А.А. Чернышева в 1988–1989 гг., журналист, преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

слову, фразе, тексту, к литературе и литературоведению. Кафедра русской журналистики и литературы, как и другие кафедры (Стилистики русского языка, Зарубежной журналистики и литературы, Редакционно-издательского дела, Литературно-художественной критики и публицистики), очень бережно, но настойчиво старались передать студентам филологическую культуру.

Но у любой культуры должны быть ее верные и преданные посланцы. На факультете журналистики такими посланцами были прекрасные профессора, которые и сами жили литературой, филологией, и стремились передать все свои знания студентам. Не просто побудить прочитать некоторый набор классических произведений, но полюбить литературу на всю жизнь. Андрей Александрович Чернышев был одним из таких профессоров.

Каждому лектору свойственен свой неповторимый стиль. Кто-то в академической аудитории немного артист, который старается привлечь внимание студентов, может быть, несколько экстравагантными приемами. Кто-то дидактик, для которого важно методически точно передать весь заготовленный и важный материал. Кто-то диктор, который именно старается прочитать лекцию... Типажей бывает много. И каждый студент факультета журналистики охотно расскажет о своих любимых педагогах, чьи занятия всегда старался посещать. Но каким профессором был А.А. Чернышев? Ответить однозначно на этот вопрос непросто. И, скорее всего, у многих он сумел оставить какой-то свой особый след, и у всех будут свои воспоминания, будет возникать свой образ. Поделюсь своими наблюдениями, небольшими воспоминаниями.

Его первое появление в аудитории было ожидаемым, подготовленным. И сделала это Людмила Евдокимовна Татарина, легендарный лектор, с ней студенты знакомились на первом

курсе, буквально в первую, самую волнительную неделю учебы. Она читала в течение первого курса лекции по древнерусской литературе и по русской литературе XVIII века. На последней своей лекции в конце года она и представила Андрея Александровича, заочно, но очень ярко, как она превосходно умела это делать. Она сказала о Чернышеве кратко: с ним вам будет интересно, его лекции вам будут очень важны в жизни. И после летнего перерыва Андрей Александрович вошел в аудиторию...

Он привлек к себе внимание с первой минуты: внешне он выглядел собранно и вполне уверенно, с собой он принес много потертых книг с бесчисленными закладками, листы с записями... Но это было внешне. А внутренне – в аудиторию вошел человек, который принес с собой целую эпоху – XIX век – дней Александровых прекрасное начало. И с Александра Первого он и начал свой рассказ о литературе. Рассказ о том, как «царя-самодура» сменил молодой реформатор, с какой трагедией была связана грань веков: личной, семейной, исторической... Но как же важен был приход Александра для литературы, какой это был мощный импульс, как это повлияло на Россию! Это было в самой первой лекции А.А. Чернышева, а потом, конечно, были очень подробные рассказы о Крылове и Жуковском, о Батюшкове и Рылсее, о Грибоедове, о поэтах-декабристах, и о Пушкине – несколько лекций с очень детальным разбором всех его основных произведений.

Казалось, что он знал все детали своего XIX века, лучше всякого историка, может быть, даже лучше, чем знали это современники. И эти знания он передавал: лекция за лекцией, очень бережно, осторожно, словно опасаясь что-то растерять, упустить, недосказать. У Андрея Александровича сразу появились свои поклонники и поклонницы, как же без них! Они садились на первые ряды, кропотливо вели конспекты, которыми потом великодушно делились с теми, кто уже на втором курсе вместо

лекций пропадали целыми днями в редакциях. И еще должен вспомнить Наталью Николаевну Любимову, она руководила студентами курса в те годы, работала с Андреем Александровичем на одной кафедре. Она всегда говорила: на Чернышева надо ходить! А потом, после лекций, спрашивала: ты был на Чернышеве? И как тебе? И получая восторженный отклик, всегда добавляла: видишь, я же говорила, что надо ходить на лекции Чернышева!

Свой курс он читал отлично, он просто не мог читать плохо о Пушкине и Грибоедове в Московском университете. И он, складывалось впечатление, знал наизусть, в мельчайших деталях все произведения русских писателей и поэтов XIX века. А еще знал их биографии, исторический контекст, понимал все сложные ситуации, которые пришлось им пережить. И все это рассказал, передал. И кто хотел, тот взял, сохранил, понес дальше...

Григорий ПРУТЦКОВ

Главный урок профессора Чернышева

Андрей Александрович Чернышев, безусловно, входил в пантеон, как бы сказали сейчас, топовых лекторов журфака МГУ. Легенды о нем передавали из уст в уста еще до начала учебы, на картошке. С первой же встречи (это был коллоквиум по творчеству Фонвизина) Андрей Александрович поразил нас тем, что отдал свой стул опоздавшему студенту, которому не хватило места в аудитории. При этом на лекции он опоздавших не пускал.

– Покиньте, пожалуйста, аудиторию, – спокойным голосом просил он. – В театр не пускают после третьего звонка.

На втором курсе мы целый год слушали лекции Чернышева и дважды встречались с ним во время сессии: на экзамене в январе и на зачете в июне. Студенты старших курсов убеждали нас, что ему сложно сдавать – потому, что Андрей Александрович основной упор делает на дополнительные вопросы. На консультации перед экзаменом, отвечая на одну из студенческих записок, он загадочно улыбнулся и сказал:

– Вопросы типа «Кто автор оперы «Русалка»?» ждут вас после ответа на ваш билет.

ПРУТЦКОВ Григорий Владимирович – кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Мне оба раза в билетах доставалась критика Белинского, которую я, честно сказать, знал неважно. Чернышев понял это и закидал меня дополнительными вопросами, но в конце концов поставил «отлично». В каждом студенте он ценил оригинальность и яркость, а за невежество, наоборот, мог выгнать с экзамена. Однажды, например, пришел отвечать мой однокурсник, которого все звали Келдышем. Билет он знал так себе, но понимал, что может «выехать» на дополнительных вопросах. И они последовали незамедлительно:

– Какие стихи посвятил Пушкин Анне Петровне Керн?

– «Я помню чудное мгновенье!» – тут же процитировал Келдыш.

– А еще?

Келдыш задумался.

– Больше никаких стихов не знаете? – строго спросил экзаменатор.

– Знаю, – выпалил Келдыш. – «Люблю тебя, Петра творенье»!

– Bravo! – воскликнул Чернышев и поставил Келдышу в зачетку «отлично».

Другая моя однокурсница была готова к экзамену совсем плохо. Андрей Александрович решил ей помочь: цитировал стихи и спрашивал, кто их автор или как они называются. Но и это не давало результата.

– «Поэта дом опальный, о Пушкин мой, ты первый посетил», – терпеливо продолжал экзаменатор. – Вы должны знать это стихотворение еще со школы.

– Простите, – пролепетала девушка, – вы не могли бы повторить, я не поняла, кто опущен.

Чернышев побледнел и отправил девушку на пересдачу.

Еще одна студентка, отвечая на вопрос по стихотворению Вильгельма Кюхельбекера «На смерть К.П. Чернова», от волне-

ния дважды назвала его «На смерть Чернышева». Надо отдать должное Андрею Александровичу: он выслушал ответ и только в конце спокойно сказал, как на самом деле называется стихотворение, и заметил, что он еще жив. Девушка побледнела от ужаса.

– Даты жизни Кюхельбекера помните? – поинтересовался экзаменатор.

– Что вы, я и свои даты от волнения сейчас не вспомню, – ответила девушка. Она успокоилась, лишь увидев, как Чернышев ставит ей в зачетку «хорошо».

...С того времени прошло тридцать лет – время, когда выпускник забывает не только иных преподавателей, но и предметы, которые они вели. Андрея Александровича забыть нельзя: его лекции, его манера принимать экзамены свидетельствовали о том, что в каждом студенте он пытался увидеть творческую личность, способную мыслить ярко и нестандартно. Для меня это главный урок профессора Чернышева.

Наталья ЛЕВИТИНА

Спасибо за планку!

Мое знакомство с Андреем Чернышевым состоялось дважды.

Первый раз, когда в конце 1980-х гг. я поступила на вечернее отделение журфака МГУ и попала на его лекции. То, что это был человек очень образованный и увлеченный литературой, было, безусловно, понятно каждому, кто на эти лекции попадал. На зачетах ему было очень важно, чтобы мы знали детали и цитировали произведения, поскольку это означало, что мы их прочли. Правильные ответы приводили его в восторг. Он резко хлопал в ладоши и со словами «браво» ставил зачет. Недавно где-то в социальных сетях я прочла историю, что, оказывается, правильный ответ был не единственным способом получить зачет у Чернышева. Еще этого добиться можно было оригинальностью. Однажды он спросил у студента, какие стихи Пушкин посвятил Анне Петровне Керн. «Я помню чудное мгновенье» – ответил тот. «А еще?» – спросил Андрей Александрович. Немного подумав, студент заявил: «Люблю тебя, Петра творенье». Чернышев произнес свое знаменитое «браво» и поставил зачет.

Те, кто учились на вечернем, знают, что времени общаться с преподавателями практически нет. Прибежал на лекцию после

ЛЕВИТИНА Наталья Александровна – выпускница факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 1992 г. Живет в США, работает в сфере локализации.

работы, а потом скорее домой, уже в темноте. Так что шансов узнать Андрея Александровича поближе у меня было немного.

Но получилось иначе. Мое второе знакомство с ним произошло заочно. Уже учась на журфаке и одновременно работая в шахматной редакции журнала «Физкультура и Спорт», я как-то приехала к своему дедушке, Эмануилу Марголису, и стала допекать его, чтобы написал семейные воспоминания. Даром, что ли, я младший редактор, убеждала я его. Ты пиши, а я отредактирую, обещала я. Он сказал, что попробует. И в один прекрасный день, приехав в очередной раз его навестить, я обнаружила несколько машинописных листов, в некоторых местах им самим уже поправленных. Это был увлекательный рассказ под названием «Митавский выводок» о семье его бабушки Минны, у которой было 9 детей: 7 девочек и 2 мальчика. Митавский он был потому, что семья была родом из Митавы (нынешняя Елгава, в Латвии), но потом переехала в Лодзь (теперь Польша). По поводу этого переезда в семье ходила легенда, что когда на посадочной станции бабушка пересчитывала детей и узлы, из одного из узлов выкатилась тарелка. Длиннопольный еврей, проходивший мимо, схватил тарелку и побежал прочь. Вдруг он остановился и крикнул: «Мадам, эта тарелка мясная или молочная?», за что, конечно, был Минной обруган.

Молодость старших пятерых детей пришлось на время революции 1905 г. Четверо из старших сестер: моя прабабушка Полина, Эдда (в замужестве Тененбаум), Етхен, Лилли (в замужестве Файнштейн) и их младший брат Артур (псевдоним Шашевский) связали свою жизнь с борьбой за права бедняков. Позже и они и их семьи были расстреляны или сосланы. Етхен (официально по некоторым документам Анна, а по другим Елена) вышла замуж за Мечислава Добраницкого, родила сына Казимира, а потом была сослана. Дочитав до конца их трагическую историю, я увидела в рукописи следующее: «После ареста

Казика его жена Нина Георгиевна осталась с маленьким ребенком. Затем ее тоже арестовали, после реабилитации она вернулась. Ребенка, Андрея, воспитал приемный отец, Чернышев. Сейчас Андрей преподает на факультете журналистики МГУ».

Сомнений быть не могло, Андрей Чернышев на журфаке был только один. Значит мой преподаватель Андрей Александрович – это троюродный брат моей мамы, вычислила я. С трудом дождавшись конца семестра, чтобы меня не обвинили в использовании семейных связей в целях получения зачета, я направилась к Андрею Александровичу и рассказала эту историю. Вскоре он позвал меня в гости.

В Тихвинский переулочек, где жил Андрей Александрович с Аллой Борисовной и потрясающе красивым колли Атосом, мы пришли вместе с моей двоюродной сестрой Анной. Он поил нас каким-то необыкновенным для тех московских времен чаем, кажется, с ванилью. Мы сидели в светлой комнате, где повсюду были книги, и рассказывал о Бутырке, которая была совсем рядом с его домом и в которую его мама носила передачи для Казимира. И при этом нам было удивительно тепло от его мягкого голоса, его пронизательного взгляда, его доброй улыбки.

А потом мне очень повезло, потому что Андрей Александрович согласился стать научным руководителем моей дипломной работы. Не помню уже, как я выбирала тему, но подозреваю, что он приложил к этому руку. В то время, в начале 1990-х, только-только вышел из забвения Набоков и появилось в печати множество его произведений. Мне кажется, это с его подачи я начала читать Набокова, и в итоге темой диплома выбрала «Набоков и Гоголь».

Я практически не помню процесс работы над дипломом. Не помню, что советовал мне Андрей, а что было моей идеей. Но я хорошо запомнила его фразу, которую он повторял несколько

раз, что планку надо повышать. Эта фраза поселилась во мне с легкой руки Андрея, и делать что-то вполсилы мне уже не удастся. Под девизом «планку понижать нельзя» я обычно выкладываюсь по полной программе. Сегодня, перечитав свою дипломную работу со всеми этими Гумбертами, Мартами, Францами, Машеньками и, конечно, Пульхерией Ивановной, я увидела огромное количество сравнений, деталей и параллелей. Я поняла, что на тот момент я прочла и проанализировала не только кучу рассказов и романов самих писателей, но и очень много библиографий. Я уверена, что без Андрея Александровича я бы не продралась через эти дебри и не выстроила бы так логично и даже занимательно весь материал.

После защиты диплома я почти сразу уехала в Америку. Когда несколько лет назад я узнала о проекте «Последний адрес», я поняла, что история моих прабабушек-революционерок и их мужей должна быть рассказана. Я подала заявку на тех членов семьи, которые были расстреляны или не вернулись из ссылки. В их числе были и Елена Карловна Добраницкая, и Мечислав Добраницкий, и их сын Казимир. Мне очень хотелось сообщить об этом Андрею и Алле. Я долго пыталась их разыскать, бесконечно звонила в Тихвинский переулочек и спрашивала про бывших жильцов. Благодаря усилиям «Последнего адреса» пару лет назад эти таблички были установлены в Петербурге и в Москве. К моему великому сожалению, Андрей так и не узнал о том, что память о его отце, бабушке и дедушке была восстановлена. Но я очень благодарна Артему Лысенко, который нашел меня через «Последний адрес» и помог восстановить потерянную для меня нить. Как жаль, что это не произошло при жизни Андрея Александровича.

Моя дипломная работа завершается такой фразой: «Память для Набокова – это единственное, что может подарить бессмер-

тие тому, что нас окружает. Когда человек забывает предметы, он «обрекает их на умирание» («Дар»), и пока о самом человеке помнят оставшиеся в живых, – он бессмертен».

Спасибо Вам, Андрей Александрович, за то, что Вы были в моей жизни и как родственник, и как учитель. Спасибо за планку!

Бостон, октябрь 2019 г.

Артем ЛЫСЕНКО

От первого до третьего звонка

Первую лекцию Андрея Александровича я слушал в далеком 1992 г., а первый звонок в университете для нас отзвенел еще за год до того, и мы, второкурсники факультета журналистики МГУ, чувствовали себя тогда далеко не новичками на занятиях преподавателей-корифеев. Удивить нас уже было сложно. Так нам казалось. К этому времени мы прошли через лекции Павла Вячеславовича Балдицына по античной литературе, целый год слушали Людмилу Евдокимовну Татаринovu о древнерусской литературе и XVIII веке, мы уже не понаслышке знали Нинель Ивановну Ванникову с ее курсом по Средневековью и Возрождению. Весь прошедший год я находился под впечатлением от коллоквиумов Елены Ивановны Волковой по зарубежной литературе.

Моя однокурсница Наталья недавно вспоминала в разговоре со мной то время: «Это были голодные годы». О возможном голоде приближавшейся зимой тогда немало толковали. На Манежной площади рядом с факультетом собирались митинги. Но в аудиториях царил совсем иная атмосфера. Профессора часто

ЛЫСЕНКО Артем Валерьевич – кандидат филологических наук, член Союза германистов России, научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель Объединения выпускников германских программ Германо-Российского Форума; автор книг «Голос изгнания» (М.: Русская книга, 2000), «Остановка – Миссури. 132 дня в американской провинции» (М.: Русская новь, 2007), многих статей о печати первой волны русской эмиграции в Германии.

говорили, что мы, студенты, сейчас наконец-то освобождены от многочисленных и бессмысленных идеологических предметов и можем сосредоточиться на главном. «Что это «главное» – решать вам. Все в ваших руках», – сказал нам на вводной лекции декан Я.Н. Засурский. В событиях путча 1991 г. он сам видел много поводов для параллелей со «100 днями» Наполеона и его политикой в области прессы. Те месяцы давали много поводов для самых неожиданных сопоставлений. В них была особенно большая свобода, ведь мало кто знал, что на самом деле тогда происходило в нашей жизни, стране. Немецкие профессора на лекциях в Свободном Российско-Германском институте публицистики на нашем же факультете видели немало общего в жизни России с ситуацией в Веймарской республике – Германии 1919–1933 гг. В газетах писали об угрозе фашизма в России. Но еще больше поводов для настоящих параллелей давала нам литература и история журналистики.

И вот мы на первой лекции по русской литературе начала XIX века. Пушкинский период. Он тоже затрагивал, конечно, эпоху Наполеона. Лектор А.А. Чернышев говорил о значимости авторов второго, третьего, пятого ряда: гении чувствуют то, что витает в воздухе, они опираются на яркие личности вокруг, Пушкин не стал бы Пушкиным, не будь в эпохе других фигур, талантливых, тогда известных, но оставшихся в «малом» времени. Об этих писателях он и объявил спецсеминар, на который я вместе с тремя десятками студентов сразу записался.

На меня произвело впечатление его умение выступать: он точно использовал слова, порой казалось, он читает написанные заготовки. Но бумажек не было. И хоть в 308-й аудитории слышался голос только одного человека – лектора, чувствовалось, что это был не монолог, а своего рода диалог: выступающий быстро нашел контакт с залом.

Он умел не только говорить, но и слушать зал, умел разрядить обстановку веселой историей, когда видел, что молодая публика устает. Например, об увесистой картине у баснописца И. Крылова. Она весьма опасно висела над его рабочим местом. Когда друзья обратили его внимание на это, писатель ответил: «Не беспокойтесь, я все посчитал: она пролетит мимо». Такие истории остаются в памяти.

Порой лектор использовал формы слов, мне не всегда знакомые. Они были даже не устаревшие, а просто странные, как мне казалось. Например, рассказывая об одном из писателей, он использовал слово «фортка». Вроде бы привычнее слово «форточка». Устаревшая форма? Таких слов за лекцию было всего два-три, но они диссонировали с общим впечатлением от лектора, который выглядел вполне современным человеком.

С лекции я ушел с ощущением некоторой загадки. Чернышев был весьма сдержан. Не покидало чувство, будто профессор хотел выразить больше, чем то, что мы слышали в «открытом тексте». Кстати сказать, это чувство осталось со мной на все годы последующего долгого общения с Андреем Александровичем.

Я начал писать у него курсовую работу. Он обещал быстро читать мои черновики и давать свои комментарии. Советовал бывать на лекциях Э.Г. Бабаева, легенды нашего факультета и коллеги Чернышева по кафедре русской журналистики и литературы.

Как правило, научные руководители, люди занятые, не слишком «возятся» со своими подопечными студентами. У Чернышева был свой стиль отношений с ними. Он дал мне из своей личной картотеки критическую литературу по В.Ф. Одоевскому (автору, которого я выбрал для курсовой работы), предложил обсудить детали по домашнему телефону – жест, необычный со стороны профессора, внешне официального и, казалось, мало-

доступного. Рекомендованные им книги П.Н. Сакулина я сразу заказал в университетской библиотеке, регулярно возвращаюсь к ним и сейчас. Помимо работ по В.Ф. Одоевскому, этот ученый был среди авторов реформы русского языка, без «еров» и «ятей», которую большевики позднее приписали себе.

По ходу семестра я заметил, что на лекции Чернышев приходит с какой-то сверхъестественной пунктуальностью. Иногда я смотрел на секундомер: когда на циферблате высвечивалось «00», он произносил первые слова. Спустя годы я спросил его, в самом ли деле он считал секунды? При том, что часы мы, студенты, не всегда видели у него на руке. «Люблю точность, но специально, конечно, ничего не подгадывал», – ответил он.

Заканчивался семестр, приближалась сессия. «Сегодня мы впервые поговорим о писательнице-женщине в нашем списке – Каролине Павловой, – начал Андрей Александрович свою очередную лекцию. – Но сначала загадка. Кто ответит, получит «автомат»». И тут я слышу вопрос, ответ на который он мне сам излагал недавно после беседы о моей курсовой работе.

Никто ответа не знал. Тогда поднимаю руку я и полушутя, намекая на недавний разговор, отвечаю то, что хотел услышать лектор. «Ответ правильный», – реагирует Чернышев.

И опять странное чувство: почему он серьезно выслушал мой ответ и никак не обыграл его? Он забыл, что рассказал мне сам? Я не торопился за «автоматом». Но в разгар сессии, во время бессонных ночей и авралов мне советовали отнестись к моему смущению попроще и воспользоваться возможностью не сдавать зачет. В самом деле, предстояло еще несколько сложных экзаменов, и я все же решил попробовать. Пришел к экзаменатору и сказал: «Андрей Александрович, вы хотели поставить мне автомат». «Я помню», – спокойно ответил он и сделал необходимую запись в зачетке.

«Как все народные бедствия, экзамены кончились», – через неделю вспомнилась мне фраза Алданова из его романа «Ключ». Сессия была позади, впереди каникулы.

...Мой брат, тоже выпускник нашего факультета, узнав, что пишу курсовую у Чернышева, рассказал, что, оказывается, он – наш сосед по двору в Тихвинском переулке, поскольку часто встречает Андрея Александровича гуляющим с собакой колли. «Может, тебе и не надо всегда договариваться с ним о встрече на факультете, а что-то обсудите и здесь...»

Однажды, зная о моем интересе к Германии, Чернышев пригласил меня помочь ему с переводом маленьких вкраплений на немецком языке в романы Алданова. Тогда Чернышев работал над новым изданием «Живи, как хочешь». Меня приятно удивило такое доверие со стороны профессора. Кажется, в ту же встречу он рассказал, что только что побывал с женой в Испании и может угостить меня бокалом хорошего испанского вина. Никогда не забуду, как я сидел в его комнате. Темная мебель, неяркий свет, вокруг большие картины. Особенно мне запомнилась одна из них: сумерки, вдоль озера идет человек, мужчина или женщина – непонятно, трава, высокие деревья. «Вот здесь могут разворачиваться загадочные сюжеты из «Русских ночей» Одоевского», – подумал тогда я. Картина как бы воплощала ореол загадки, которая витала вокруг моего научного руководителя. За своим секретером, в настольном ярком свете, среди бумаг он был другой, не как на лекции, – естественный, восприимчивый, хотя по-прежнему требовательный к себе, тексту, лежащему перед ним.

На другой встрече в этом же кабинете я рассказал, о чем хотел бы написать следующую курсовую работу. Андрей Александрович слушал меня внимательно, хотя по выражению его лица мне показалось, что моя идея ему не совсем понятна. «Попробуйте, с богом!», – сказал он. Но сделал это не равнодушно: в

тональности я услышал его желание позднее вникнуть в мою задумку. Он умел давать свободу своим студентам.

Через пару месяцев, когда в летнюю жару я встретил Чернышева во дворе, он рассказал, что уезжает работать в США и что мне предстоит найти себе нового научного руководителя. Посоветовал писать курсовую у Э.Г. Бабаева.

Новость об отъезде огорчила. Но год спустя раздался телефонный звонок: «Будьте добры Артема!» – по такому обращению члены моей семьи привыкли узнавать Андрея Александровича. Вернулся! Он пригласил меня на свой доклад в Москве перед американскими экспертами о результатах работы в Бахметевском архиве Колумбийского университета. Речь вновь шла о Марке Алданове. Особое внимание он уделил тогда теме теплых дружеских отношений Алданова и Бунина, Алданова и Набокова. Мне запомнился такой момент в выступлении Чернышева: в тяжелые времена нацизма в Европе Алданов, живший тогда во Франции под нацизмом, отказывается от приглашения читать лекции по русской литературе в Стенфордском университете США (а это была хорошая возможность эмигрировать из Европы), в пользу своего друга В.В. Набокова. Тот принимает предложение. Лишь полгода спустя, в декабре 1940 г., Алданову выпадает шанс и самому бежать от «коричневой чумы» в Америку.

Я видел: Андрей Александрович находился на подъеме, он привез из США много новых документов, которые позднее использовал в своих работах. Но в тот же вечер сказал, что планирует посвятить Алданову все свое время, и, возможно, уйдет с факультета. И тут же успокоил: речь не о будущем годе, когда мне предстояла защита диплома. Он умел просчитывать шаги.

Андрей Александрович не любил говорить о своем здоровье, но изредка до меня доходили тревожные сигналы. «Сегодня я был у врача, – сказал он спустя несколько месяцев после по-

следней нашей прогулки с собакой. – У меня был инфаркт. Но это только слово страшное. Так-то жизнь продолжается. Надо только принимать фантастическое количество лекарств до конца жизни. Их стоимость равна моей зарплате. Это значит, что на жизнь я должен как-то зарабатывать еще».

Тогда, больше 20 лет назад, он мне дал напутствия, как лучше вести себя на защите. Вспоминаю об этом, когда инструктирую своих студентов: «Накануне забудьте о дипломе, почитайте вашу любимую книгу, посмотрите веселый фильм, отвлекитесь. Оппонент сделает немало замечаний, но ваша задача – ни в чем с ним не согласиться». «Завтра – важное событие, – говорил он мне. – Вы потом это поймете. Следующее по значению, пожалуй, только свадьба». «Уместно в конце смотреть благодарности университету за годы учебы», – дополнил профессор. В этот же вечер он не без намека рассказал и другую историю. Он был как-то на защите диплома, в котором обнаружили три списанные страницы: «Была неловкая ситуация, бедному студенту еле натянули тройку». Андрей Александрович был готов к разным сценариям, и на всякий случай посчитал нужным упомянуть и о таком.

Во время защиты диплома Чернышев тепло отозвался о моей работе и рекомендовал меня в аспирантуру. Тогда была перевернута и страница наших отношений в формате «профессор-студент». Позади остались четыре года коротких бесед лично или по телефону, обсуждений новых тем или написанных текстов. Он ушел с факультета, а я поступил в аспирантуру на другую кафедру. С тех пор в «служебном» отношении нас больше никогда ничего не связывало, и я уже мог горячо и без оглядки поблагодарить его за все годы заботы обо мне, когда вновь встретил его гуляющим с Атосом, его любимой собакой колли. Но он, увидев меня, опередил:

– Пойдемте, посидим у меня? Прямо сейчас. Алка салат готовит. – И добавил: – Надо жить одним днем!

Я вежливо отказался, но мы договорились о встрече позже. (Раньше он много рассказывал о жене Алле Борисовне. Мельком я часто видел ее. Но познакомились мы лишь после моей защиты). Мы взяли за традицию иногда прогуливаться с Андреем Александровичем и его собакой по центру Москвы, обмениваться новостями, обсуждать будущую диссертацию. «А что сейчас читаете интересного?» – мог спросить он меня. Или: «В антикварном магазине на Малой Никитской видел хорошую прижизненную гравюру В.Ф. Одоевского. Посмотрите, как Вам понравится?» Его интересовало все.

Во время прогулок Чернышев никогда не ходил по одному маршруту – всякий раз выбирал что-то новое в комбинациях бесчисленных переулков. «Иначе не могу», – говорил он. Так он обычно и строил ход своих мыслей. Он ценил оригинальность и неожиданные повороты в разговоре. Однажды он предложил мне тему будущей диссертации: пресса русской эмиграции в Берлине. «Непаханое поле, – сказал он. – А книг на русском языке там одно время выходило больше, чем в России». В те дни проходила большая выставка «Москва – Берлин». Андрей Александрович долго находился под впечатлением от нее.

Иногда разговоры перемежались пугающими новостями:

– Сегодня мне провели обследование, – ошарашил он меня после одной из прогулок, – по поводу того самого заболевания, от которого в прошлом году умер Юрий Никулин. Как видите, жив, гуляю с собакой. Вскоре мне предстоит операция на сердце. – И на прощание сказал: – Звоните. Если вы захотите когда-нибудь прогуляться с Атосом, дайте знать, договоримся.

Он был частым гостем в Доме кино, где для членов Союза кинематографистов устраиваются показы новых фильмов.

– Сегодня перед немецким фильмом будет выступать посол Германии. Не хотите послушать? – однажды спросил меня по телефону Чернышев.

Посол в те времена был нередким гостем у нас на факультете, и встреча меня не слишком заинтересовала. По голосу Чернышева я понял, что такая реакция задела его. Он был чувствительным человеком. Тогда я не знал о его биографии и его деде, работавшем советским консулом в Германии после признания ею Советского Союза. Отношения новой России и Германии были для Чернышева, очевидно, важнее, чем я мог тогда представить себе.

«Темная вещь – наследственность!», – утверждал Алданов. И у Андрея Александровича она сказывалась неожиданно. Он видел отца, деда, расстрелянных в 1937 г., через год после рождения Андрея Александровича, но помнить их, конечно, не мог. Не разделял их убеждений. Почти никогда не рассказывал о них. Но оба незримо присутствовали в его жизни. Во время одного из визитов к Чернышевым я обратил внимание на колокольчик над дверью и спросил:

– Он звонит, когда у вас кто-то открывает дверь? Никогда не слышал.

– Нет, он прозвонил, когда в 1937 г. приехали за моим отцом. Сейчас я повесил его выше двери. Для меня это важно.

...Тогда, между прочим, я представить себе не мог, что господин фон Штудниц, на встречу с которым звал меня Андрей Александрович, через пару лет станет моим начальником по работе в Германо-Российском Форуме. Чернышев обрадовался моему назначению.

Случайно выяснилось, что Андрей Александрович и Алла Борисовна зарегистрировали свои отношения как раз в тот год и день, когда я родился. Стало быть, у нас двойной праздник.

Он сделал мне подарок – кляссер из коллекции марок своего отца. Альбом с марками городов Российской империи, включая, польские, которые тогда в нее входили. Сказал:

– Впервые дарю вам вещь из своего дома. Меня не будет, вспомните.

Столь неожиданный комментарий шокировал меня тогда, в 1998 г. Он довольно часто думал об уходе. Постепенно я привык к этому. Он хотел, чтобы его запомнили в хорошей форме. Свое семидесятилетие он отметил в широком кругу друзей. Сказал, что устраивает праздник в честь юбилея в последний раз. С тех пор если и собирал гостей на свои дни рождения, то лишь самых близких.

...«Посвятите одну страницу диссертации этой теме», «Подержите в руках ту книгу», «Что-то подобное витало в воздухе» – так и стоят в ушах его фразы, которые он любил произносить по разным поводам во время наших бесед.

Как-то я встретил его за чтением газет русской эмиграции в Отделе русского зарубежья Российской государственной библиотеки. «Прекрасное место для встреч», – сказал он и продолжил свою работу. На столе его ждала стопка книг.

– Откуда ты знаешь Чернышева? – спросила меня библиотекарь, когда он ушел. Я рассказал. – Он странный человек, – не без улыбки продолжала она. – Вот придет и скажет, что сейчас ему нужна такая-то книга. Ни минутки не может ждать. И так скажет, что мы идем и приносим. У нас тут много «странных», он – один из них.

«Надо быть Байроном, чтобы позволять себе эксцентричность», – говорит герой Алданова в повести «Святая Елена, маленький остров». Окружающие принимали неожиданные поступки и высказывания Андрея Александровича.

Читая его статьи о Марке Алданове, я иногда задавался вопросом: был ли известный писатель просто объектом исследо-

вания для ученого или у него теплились чувства вроде заочной дружбы или даже духовного родства с Алдановым? Однажды я спросил его об этом:

– Ну что вы, разве я пишу по роману в год? Разве есть у меня такие успехи, как у него тогда? О чем вы говорите?! – ушел он таким образом от признаний, которые, возможно, могли смутить его.

И все же меня не покидало ощущение близости характеров Алданова и Чернышева, позиций по многим вопросам. Чернышев часто вспоминал своего приятеля, считавшего, что объективный исследователь должен бы в идеале ненавидеть своего героя.

– Но мой «роман» с Алдановым пока успешно продолжается, – сказал как-то Андрей Александрович.

...Я заканчивал работу над диссертацией и накануне защиты спросил его мнение о работе. Через неделю он мне позвонил и пригласил поговорить.

– Все по «Гамбургскому счету», – предупредил он, вспоминая традицию, описанную Виктором Шкловским в прологе к книге с одноименным названием.

«Поработайте еще», – подвел итог разговору Андрей Александрович.

Он был требовательным и строгим ценителем. Говорил то, что думал. У меня поначалу вырисовывалась перспектива изысканий еще на три-четыре года. Но через пару месяцев интенсивной доработки я все же понял, что должен обратиться к своему бывшему научному руководителю с просьбой написать послесловие к моей монографии. Ситуация осложнялась тем, что издательство назначило жесткий дедлайн на сдачу окончательного текста.

Казалось, у меня были все шансы получить отказ от Чернышева. Но я решил попробовать. Андрей Александрович охотно согласился. С его стороны это было не просто проявлением

благожелательного отношения ко мне. Ради послесловия, как я потом понял, он отложил все свои дела и несколько дней писал статью для меня.

– Он сидит за печатной машинкой, работает, – сказала мне по телефону Алла Борисовна.

...Сроки сдачи книги сильно поджимали. Во время работы над послесловием он жил на даче, и ему потребовались новые материалы от меня. Я привез их. Он работал в своем кабинете, очень напоминавшем московский. Я увидел его в дачном окне и не сразу узнал. У него было довольное, даже, наверное, счастливое выражение лица. Не вспомню, чтобы видел его таким раньше.

Он любил работать, особенно он любил трудиться в дачной обстановке. Вместе с Аллой Борисовной он показал свой сад. Оказывается, Чернышев с удовольствием ухаживал за смородиной. Перерывы на садовые дела явно доставляли ему удовольствие. Он не прочь был повозиться с кошкой Багирой, которая всегда пряталась, когда гости переступали порог дома. Он любил кошек и собак. Когда-то он сказал:

– А знаете, животные лучше, чем люди.

Через десять дней, точно в срок, Андрей Александрович вручил мне текст. Кратко, емко описал эпоху Русского Берлина, ситуацию в прессе, привел интересные факты, расставил содержательные приоритеты по отношению к моей работе. Всех его замечаний я принять не мог, но для меня самого диссертация заиграла новыми красками.

А в его дачном кабинете я увидел еще один незаконченный текст на печатной машинке.

– Работаю над воспоминаниями о моем сокурснике, – пояснил он.

Он писал сразу готовый текст, лишь потом все перечитывал и вносил небольшие правки, делая вклейки на листах.

– Я привык писать набело, – сказал как-то он.

Я тогда подумал: Андрей Александрович и в лекциях, в устной речи всегда придерживается того же правила: говорит «набело», как будто давно обдумал то, что хочет сказать.

Перед отъездом в Москву мы прошли по дачной улице с Аллой Борисовной и Андреем Александровичем. Приближался автобус, надо было торопиться, но Чернышев остановился в сотне метрах от нас и долго смотрел вдаль. Пришлось полюбопытствовать: на чем же могло так сосредоточиться его внимание? Я видел только серые городские постройки.

– Наверное, любит на какую-то кошку, – предположила Алла Борисовна.

Однажды, приехав к Чернышевым в гости и паркуя машину во дворе, я уступил дорогу «скорой помощи». Поднялся к ним на этаж и увидел медицинских работников у постели Андрея Александровича.

– Ничего страшного, подождите пару минут, и будем отмечать масленицу, как планировали, – сказала Алла Борисовна.

И в самом деле: Андрей Александрович, как и обычно, подерживал беседу, а чай был вкусен, как всегда.

Превозмогая хвори, он умел сконцентрироваться и предстать в хорошей форме. Хотя бы внешне.

«Скорые» стали бывать здесь все чаще. Чернышевы старались, чтобы краски жизни по возможности не гасли.

Перед операцией в больнице сказал:

– Я предупрежден, что я сейчас зритель в театре после второго звонка. То есть третий звонок неизбежен, но до него может быть и 20 дней, и 20 лет.

Находясь в тяжелой физической форме, он умел образно формулировать мысль. Я узнавал профессора и вспоминал первое впечатление от его лекции. Но говорил он это вовсе не в трагической тональности и без актерства, а в связи с но-

вой творческой идеей. У него этих идей было много, хоть он и считал, что в позднем возрасте новые большие дела начинать не стоит. К слову сказать, Андрею Александровичу поступило предложение от одного из издательств участвовать в подготовке большого собрания сочинений Алданова. Ответственность перевесила соблазн, и на сей раз он отказался.

Операция прошла с осложнениями. Но в нужный момент он собирал волю в кулак, выглядел и рассуждал, как и всегда прежде. Мы обсуждали подготовку к новой работе Андрея Александровича – книге «Открывая новые горизонты. Споры у истоков русского кино. Жизнь и творчество Марка Алданова». Он вносил изменения, предлагал новые варианты фрагментов текста, заголовков. «Смело правьте меня, выбрасывайте ненужное», – говорил он. Кредитом доверия мне понадобилось воспользоваться лишь пару раз, и то в очевидных случаях. Он по-прежнему писал набело.

Однажды ему потребовалась срочная госпитализация, но на следующий день он попросил жену принести текст для продолжения работы уже в больнице.

В это же время по каналу «Культура» повторяли фильм о Марке Алданове «Принц, путешествующий инкогнито», где Андрей Александрович рассказывал о любопытном сюжете отношений Алданова и Бунина. Ему, Ивану Алексеевичу, почти 80 лет. «Он должен и не может в срок представить рассказ для сборника, который в Испании объединил бы под своей крышей произведения русских писателей, – говорил перед телекамерой Чернышев. – И тогда составитель сборника Александр Павлович Рогнедов, человек пожилой, но ветреный, импресарио по профессии, начинает уговаривать Бунина, чтобы он подписал чужое произведение. Бунин соглашается. Через неделю уже готовый очерк на столе у Бунина. «Исправлений не будет?» – «Нет, что вы, – отвечает Бунин. – Он так хорошо пишет, не мне

его исправлять». И подписывает очерк. Кто же был писатель, который взялся, смог написать за Бунина? Звали его Марк Александрович Алданов».

Этой истории, уже не в первый раз, Андрей Александрович также уделил место в своей будущей книге: описанный сюжет поднимал Алданова, и это было важно Чернышеву снова подчеркнуть.

Когда книга «Открывая новые горизонты» вышла в 2017 г., на нее отреагировали рецензиями несколько серьезных периодических изданий в России и США, включая «Новый журнал», созданный Марком Алдановым сразу после приезда в США. Очередной и, как выяснилось, последний творческий проект Андрея Александровича увенчался успехом.

...Только из разговоров с Аллой Борисовной я узнавал, насколько тяжелым было физическое состояние Андрея Александровича.

14 февраля, за восемь дней до кончины, он отмечал день рождения. Собралось несколько человек. Он шутил, хорошо держался. Начался семестр, в этот день мне предстояло после каникул провести занятие на факультете журналистики, и я должен был уехать раньше других.

– Счастливо, Андрей Александрович!

Он поднял руку и улыбнулся.

Таким я его запомню.

Шерзодбек КУЧКОРОВ

Рука в руке

В середине января я дежурил в 1-й Градской больнице, будучи студентом четвертого курса Первого медицинского института им. Сеченова. Вдруг слышу, приглашают на сестринский пункт. Оказывается, требуется медицинский работник в семью с тяжело больным человеком и порекомендовали меня. Здесь же находилась женщина, обратившаяся с этой просьбой. Так я познакомился с Аллой Борисовной, и она привела меня к себе домой. Тяжелобольным человеком был ее муж, Андрей Александрович Чернышев. У него в течение многих лет накапливались болезни, в основном, сердечно-сосудистые, сейчас он переживал очень острый период, без профессионального медицинского ухода обойтись уже было невозможно.

С первого дня знакомства я понимал, что передо мной хорошо образованный, интеллигентный человек, обладающий глубокими знаниями филологии и истории. Чуть позже понял, что он посвятил основную часть своей жизни изучению творчества Марка Алданова. Это очень расположило меня к нему. Дело в том, что в моей узбекской семье много учителей, преподавателей русской литературы. Когда приезжаю к родителям, собираются родные, мы часто обсуждаем литературные новинки и проблемы. Это и наша интеллектуальная атмосфера. Сам я узнал об Алданове через химию. Он был крупный химик, а я его

интересовался, много читал об этом. И при поступлении в медицинский вуз столкнулся с темой «Алданов и химия». В семье уже давно знали Алданова, следили за публикациями его произведений, которыми, оказывается, занимался Андрей Александрович. И я подключился к Алданову-романисту. С интересом, помню, узнавал о давних перипетиях с неоднократным представлением писателя-эмигранта к Нобелевской премии, инициатором чего выступал его давний и искренний друг, знаток и ценитель его творчества Иван Алексеевич Бунин.

Мои дежурства у Чернышева приходились на ночные часы. Андрея Александровича часто мучила бессонница, беспокоили боли, но ему при этом удавалось что-то мне рассказывать, в том числе и об Алданове. Он нуждался не только в медицинском помощнике, но и в собеседнике. По-видимому, это отвлекало его.

Чаще, чем о литературе, он говорил о былых годах своей жизни, вспоминал родителей, особенно нежно и много – маму, сыгравшую, по его мнению, главную роль в его жизни.

Меня, уже накопившего опыт общения с тяжело больными и нередко сложными в поведении людьми, приятно удивило его очень тактичное обращение со мной. Я отнес это за счет интеллигентности и доброй сущности Андрея Александровича вообще. Если в нем это было, то исчезнуть не могло. Общение с ним раскрепощало, я не чувствовал себя скованно. Когда он переставал говорить, я, надеясь, что он уснет, отходил в другую часть комнаты. Но у Андрея Александровича со сном чаще всего не получалось, и он подзывал меня и просил что-нибудь рассказать. Я с удовольствием окунался в мир родных южных мест, говорил о себе, товарищах. Перед одним из дежурств у Чернышева мой близкий друг поделился со мной неприятностями в отношениях со своей девушкой. По свежим впечатлениям рассказал об этом Андрею Александровичу. Я никак не думал, что Чернышев заинтересуется деталями этой совсем далекой от

него и в общем-то обыкновенной истории. Не просто заинтересовался, а проявил участие: попросил меня посоветовать другу написать ей письмо, выразил готовность помочь в подготовке послания, которое должно быть очень искренним, тонким и изящным. Не сомневаюсь, что письмо после его правки выглядело бы впечатляюще и, возможно, помогло бы. Но продолжения разговор не имел. Для меня же важна была его душевная, сердечная отзывчивость на чье-то страдание. Это в его-то положении!

Чуть больше месяца отведено было мне на общение с этим замечательным, глубоким и ярким человеком. На меня произвели сильное впечатление трогательные отношения Андрея Александровича с Аллой Борисовной, самым близким и любимым для него человеком – это было заметно по всем признакам. Он вспоминал о знакомстве с ней в давние, пятидесятые, годы в автобусе, причем рассказывал об этом эпизоде с такой доброй и редкой у него улыбкой, что, казалось, в полуосвещенную комнату проникали лучи радости. Алла Борисовна подарила Андрею Александровичу многие десятилетия счастливой жизни, создала все условия для успешного научного творчества. Они очень любили друг друга.

...Андрей Александрович умер, когда Алла Борисовна сидела рядом с ним и он держал ее руку в своей.

Алла АЗАРОВА (ЧЕРНЫШЕВА)

Мой муж, мой друг, моя гордость

Хорошо помню 4 февраля 1957 г. В этот день мы с Андрюшей познакомились.

Не поступив в первый год после школы в университет, я устроилась, благодаря маме, в престижный Отдел рукописей Библиотеки имени Ленина, и ехала к нашей заболевшей заведующей Сарре Владимировне Житомирской домой с версткой очередного выпуска «Записок» отдела: она хотела эту верстку проверить. Я ехала на третьем автобусе до Басманной, где жила Житомирская. Был мороз, и я, чтобы не проскочить свою остановку (они тогда не объявлялись), подула на стекло и написала свое имя. Рядом стоял хорошо одетый молодой человек. В этот момент освободилось место, он сел рядом со мной и сказал: «Судя по тому, что вы написали, вас зовут Аллочкой?» Разговор, не успев завязаться, тут же и закончился. Мне еще нужно было ехать, а мой сосед уже выходил. Я успела, правда, по его просьбе, дать ему номер телефона.

Сарра Владимировна поправила верстку, и я вернулась в Пашков дом, где размещался наш отдел, а часам к шести, когда завершалось время работы, позвонил Андрей и попросил о свидании. С тех пор мы стали встречаться, правда, не регулярно. Как раз в тот момент Володя Бонч-Бруевич¹ передавал в Отдел

¹ Бонч-Бруевич Владимир Владимирович (1937–2018) – известный московский журналист, Заслуженный работник культуры РФ. – Ред.

рукописей архив Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Архив был огромный, передача бумаг продолжалась долго, грамотную помощь сосредоточенного Володи в этом деле невозможно переоценить, и в тот период мы с ним часто общались. Тогда я еще не знала, что Андрей и Володя, оба очень красивые молодые ребята, – друзья, это случайно выяснилось на просмотре какого-то фильма, где все мы оказались одновременно. Потом у Володи появилась Лена. Так вместе, вчетвером, мы с Андреем и Володя с Леной, прошли по жизни. Володя неожиданно ушел первый – в августе 2018 г., через несколько месяцев после него, в феврале 2019 г., – Андрей. Остались мы с Леной...

У нас с Андрюшей были общие интересы: театр, кино, выставки. Все тогда было доступно, мы старались везде успеть. Времени у него, конечно, было мало: он учился на пятом курсе журфака МГУ им. Ломоносова, близилась работа над дипломом, госэкзамены, но все же он однажды пригласил меня домой в гости.

Так я впервые оказалась в старом доме на Петровке, в маленькой трехкомнатной квартирке. Одна, самая крохотная, комнатка, в которой висели на стене два постера работ Модильяни, принадлежала Андрею, другая выводила к алькову, где мама Андрюши Нина Георгиевна (настоящее ее имя было Анна, но она предпочитала, чтобы ее называли Ниной) обустроила очень уютную столовую, и там собирались гости. У них была домработница, потому что Нина Георгиевна, будучи переводчицей, работала на дому и старалась не отвлекаться. Тогда же я познакомилась и с ее мужем, профессором Александром Николаевичем Чернышевым.

В квартире висел портрет изумительно красивой молодой девушки. Я долго разглядывала его, не могла оторваться. И только впоследствии узнала, что это изображение прабабушки Александра Николаевича.

Вся семья Чернышевых производила очень приятное впечатление, однако главным человеком, как я узнала, здесь была удивительная бабушка Андрея – Лидия Александровна, маленькая, хрупкая женщина с сильным характером. На нее легли все тяготы, начиная с 1937 г., когда на семью обрушились невообразимые, страшные беды: забрали и расстреляли ее брата – Ивана Александровича Троицкого, зятя – отца Андрея (самому Андрюше тогда исполнился год с небольшим), Казимира Добраницкого, а еще через несколько месяцев постучали ночью и арестовали жену Казимира – Нину Георгиевну, дочь Лидии Александровны, мать Андрея. Вспомнила, как рассказывал Андрей трагикомичную историю – об обещании своего отца матери, то есть Казимира – Нине, перед их свадьбой. Смысл обещания был в том, что он десяток-то благополучных лет, как минимум, ей гарантирует, поскольку революция и гражданская война позади, впереди – ничего тревожного не предвидится. Свадьба состоялась за два года до зловещих расправ с этими людьми в 1937 г.

На несколько лет раньше сослали на Соловки мужа Лидии Александровны, отца Нины Георгиевны и деда Андрюши – Георгия Александровича Ронжина, там он и погиб. Очень талантливый и тонкий был в художественном отношении человек. Сохранился портрет его юной жены, Лиды, написанный масляными красками Георгием Александровичем. Прекрасная работа! Она тоже, как и портрет прабабушки Александра Николаевича, воспроизводится в книге. Это единственное, что осталось от деда Андрюши по материнской линии. К сожалению, фотографией с изображением его самого мы не располагаем.

Так что Лидия Александровна хлебнула настоящего горя сверх всякой меры. Хотя какая может быть мера у такого горя!?

Нина Георгиевна отбыла свой срок в Карагандинском лагере НКВД от звонка до звонка, вернулась домой больная цингой, со следами только что перенесенной малярии.

О родителях Казимира, то есть деде и бабушке Андриюши, подробно рассказывается в очерке «Тринадцатый директор» (он печатается в этой книге в качестве приложения). Там приведены очень интересные факты их жизни и чудовищного финала. Деда Андрея, Мечислава Михайловича, его первую жену Елену Карловну (бабушку) и Сусанну Вантцлебен (вторую жену) обвинили в участии «в фашистско-троцкистской, шпионско-диверсионной и террористической организации, существовавшей среди германских политэмигрантов и шуцбундовцев в Ленинграде», и в конце того же 1937 г. расстреляли. Были репрессированы и расстреляны и несколько других близких родственников Андрея по линиям отца и матери. Легче перечислить тех, кого в этой семье не затронул кошмарный сталинский молох уничтожения.

Мечислав Михайлович Добраницкий, поляк по национальности, был известным революционером, деятелем культуры, дипломатом, генеральным консулом СССР в Гамбурге, директором крупнейшей в стране Публичной библиотеки в Ленинграде¹. Широко образованный человек, он свободно владел польским, немецким, английским и французским языками, поддерживал дружеские связи со многими видными политиками, деятелями науки и культуры – К.И. Чуковским, академиками Н.И. Вавиловым, И.А. Орбели и другими.

Не могу не рассказать об одном показательном эпизоде из жизни М. Добраницкого периода его консульства в Гамбурге. О нем он сам написал в записке, которая хранится в архиве. 5 мая 1927 г. консульский корпус организовал официальный представительный прием гамбургскому сенату. После ужина к Мечиславу Михайловичу обратился генеральный консул Венесуэлы Рафаэль Паредес Урданета. Он выразил сожаление, что СССР и его

¹ С апреля 1932 г. – Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Ред.

страна не имеют друг у друга дипломатических представителей, между ними нет никакой экономической связи. «Он заявил, – писал М. Добраницкий, – что хочет предложить президенту Республики Венесуэла в частном порядке свои услуги для начала переговоров по вопросу об установлении связи и о взаимном признании. Он считает это очень своевременным. Ведь некоторые южноамериканские государства уже завязали отношения с Советским Союзом, и нет резона, чтобы Венесуэла не пошла по этому же пути.

Я осторожно спросил его, почему именно он, а не посланник Республики в Берлине берет на себя инициативу в этом деле. Он ответил, что президент Республики его близкий друг и что это дает ему надежду на успешное и более быстрое рассмотрение вопроса.

В заключение он просил меня сообщить о своем намерении Советскому правительству «пока в частном порядке» и запросить, относится ли Советское правительство благожелательно к вопросу о сближении с Венесуэлой»¹.

Этот эпизод, один из многих, показывает, какими способами и путями, нередко окольными, с использованием личных контактов и встреч, советские дипломаты незаметно, «без шума и пыли» расширяли взаимодействие с представителями других стран, наводили мосты для установления торговых и дипломатических отношений с зарубежными государствами в тот период после нашей революции, когда Советский Союз только еще начинал выходить из изоляции и испытывал большую потребность в развитии международного сотрудничества. Одним из участников этого сложного процесса был Мечислав Михайлович.

Годы его работы в Публичной библиотеке специалисты считают переломными для нее: она была приближена к запросам реальной действительности, развивалось широкое обслуживание массовых библиотек, НИИ и предприятий, укреплялись

¹ Дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой были установлены в 1945 г. – Ред.

международные связи. Но М.М. Добраницкий был патриотом и не сторонником безоглядных и непродуманных действий с советской стороны. Помню передачу по каналу «Культура», где рассказывалось, как Мечислав Михайлович вместе со своими сотрудниками спасал редчайший рукописный памятник Синайского кодекса IV века. В 1931 г. библиотеку посетил известный лондонский букинист, «положивший глаз» на раритет. Мечислав Михайлович приказал спрятать кодекс в особой кладовой, чтобы не допустить продажи книги Британскому музею, а в то время шла широкая распродажа библиотечных фондов. Старые сотрудники библиотеки, в частности Фаина Давыдовна Бортновская, чтобы книга уцелела, действовали изошренно, успешно, но с большим риском для себя. Этот риск в полной мере, как видим, разделял и Мечислав Михайлович.

Он успел до своего ареста и гибели приехать в Москву и посмотреть на малыша-внука. Андрей впоследствии написал о деде короткую заметку (она опубликована: Ленинградский мартиролог, 1937–1938: Книга памяти жертв политических репрессий. – СПб, 1998. Т. 3.), которую закончил словами: *«Из знакомства со следственным делом Мечислава Михайловича я вынес впечатление, что он был смелым и порядочным человеком, и я горжусь его поведением на допросах. Фотографий его в семье не уцелело, писем тоже».* Зато сохранилась, между прочим, дневниковая запись Корнея Ивановича Чуковского от 29 сентября 1924 г. о том, как он выглядел: *«Был у меня Мечислав Добраницкий. Он едет консулом в Гамбург. Он лыс, а лицо у него молодое. Мура, ложась спать, сказала: одного не понять: старенький он или молоденький».* Мечиславу Михайловичу было тогда 42 года. Впоследствии нашлась и его фотография, которую мы в этой книге воспроизводим.

Удивительным человеком была первая жена Мечислава Михайловича – Елена (настоящее имя тоже, как и у Нины Георгиев-

ны, – Анна) Карловна Добраницкая, как я уже сказала, родная бабушка Андрея, немка по национальности. Активистка Социал-демократической партии Королевства польского и Литвы, она в 1904 г. вышла замуж за такого же, как и она, активиста этой партии Мечислава Михайловича, и в 1905 г. у них родился сын Казимир. Однако беспокойная и насыщенная событиями жизнь, в том числе политическая деятельность, продолжалась: были и ее арест за активное участие в революции 1905–1907 гг., и эмиграция четы Добраницких в Германию, и переезд в Париж, а после революции 1917 г. – в Петроград, где Елена Карловна преподавала немецкий язык, потом семья несколько лет провела в Гамбурге. В 1930 г. Добраницкие развелись, Мечислав Михайлович уехал в Ленинград, а Елена Карловна с сыном осталась в Москве.

Современники отзывались о ней как о хорошо образованной женщине, отличавшейся неотразимым обаянием и гостеприимством. Она проводила литературные вечера с участием Бориса Лавренева, Корнея Чуковского, дружила с художником Евгением Лансере, танцором Асафом Мессерером. Вплоть до ареста и гибели Елена Карловна работала заведующей кафедрой немецкого языка Высшей школы профдвижения¹. В жернова репрессий попал и брат Елены Карловны – Артур, который тоже был расстрелян, а его дочь покончила с собой после ареста родителей.

Благодаря отцу и матери Казимир с малых лет вращался в кругу элитарной молодежи, художественной и писательской интеллигенции. В том же опубликованном дневнике К.И. Чуковского, который я цитировала, в записи от 30 апреля 1917 г. читаю: *«Сейчас к Ретину ходили по воду: я, Боба, Коля, Лида, Маня и Казик (так близкие люди звали Казимира, которому на тот мо-*

¹ В 1990 г. постановлением Совета министров СССР ВШПА преобразована в Академию труда и социальных отношений (АТиСО).

мент было 12 лет. – Ред.) Мы взяли пустое ведро, надели на длинную палку и запели сочиненную детьми песню...»

Еще в середине 1920-х гг. он совершил путешествие на пароходе «Вацлав Воровский» и после этого выпустил книгу «В Америку и обратно». Весьма примечательное событие. Разумеется, это была пропагандистская акция. Пароход отправлялся в свой многомесячный путь из Килля, немецкого портового города, расположенного вблизи Гамбурга, где как раз в том, 1925-м, был Генеральным консулом СССР отец Казимира. Нигде я не обнаружила связи между этой крупной «пароходной» акцией и деятельностью Добраницкого-старшего, но, уверена, что она была: Мечислав Михайлович в Германии представлял страну, которая желала заявлять о себе, хотела установления связей с другими государствами, стремилась к тесным контактам с иностранцами, чтобы создавать положительный имидж Советского Союза. Консул, скорее всего, не мог стоять в стороне от этой большой пропагандистской работы, в которую, не исключая, потихоньку, в интересах СССР, втягивал и молодого Казимира.

В предисловии к книге Казимир Мечиславович не случайно писал: «“Воровский” – обычный грузовой пароход и шел в Америку с коммерческими целями. Но, помимо коммерческого, его рейс имел большое политическое значение, потому что ни одно правительство, ни один народ не смотрели на него как на обычный грузовой пароход. Как для друзей, так и для врагов “Вацлав Воровский” был посланцем Советской России и этим объяснялись все, как дружественные, так и враждебные, демонстрации по отношению к нему. Я был одним из пятидесяти, совершивших на “Воровском” это путешествие. И за время его я видел так много интересного, нового, необычного, что я считал моей обязанностью записать виденное и поделиться им с теми, кто не в состоянии позволить себе такого путешествия».

Путевые заметки Добраницкого мне показались интересными не только потому, что выявляли пропагандистские задачи и потенциал молодого советского литератора: в них он, кроме того, выразил свой действительно неподдельный интерес к особенностям жизни людей в США, Бразилии, Уругвае, на Кубе, островах Тринидад и Барбадос, обычаям местного населения, довольно умело и как-то страстно, захватывающе, увлеченно рассказал об этом, что, возможно, и не входило в намерения посылавших Казимира Мечиславовича в путешествие. Сам же автор, двадцатилетний молодой человек, подкупает искренностью интонации и открытой позицией.

Очень удивилась и обрадовалась, когда узнала, что книгу, вышедшую в 1926 г., можно через интернет прочитать и сегодня. Больше того, и сегодня встречаются отклики на нее, причем интересные, своеобразные. С удовольствием, например, прочитала отзыв, идущий от Карины Аксеновой: «Во многом книга напомнила мне путевые заметки Марка Твена. С таким же патриотизмом и апломбом, про американцев хорошо подмечено, плыли на пароходе, да и писал журналист.

Во-первых, писал совсем молодой мальчик. Когда его в 1937-м казнили, «Казик» было 32 года. А в 1925 он вообще юнец! Это, разумеется, сказывается. Есть некая наивная прелесть. Что жаль, больше у автора ничего не найдешь. Да, он писал в журналах и газетах, но эта книга остается его единственной изданной. Необычно и свежо – посещали не известные, большие города, а маленькие. Заходили в Бразилию, на острова. Подход к описанию очень оригинальный, так что как путевые заметки книга бесценна.

С учетом того, что про Казимира Добраницкого я узнала потому, что он был арестован в соседнем доме и вскоре расстрелян, зная точно его трагическую судьбу, читать и тяжело, и трепетно: какой юный, какой восторженный и целеустремленный, какая чистая душа! Читать обязательно, потому что это страницы

истории сколь радостной, столь и печальной, и не дай Бог нам повторить ошибки прадедов».

Согласитесь, чудесный, от сердца идущий отклик. И какое личное чувство тесной связи с давно минувшим временем!

Казимир Добраницкий, филолог по образованию, библиофил, одно время работавший заведующим культотделом в издательстве «Рабочая Москва», а перед арестом – заместителем главного редактора издательства Академии архитектуры, был близок литературному окружению Волошина, знаком с Булгаковыми, Ахматовой и т.д. Его судьба, его роль в довоенной литературной жизни сегодня живо изучаются и обсуждаются. Большие и важные изыскания, в частности, выполнила Мариэтта Омаровна Чудакова. К слову сказать, мы вместе с ней одно время работали в Отделе рукописей Библиотеки имени Ленина и совсем не знали друг о друге, что она – собирая материалы о Булгакове, основательно попутно займется и Казимиром Добраницким, а я – жена сына Казимира, т.е. невестка этого человека. Несколько любопытных страниц написано о Казимире Мечиславовиче в книге Алексея Варламова «Михаил Булгаков» в молодогвардейской серии «ЖЗЛ».

Особый интерес к Казимиру проявился, как я понимаю, в связи с его отношениями с НКВД. Я специально этими вопросами не занималась, всецело доверяю специалистам. Скажу только, что, как мне кажется, точку в этой дискуссии ставить рано. Кем был Казимир, какие он отстаивал интересы, в чью пользу, в какие игры был втянут или нет и т.д., до конца не ясно. Высказываются предположения, догадки, приводятся мнения, ссылки на чьи-то разговоры, причем как в пользу Добраницкого, так и против него, но фактов я не обнаружила.

Прежде чем вместе с вами прочитать для примера пару страничек из упомянутой книги Алексея Варламова «Михаил Булгаков», расскажу об одной встрече. Когда наконец-то в 1966

г. вышел полноценный толстый том основной прозы М.А. Булгакова, правда, без «Мастера и Маргариты», с предисловием Владимира Лакшина, к Елене Сергеевне Булгаковой заглянули ее давние знакомые – Лидия Александровна и Андрей, бабушка и внук. Лидия Александровна частенько «чаевничала» у Елены Сергеевны. Их добрые отношения никогда не прерывались. Вдова Михаила Афанасьевича на той встрече подарила моему мужу книгу с надписью: «Моему дорогому Андрюше – с детства ему близкая Елена Булгакова. 4.01.67.» Запомним эту надпись.

Однако до детства Андрюши, действительно, был период отношений четы Булгаковых с его отцом – Казимиром Мечиславовичем. О них – вот эти самые странички из книги «Михаил Булгаков» А. Варламова, которые я обещала процитировать. К теме автор прикасается осторожно, с привлечением дневниковых записей самой Елены Сергеевны: «Этому молодому человеку (К. Добраницкому. – Ред.) (ему было в момент знакомства с Булгаковыми 31 год) в дневнике Елены Сергеевны за 1937 год отведено особое место. Чем бы ни были его визиты в булгаковский дом – в чистом ли виде заданием по линии НКВД, либо собственным любопытством и интересом, или же и тем и другим одновременно, Елена Сергеевна с ее неустанным стремлением устроить литературные и театральные дела супруга, для чего она обращалась к самым разным людям, не скрывая от них его настроения (...), увидела в Казике еще одного друга дома, еще одну, которую по счету, попытку прорвать блокаду, и... еще одну несбывшуюся надежду.

14 мая. Вечером – Добраницкий. М.А-чу (М.А. Булгакову. – Ред.) нездоровилось, разговаривал, лежа в постели. Тема Добраницкого – мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие, как Киришон, Афиногенов, Литовский... Но теперь мы их выкорчевываем. Надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт. Ведь у нас с вами (то

есть у партии и у драматурга Булгакова) оказались общие враги и, кроме того, есть и общая тема – «Родина» – и далее все так же.

М.А. говорит, что он умен, сметлив, а разговор его, по мнению М.А., более толковая, чем раньше, попытка добиться того, чтобы он написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу.

Лицо, которое стоит за ним, он не назвал, а М.А. и не добивался узнать.

Сюжет этот интересен, прежде всего, новым поворотом темы. Трудно сказать определенно, не было ли со стороны Добраницкого упоминание «значительного лица» блефом (особенно если учесть, что его отец переживал в эту пору большие неприятности: исключен из партии и уволен из библиотеки), и еще неизвестно, кто кому должен был помочь – Добраницкий Булгакову или Булгаков Добраницкому, с учетом того, что под последним уже горела земля и его стремление привлечь драматурга к выполнению социального заказа было отчаянной попыткой пригодиться начальству и доказать свою необходимость, но слово оборонная – вот ключ ко всему».

Это рассуждения, догадки, но не факты. Сын яркого революционера, благородного интеллигента Мечислава Добраницкого, Казимир, хочется верить, был достоин его. История, как говорится, все расставит по своим местам. И не забудем, как хорошо, тепло в течение нескольких десятилетий относилась Елена Сергеевна Булгакова (как, кстати, и жена Волошина – Мария Степановна) к семье Чернышевых: к Лидии Александровне, Андрюше и, хорошо помню, – Нине Георгиевне.

Хочется выразить искреннюю благодарность активистам международного общественного проекта (или движения, как стали говорить в последнее время) «Последний адрес», которые установили в Москве, на стене дома № 8 по Русаковской улице (со стороны Леснорядской улицы) памятные знаки матери и сыну, Елене Карловне и Казимиру Мечиславовичу Добраниц-

ким, то есть бабушке и отцу Андрея Александровича Чернышева. Надеемся, что будет увековечена память и всех других жертв политических репрессий и государственного произвола, в том числе из семьи Чернышева-Добраницкого¹.

Рассказ о моей первой встрече с семьей Андрюши вон как разросся из-за трагической истории его семьи, где почти всех расстреляли. Обвинения, разумеется, были бредом, погибшие и пострадавшие через полвека реабилитированы², но как было реально, изо дня в день, жить тогда «недобитой» семье? Лидия Александровна совершила чудо: с маленьким Андрюшей она выдержала в Москве все напряжение довоенных и голодных военных лет³. Правда, время от времени помогал Константин Михайлович Симонов. Он был дальним родственником и при возможности передавал продуктовые карточки со словами: «Это Лидочке и Андрюше». Семья Симоновых вообще очень участливо, тепло, с нежностью относилась к Лидии Александровне и Андрюше. У нас сохранились и фотоснимки с портретами

¹ На сайте «Последнего адреса» (<https://www.poslednyadres.ru/news/news464.htm>) была размещена информация о памятной табличке о М.М. Добраницком, установленной на доме по адресу: Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская, 1, там, где жил Мечислав Михайлович до ареста в 1937 г. В начале октября 2019 г. наш представитель побывал у этого дома, но упомянутого памятного знака не обнаружил. Больше того, сотрудники организации, размещенной в этом помещении, сказали, что такой таблички здесь никогда не было. Мы обратились в «Последний адрес» за разъяснениями. Евгения Кулакова из «Последнего адреса» в Петербурге сообщила следующее: «К сожалению, библиотека, сперва выдав нам разрешение на установку, через какое-то время передумала. Таблички пропали, и пока договориться снова у нас не получилось. То есть таблички были установлены, конечно, как и обещано в анонсе, но на здании их сейчас нет». Хочется надеяться, что это временное недоразумение.

PS. 16 октября 2019 г. Евгения Кулакова прислала дополнение: «Коллеги сообщают, что в переговорах с РНБ были подвижки, так что может быть удастся к зиме восстановить таблички на доме». – *Ред.-сост.*

² У меня сохранилась справка Главной военной прокуратуры от 23 декабря 1994 г. (№ 511-6141-37) за подписью старшего военного прокурора отдела реабилитации Н.В. Кулиша о признании Чернышева Андрея Александровича пострадавшим от политических репрессий. В этой справке, кроме того, указано, что родители А.А. Чернышева реабилитированы: Казимир Мечиславович Добраницкий – 9 декабря 1991 г.; Анна (Нина) Георгиевна Добраницкая – 29 декабря 1957 г. В другой справке Главной военной прокуратуры от 27 августа 2001 г. (№ 71а-6141-37) за подписью заместителя начальника Управления реабилитации жертв политических репрессий А.П. Копалина приводится более развернутое определение в отношении Андрея: он признан пострадавшим от политических репрессий «как оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения отца, необоснованно репрессированного по политическим мотивам». У меня сохранились также документы о посмертной реабилитации Мечислава Михайловича Добраницкого, Елены Карловны Добраницкой, Ивана Александровича Троицкого. – *Авт.*

³ В опубликованных в интернете материалах «Последнего адреса» ошибочно говорится, что после ареста отца и матери Андрюша был определен в спецприемник. До этого, к счастью, не дошло. – *Авт.*

самого К.М. Симонова и надписями на обороте: «Дорогому Андрюше от дяди Кирилла (настоящее имя К.М. Симонова. – *Ред.-сост.*)», «Милому Андрюше. 22.01.1949. К. Симонов», и фотография, на котором изображены мать и сын Симоновы с надписью Нине Георгиевне, сделанной рукой Александры Леонидовны Оболенской: «Моей дорогой Нинуле на добрую память от матери и сына. 8.10.70.» Мама Симонова, княжна, была обаятельной и щедрой женщиной, сохранившей трогательные отношения с Ниной Георгиевной вплоть до своей кончины.

Семейное предание сохранило попытку Константина Михайловича, имевшего, понятно, доступ в высшие сферы власти, смягчить лагерную участь Нины Георгиевны. Он вообще, судя, например, по его книге «Глазами человека моего поколения», охотно в таких случаях помогал, если это было возможно, и, разумеется, не только матери Андрея. В книге он приводит ряд свидетельств своего заступничества. Симонов просил Берию о возвращении Нины Георгиевны в Москву, тот якобы обещал это выполнить после войны, и она действительно вернулась, отбыв, правда, полный срок. У кого-то может возникнуть вопрос: если Константин Михайлович помог, то в чем? Думаю, в том, что она все-таки вернулась, многие так и не смогли выбраться из лагерей. Отец Нины Георгиевны, например, Георгий Александрович Ронжин, сосланный на Соловки еще в конце 1920-х, как я уже писала, так там и погиб. И таких безвинных жертв, не дождавшихся освобождения, как известно, великое множество.

Лидия Александровна жила во фронтовой Москве и поднимала Андрюшу не одна, а вместе с Татьяной Александровной Ивановой, женой своего брата. Иван Александрович Троицкий, брат Лидии Александровны, проходил по делу Тухачевского и тоже был репрессирован, расстрелян в 1939 г., через полвека реабилитирован. Весь жизненный путь этого незаурядного

человека был связан с армейской жизнью: военное училище, академия, полковая жизнь, служба в генеральном штабе, звание полковника, присвоенное ему накануне революции. Но уже в 1918 г. он вступил в Красную армию, заведовал первыми Рязанскими советскими пехотными курсами, был начальником штаба Тамбовской армии... Я всегда с нежностью и симпатией думаю об Иване Александровиче прежде всего потому, что когда родителей Андрюши репрессировали, он вместе с Татьяной Александровной хотел усыновить своего внучатого племянника, однако осуществить доброе и искреннее намерение помешали арест и гибель.

Татьяна Александровна, сначала вместе с Иваном Александровичем, а потом, после его расстрела, жила одна в этом же доме на Петровке, 20, в одной из комнат коммунальной квартиры на третьем этаже. Чтобы как-то просуществовать в этот жуткий период войны, она работала книгоношей, хотя по сути к книгам имела несколько иное отношение, была причастна к ним с «другой стороны»: она была литературоведом, специалистом по Лермонтову, писала о нем. Даже и сейчас, как мне рассказывают, ее давние книги о Москве в жизни и творчестве поэта, о Лермонтове на Кавказе и некоторые другие можно приобрести через интернет. Это значит, ее помнят, читают, она продолжает интересовать не только специалистов.

Татьяна Александровна была фактически после Лидии Александровны «второй бабушкой» Андрюши. Вместе его растили и воспитывали. В их интеллектуальном окружении, в домашней обстановке, мальчик получил замечательную подготовку к школьной и всей будущей жизни. Татьяне Александровне Андрей, выпуская свою последнюю книгу «Открывая новые горизонты», предпослал посвящение к тому разделу, который называется «Рядом с чудесным кинемо...» – знак благодарной памяти к своей второй бабушке и другу.

Просматриваю бумаги, оставшиеся от Андрея, ранние, еще военного времени детские тетрадки. Некоторые надписаны печатными буквами: «Альманах № 1», «Альманах № 2»... Или на стареньких обложках красуются другие названия типа: «Еженедельный журнал № 1 «Отдых»». Его выпускало так называемое «издательство молодых друзей». Сохранилось около десятка выпусков этого «Отдыха». От первой до последней строки все 5–7 тетрадных страничек Андрюша выводил сам печатными буквами. Мне интересно его детское подражание «взрослым» изданиям («подписано к печати 26 мая», «выход в свет 1 июня», «Опечатки» – «напечатано Эдиссон, должно быть Эдисон», «Ввиду экономии бумаги объем журнала с 7-ми типографских листов снижен до 5-ти. Поэтому цена номера снижена на 6 р.», «Вниманию подписчиков журнала «Альманах» на 1946 год! К этому внеочередному номеру «Альманаха» приложена справка о подписке на 1946 год. При получении номера необходимо ее предъявлять» и т.д.

Совсем «по-настоящему» выглядят разделы журнала, указанные в содержании: «Из мотивов Востока», «У истоков науки», «Наука и техника», «Великие люди», «Голоса мудрости», «Копилка курьезов», «Юмор» и др. И действительно, под каждой рубрикой даны какие-то небольшие зарисовки. Где-то Андрюша доставал заметки об изобретении бумаги китайцами, об испытании в пустыне Нью-Мексико первой в мире атомной бомбы, грузинские пословицы («Когда арба опрокидывается, дорога бывает видна»), о змеиной фабрике во Флориде, смешные диалоги («Почему же вы не кричали, когда он снимал с вас часы? – Да я боялся открыть рот, там у меня золотых зубов рублей на сто»).

Интересным мне показалось то, что все выпуски этих самодельных журнальчиков насыщены отрывками из русской классики: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Некрасов, Тютчев, Апух-

тин. Сколько этих и других прекрасных имен! И всю эту работу в единственном экземпляре увлеченно выполнял восьми-одиннадцатилетний мальчик. Конечно, сказывалось сверхнасыщенное содержание литературных флюидов в семейной атмосфере. Андрюша рос и поднимался в чистом виде на питательном растворе русской классики.

Особенно занятно читать стихи самого Андрюши. Он их писал много, в каждом выпуске они красуются на равных и вперемешку с нашими гениями. Ну вот, например, идут тексты Некрасова, Лермонтова, а потом, перед Апухтиным, вдруг: Андрей Ронжин (напомню: это девичья фамилия мамы). «Песня», указана и дата написания: 8 октября 1944 г., Андрюше 8 лет. Конечно, смешно, наивно и кого-то напоминает, но как интересно!

*О чем мне спеть в затишья час?
Все песни уж давно пропеты.
А за окном уж в сотый раз
Льет дождь... Другое дело лето...
Спою я в этот тихий час
О том, как Муза мне шептала
Про страны, полные чудес.
Довольно спел я или мало
О том, как в этой стороне
Вдруг Муза вспомнила обо мне.
Минута радости настала...
Довольно спел я или мало?*

В самом конце войны Андрея, как он любил вспоминать и рассказывать об этом не только мне, но и в узком кругу другим близким людям, его крестили, причем обряд выполнил не кто-нибудь, а сам митрополит Введенский, тот самый знаме-

нитый религиозный деятель, который еще в 1925 г. проводил с А.В. Луначарским известный философский диспут «Христианство или коммунизм» в театре Зимина (нынешний театр оперетты). Году в 1944-м или следующем бабушка Андрея Лидия Александровна, будучи женщиной, весьма религиозной, ходила в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках (возле метро «Новослободская») святить пасху. Службу вел Введенский. Когда он увидел яркие, раскрашенные, с какими-то рисунками яйца в руках у очередной прихожанки, то, видимо, заинтересовавшись ими, поднял глаза на женщину. Семейное предание хранит и эту страничку прошлого семьи Андрея и его бабушки: Александр Иванович и Лидия Александровна познакомились и до конца его уже недолгой после этой встречи жизни были в близких отношениях. Он и крестил Андрея. А что касается ярко раскрашенных яиц, то Лидия Александровна была великая мастерица по этой части, настоящая художница, и во время войны придавала, скорее всего, для продажи на рынке, «художественный вид» многим мелким предметам быта, игрушкам, в частности, любила искусно преобразить в красках стойких оловянных солдатиков, которых вынужденно производила во множестве.

Лидия Александровна с Татьяной Александровной стали готовить дома Андрея к школе. Подготовка была прекрасная, и Андрея сразу приняли в 3-й класс. В архиве Андрея я нашла небольшой автобиографический отрывок об этом эпизоде его жизни:

«Срок идти в первый класс мне пришел в самый разгар войны, в сентябре 1943 г., но бабушка, не спешившая ребенка отправлять в школу, обратилась в РОНО с заявлением: сама берется учить меня дома по всем предметам, а в школу мальчик пойдет, когда наши славные войска возьмут Берлин. Ей разрешили. Год как-то незаметно обернулся двумя годами, но в августе 1945 г. в коммуналь-

ную квартиру на Петровских линиях нагрянула комиссия РОНО и потребовала, чтобы ребенок срочно явился сдавать экзамены экстерном. Я должен был показать в школе на экзамене свое умение читать и писать, знать правила арифметики, прочитать стихотворение:

*Железным ломом горы зла
Тобой разрушены дотла...*

Экзамен (его принимали учительница и директриса) прошел без сучка, без задоринки, в заключение явился контуженный физрук во френче и предложил мне высоко, как я только могу, прыгнуть. Потом он подошел к бабушке и сказал:

– Мы его зачисляем сразу в третий класс, и, надеемся, он будет хорошо учиться. Только будьте любезны, мадам, перед первым сентября отправьте мальчика в парикмахерскую. В школе все ходят стриженными.

Бабушка невозмутимо отпарировала:

– Мой ребенок поэт, он не такой, как все. У него должен быть на голове поэтический беспорядок. Через мой труп!

И увела меня от греха подальше. А вечером перед сном вместо сказки рассказывала мне страшную историю, в которой действовали Сатана, Сталин и маленькие дети. Я зачитывался в то время Гоголем, его “Виет”, “Ночью перед Рождеством”, и бабушкины фантазии, которые смыкались с реальной жизнью, не удивляли меня.

В день возвращения из лагеря Нина Георгиевна вместе с Лидией Александровной пошла в школу к сыну, но трогательность момента оказалась односторонней: тот маму не помнил. И не мог, конечно, помнить. Он спросил: «Бабушка, кто эта дама?»

Несмотря на возвращение в семью Нины Георгиевны, быстро оправившейся после лагерной жизни, женщины яркой, образованной, знавшей пять или шесть иностранных языков, к ней не перешла главная забота о воспитании Андрея. Она зани-

малась устройством своей личной женской судьбы, познакомилась с Александром Николаевичем Чернышевым (наш давний друг Армен Николаевич Медведев пишет в публикуемых воспоминаниях, что Александр Николаевич с Ниной Георгиевной были знакомы еще до ее ареста, но я никогда ни от Андрея, ни от его мамы ничего об этом не слышала). Александр Николаевич был человеком очень хорошим, крупным ученым, занимал должность заместителя директора НИИполиграфмаша по науке. А Нина Георгиевна, как и до ареста, работала переводчицей технической литературы.

Андрей вырослел. О послевоенных годах он оставил еще один небольшой автобиографический отрывок:

«Я шел по Петровке быстрыми шагами и вспоминал свою подружку Лялечку. В день нашего знакомства, полгода назад, она мне задала вопрос:

– А почему бы тебе не остричься наголо?

Я нудно ответил, что моя бабушка предпочитает длинные волосы, расчесанные на косой пробор, как у премьеров Художественного театра – Москвина, Станицына (бабушка водила меня на «Синюю птицу», и мы оба, она и я, бредили красавцами-актерами).

Лялечка отпарировала:

– Все это – прошлый век и скукота. – И задала вопрос, пили ли я когда-нибудь вино.

Я был ребенок честный, воспитанный в строгих правилах. Надо было отшутиться, но стал отвечать всерьез: вино однажды пробовал. У нас были гости, офицеры, прибывшие на побывку с фронта. Когда хозяйка вышла на кухню, они мне дали попробовать португейна, а потом смеялись: я – взрослый человек.

Познакомились с Лялечкой мы при возвращении из церкви. В переулке к нам подошли незнакомые он и она, Александр Аркадьевич Цукерман и его дочь Лялечка Сахарова. Когда я услышал это – Цу-

керман-отец и Сахарова-дочка – я рассмеялся: я же знал, что немецкое цукер и есть русское сахар. Цукерману было от 40 до 50, а девочка, длинная и худючая, на 2–3 года старше меня. Ее отец рассказал, что в начале войны отправил жену и дочь в эвакуацию в Заволжье. Эшелон разбомбили немцы, жена погибла, а дочь потерялась. Он через год ее все-таки нашел, хотя ей работница ЗАГСа из-за ненависти к немцам успела на русский лад переделать фамилию. Нашли Лялечку на окраине города Камышина и оттуда с превеликими трудностями доставили в Москву. Цукерман пропал на работе, при его служебном кабинете была даже каморка с кроватью. Конечно же, девочка оказалась без присмотра – как в эвакуации.

Тут новый знакомый прервал монолог и, обращаясь к нам с Лялечкой, скомандовал: «Сходите в клуб милиции, узнайте, какой фильм идет сегодня вечером». Мы вернулись через десять минут, но за это время он успел закончить рассказ бабушке о своих злоключениях, и она потом передала его суть: девочка отбилась от рук, из дома пропадают деньги, звонят в поздний час поклонники, Лялечка получает двойки в школе – одна надежда на бабушку: пусть она присматривает не за мной одним, а сразу за двумя детьми! Бабушка великодушно согласилась. Она и не подозревала, в какое сложное положение может попасть. Александр Аркадьевич не видел во мне кандидата на сердце его дочери, считал, что мы будем вдвоем всего лишь играть...»

На этом обрывается второй и последний собственно автобиографический отрывок Андрея. Больше он не делал попыток писать воспоминания.

Основное воспитание Андрей, учась в последних классах школы, получал уже не от родной бабушки, а от Татьяны Александровны, к которой он все чаще и все охотнее поднимался со своего первого этажа к ней на второй (после ее переезда с третьего). От нее шло влияние на формирование личности, литературных интересов подростка, на его жизненные позиции, пове-

денческие установки. Так, думаю, от Татьяны Александровны к Андрюше передались не только упорство в достижении целей, чрезвычайная усидчивость, последовательность в действиях, импульс к постоянному труду, углублению литературных знаний, но и стремление к изысканности – в поведении, манере одеваться, разговорной речи. Будучи прирожденной аристократкой (дворянкой по происхождению, как и ее муж, Иван Александрович, оба родом из Рязани), она воспитала в нем, по точному выражению Владика Пронина, дендизм, вкус к истинной первосортности. Когда говорят, что у Андрея сработала генетика, произошла как бы автоматическая передача к нему культурных наследственных факторов по линии рода, все же надо иметь в виду то обстоятельство, что на самом деле ни бабушки с бабушкой по линии отца, ни самого отца Андрей знать не мог, а вот Татьяна Александровна, женщина высокой культуры (в период приезда в СССР Айседоры Дункан она, между прочим, увлеклась балетом, выступала на сцене, в дальнейшем – известный лермонтовед), реально, изо дня в день, влияла на него все годы детства и юности.

В начале 1950-х, когда было объявлено о создании факультета журналистики, Андрей решил поступать туда. К тому времени Нина Георгиевна и Александр Николаевич, пожив несколько лет в гражданском браке, узаконили свои отношения. Александр Николаевич усыновил Андрея. Он стал Чернышевым. В семье не без оснований считали, что Андрею, кроме всего прочего, это поможет при поступлении в МГУ продрагаться сквозь анкетные преграды. Шлейф, тянувшийся за Добраницкими, немецко-польские корни его предков, репрессии, – все это реально было не в пользу благоприятного решения в связи с поступлением в такой вуз и на такой факультет в 1953 г. Теперь Андрей, с золотой медалью окончив среднюю школу, поступил на первый курс, познакомился с Володей Бонч-Бруевичем. На-

чалась жизнь, которую он так или иначе отразил в ряде материалов.

К сожалению, Андрей, как я уже отметила, не написал сколько-нибудь последовательных воспоминаний о своей жизни, но некоторые его публикации – о В. Бонч-Бруевиче, «От автора» – предисловие к своей итоговой книге «Открывая новые горизонты» и другие содержат выраженный автобиографический элемент. Их мы и печатаем в отдельной подборке, надеясь, что в совокупности они в какой-то мере восполнят отсутствие мемуаров. Думаю, в этом ряду стоят и воспоминания о Вячеславе Назарове, однокурснике и близком друге Андрея, поэте, которые тоже могут оказаться ценным свидетельством и о жизни Назарова, и об их авторе.

Кроме самого текста, где воссозданы, помимо всего прочего, атмосфера 50-х годов, оттепель, факультетские непростые реалии, домашний быт Чернышевых, отношения и настроения в семье, – кроме этого очень интересна и показательна история *непубликации* этого большого мемуарного очерка, полностью подготовленного Андреем к печати еще в 2005 г.

Интерес к воспоминаниям со стороны прессы был проявлен, я помню женщину-редактора, которой один из журналов поручил быть с ним на связи. Редактор попросила в двух-трех местах внести поправки и сделать небольшие сокращения. Андрей наотрез отказался что-либо менять в тексте. То ли он был с чем-то не согласен по принципиальным соображениям, то ли его задела интонация редакторши – не могу сказать. Но материал, вынужденно отложенный в стол, так и не был своевременно опубликован. Это поведение, абсолютная бескомпромиссность отвечали характеру Андрея. Не гордыня и не капризы, не угловатость, которой у него не было, а честность перед собой, соответствие предельной отметке на шкале требовательности к себе и людям – так я понимаю его поведение. Читая воспоминания,

вижу Андрея той поры, когда готовился материал, – в полной интеллектуальной силе, с желанием рассказать правду о прошлом, оставить в памяти потомков неискаженный образ недооцененного неординарного поэта.

Кстати сказать, спустя несколько лет Андрей написал еще одну статью о Вячеславе Назарове – о его поэзии. Тема, этот человек не отпускали его. Их связывала студенческая юность, общность взглядов на многие политические вопросы времени, на проблемы творчества. Я знала, что Вячеслав хранил у Андрея свои «крамольные», как выражался Чернышев, рукописи, разрешил и поручил ему снять с них копии. Копии были сняты, но они каким-то таинственным образом исчезли из дома. Вряд ли за исчезновением стоит какой-либо конспирологический сюжет, хотя Андрей был озадачен. Ситуации это не изменило: остался авторский экземпляр, а сам Андрей, выросший в филологической среде, с детства привык заучивать крупные объемы поэзии, знал не менее сотни стихотворений Назарова наизусть. Статью о его творчестве Андрей считал завершением своей миссии: он исполнил свой долг. Эту статью, так же, как и не опубликованные вовремя воспоминания о поэте, мы печатаем в этой книге, реализуя мечту мужа. Я нашла в бумагах Андрея два письма Вячеслава Назарова, в которых словно бы продолжается интеллектуально напряженный диалог друзей. Они дают представление о характере их отношений. Письма, небольшие фрагменты из которых сам Андрей использовал в статьях о Назарове, тоже помещены, уже в полном виде, в этой книге, в «Приложениях».

Наша жизнь с Андреем с момента знакомства в 1957 г. и вплоть до августа 1974 г., когда мы официально стали мужем и женой, была насыщена многими важными событиями: после окончания факультета он учился в вечерней аспирантуре Московского пединститута им. Ленина, защитил диссертацию по

драматургу Найденову, работал в системе спецхрана, имел доступ к «закрытой» у нас в стране литературе. Несколько лет ездил с лекциями от Союза кинематографистов, побывал и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Прибалтике, и в Сибири, и на Урале. В архиве Андрея каким-то чудом сохранился листок с графиком его работы в одном из декабрей 1960-х гг.: в Томске, Барнауле, Москве каждый день он неумолимо выступает в домах культуры, клубах, кинотеатрах, в НИИ, училищах, техникумах, академиях, школах с показом нескольких фильмов («Золотая лихорадка», «Король в Нью-Йорке», «Квартира») и лекциями.

Любовь и интерес к кино сохранились у него на всю жизнь, а в 1988 г. он защитил диссертацию, сумев соединить эту любовь к кино со спецификой факультета журналистики, где защита успешно и прошла: он написал исследование на тему дореволюционной русской киножурналистики и не только стал доктором филологических наук, в дальнейшем – и профессором, но и был принят в Союз кинематографистов СССР.

На факультет он пришел много раньше этих событий. Как-то на пляже на Ленинских горах Андрей встретил Владимира Александровича Архипова, своего преподавателя студенческих лет, известного литературоведа, автора интересных книг о Некрасове, Крылове, Лермонтове, критика, по-прежнему работавшего на кафедре русской литературы факультета журналистики МГУ. Они разговорились, и Андрей получил приглашение стать преподавателем. Так к концу 1960-х гг. он начал штатно трудиться в университете.

Я окончила вечернее отделение Историко-архивного института, продолжая работать в Отделе рукописей. Библиотека им. Ленина была местом, где мы с Андреем встречались чаще всего. Он постоянно приходил в третий, научный, зал – и когда готовился к защите диссертации, и перед своими лекциями, и при написании книг. Просто так попасть туда было очень сложно,

поэтому я уже ровно в девять утра бежала по тоннелю из Дома Пашкова в основное здание библиотеки, занимала ему место, выписывала нужные книжки и т.д. Ему со мной в этом смысле повезло: он приходил в библиотеку и сразу садился за работу. Но продолжалось это не всегда. Умерла моя мама, я вынуждена была подрабатывать перепечаткой разных статей, книг, диссертаций, а потом перешла на более самостоятельную и неплохо оплачиваемую работу в Минлесбумпром СССР, заведующей архивом.

Наша занятость, особенно его – наукой, все же не мешала нам частенько бывать в кинотеатрах, на выставках, в театрах. Мы предпочитали спектакли ефремовского «Современника», запомнилась совершенно замечательная постановка «Никто», в дальнейшем ходили к Любимову (дважды побывали на великолепном «Гамлете» с Высоцким), к Захарову. Андрей брал меня на свои лекции по киноискусству с показом разных фильмов. Он вообще мне многое дал в моем культурном развитии. При этом я отмечала, что наши интересы совпадают, а вкусы – далеко не всегда. Они не то, что бы не совпадают, (совпадение вряд ли вообще возможно в полной мере), но порождают обмен мнениями, легкую перепалку на темы просмотренного фильма или спектакля, аргументы, которые и он, и я воспринимаем всерьез, на равных. Обсуждение, спор никогда не сопровождалось унижением, это всегда был разговор именно на равных, хотя, конечно, Андрей знал куда больше меня и его мысли были ярче и интереснее моих. Но главное, у меня не было ощущения, что он снисходит до моего уровня или жалеет меня – вот этого не было совсем. Он не поддаживался, не разрабатывал какую-то тактику поведения со мной (не обидеть!), а воспринимал меня полноценно, без приседаний. Это очень важно в отношениях супругов, таким качеством обладал и Андрей. Мы не совпадали, а дополняли друг друга. Надеюсь, что дополняли удачно.

Что касается вкусов, то, наверное, они были у нас действительно разными. Это проявлялось в альбомах по живописи, которые мы собирали всю жизнь. Он предпочитал абстракцию – Кандинского, Малевича, я тяготела к импрессионизму. Но оба мы очень любили пейзаж работы Максимилиана Волошина, который в свое время подарила Мария Степановна, вдова яркого представителя Серебряного века, «второй бабушке» Андрея, с надписью: «Милой Татьяне Александровне...» В литературе, если не говорить об объектах исследований Андрея, он душевно склонялся к «трудным» книгам, Борхесу, например. Мои предпочтения были традиционнее.

...Вместе с Андреем мы частенько заглядывали к Нине Георгиевне с Александром Николаевичем. Накопив денег, они купили кооперативную квартиру на углу Дмитровки и Садового кольца. Хорошая, радушная была пара. Нина Георгиевна – одновременно и светская львица, передовая дама, и очень добрая, гостеприимная хозяйка. Умная, много знающая, она была громким и ярким центром любой компании (разговор затухает, но она подбрасывает в него уголек и он разгорается с новой силой) и милой кухонной обитательницей, приятной соседкой и собеседницей для многих женщин по этажу и подъезду. В их доме жили Вертинская, Михалков, Каневский, Козаков, Захаров – вся кино-театральная элита Москвы. К Нине Георгиевне особенно часто запросто забегала после спектаклей Настя Вертинская («Ниночка Георгиевна, Ниночка Георгиевна...») – то маслица попросит, то помидоров, если пиццу собралась делать, но при этом давала билеты в МХАТ. Ну а ходили на спектакли по ее билетам иногда и мы с Андрюшей.

Вспоминая Нину Георгиевну, думаю, прежде всего, о ее добром и легком характере. ...Она в свое время вместе с Александром Николаевичем купила не только квартиру, но и дачу, в Раменском, уютный деревянный дом с небольшим садовым

участком. Однако когда скончался Александр Николаевич, Нина Георгиевна собралась дачу продать: она была нужна мужу, он охотно возился на грядках с землей, но самой Нине Георгиевне, женщине городской, светской и, в общем-то, равнодушной к природе, ей там нечего было делать. Она посоветовалась со мной по этому поводу. Я тоже была не дачным человеком. По мне, дачу хорошо было бы продать и на вырученные деньги путешествовать по миру. Но попросила Нину Георгиевну подождать возвращения Андрея из командировки: что скажет ее сын? Андрей был против продажи: на втором этаже дачи, в своем кабинете, ему уже давно полюбилось работать. Этот уголок в соснах, с цветочными клумбами воспринимался им как рай на земле. Здесь было раздолье и с нашими собаками и кошками. Нина Георгиевна легко согласилась с доводами Андрея и не продала, а переписала на него дачу. Меня удивила и обрадовала эта легкость в ее поведении. Долго не думая, она съездила с сыном на дачу и официально все оформила.

Вспоминаю о ее «легкой доброте» и в связи с еще одной историей. Как-то при мне она перебирала какие-то вещи, на глаза попался небольшой белый мешок типа наволочки, чем-то наполненный. Нина Георгиевна рассказала, что до своего ареста уже чувствовала, как над ней после ареста мужа тоже сгустились тучи, в любой момент могли арестовать. Какие-то ценные предметы (иконы, серебряные ложки, серебряные колечки и т.д.) она передала на всякий случай на хранение своему товарищу по жизни, переводческому цеху Николаю Чуковскому. У того тоже не была гарантирована личная безопасность, но казалось, что он защищен понадежнее. Так и получилось: Чуковского-младшего не тронули, хотя на подозрении у органов он находился. После возвращения Нины Георгиевны из Карлага Николай Корнеевич вернул ей белый мешок. Спустя годы, развязав его и вынув содержимое, Нина Георгиевна, не

задумываясь, тут же подарила мне и иконы, и колечки, и еще многое другое – на память о ней.

Теперь, после ухода Андрея, я лучше почувствовала, что самая симпатичная черта в нем, – доброта к людям, ко мне, доброта не показная, а истинная, чем он, собственно, всегда и очаровывал, – от его мамы. От нее это передалось к нему напрямую. Как-то сейчас это стало для меня очевиднее.

Но вернемся к давним временам. После 1974 г., когда мы окончательно поняли, что друг без друга уже точно нам не жить, мы зарегистрировали свои отношения официально. Это, в общем, мало что изменило в наших отношениях и быте. Сначала у нас была небольшая квартирка в доме между Тихвинским переулком и Палихой, а последние двадцать лет мы жили на Ленинском проспекте и тоже в двухкомнатной квартире. Мы не гнались за роскошными апартаментами и не мечтали о них, довольствовались минимумом, и в этом минимуме всегда обязательным был кабинет для Андрея, где он раскладывал книги, папки с записями, блокноты и работал.

Работать он умел и любил. Как правило, приходил вечером после лекций на факультете, ужинал, пил кофе и примерно с 11 часов уединялся в своем кабинете и до двух-трех ночи спокойно писал. Пока он не откроет дверь из кабинета и не снимет очки, я ему не мешала, придерживалась негласного правила из нашего кодекса взаимоотношений, где на первом месте была его работа. Такое трепетное отношение к научному творчеству, трудовому режиму шло, конечно, как я уже отмечала, от Татьяны Александровны. Но я поддерживала его, потому что мне этот принцип самой нравился, и я знала, как важна работа для Андрея. Цена время, он, к слову сказать, просто не выдерживал долгих телефонных разговоров. Иногда в нетерпении бросал трубку. Потом, правда, звонил сам и извинялся. Единственным человеком, с которым он мог долго, часами, разговаривать по телефону,

был Володя Бонч-Бруевич, его, как уже говорилось, ближайший друг с начала учебы в университете.

Ему был свойствен не запойный, а размеренный ритм, зато работал он изо дня в день, не позволяя себе никаких специальных передышек. Был строг к себе. Вообще суть существования, не найду более точного слова, Андрея точно отражают слова из романа Марка Алданова «Начало конца» – «Делать в жизни свое дело...» Это было кредо мужа, принципом устройства внутреннего мира, неким стержнем. Он держался за работу (не за службу, а за работу над чем-то) и, по-моему, эта привязанность или даже потребность в ней давали ему дополнительное ощущение независимости, устойчивости, твердости, подобно тому, как примерно такое же ощущение у других людей появляется, наверное, благодаря деньгам, богатству. Слова любимого писателя Андрея мы решили вынести в название книги.

Андрей, несомненно, был человек с потрясающей самодисциплиной, трудоголик – работал на хорошо заранее продуманной, плановой основе, если так можно выразиться. Каждая очередная статья или книга должны были вылежаться в голове, принять какую-то форму, после этого начиналась отделка материала в слове, на бумаге. До компьютера дело не дошло, и он считал, что это к лучшему: с бумагой отношения всегда складывались удачно, а перестраиваться он уже не хотел и не знал, что из этого выйдет. Да и неважно это, как и на чем писать.

Абсолютным педантом и аккуратистом он, конечно, не был. Идеальный порядок у него был в голове, но не всегда на столе. Иногда он зарывался в свою работу, в бумаги, терял нужные листки и, обескураженный, звонил мне на службу: «Алл, у меня мелкие неприятности: не могу найти то-то и то-то. Ты архивный работник, помогай». Я, архивный работник, все находила, и Андрей продолжал работу.

В середине 1970-х гг. Андрей принял предложение Ясена Николаевича Засурского, декана факультета, которого очень уважал и ценил, поехать по межуниверситетскому научному обмену в Венгрию, читать лекции по русской литературе пушкинской поры. Это был любимый лекционный курс Андрея на факультете. Конечно, он с удовольствием отправился в Будапешт на целых три года. Не знаю, какой уровень демонстрировал он в местном университете, как его воспринимали венгерские студенты, на его лекциях там я ни разу не присутствовала, но отзывы были очень хорошие. В Будапеште он выпустил собранные в книгу лекции о русской литературе первых десятилетий XIX века и Пушкине (этот курс мы перепечатаем в настоящем издании), а также хрестоматию русской критики в двух толстых томах (второй том в соавторстве с Rev Maria).

Венгерская поездка оставила и у меня, и у Андрея очень интересные и неожиданные впечатления, в том числе и о порядках в СССР. Конечно, мы оба хотели, чтобы я к нему приехала, он прислал вызов, но меня за границу не выпускали. Я как заведующая архивом Минлесбумпрома СССР отвечала за секретную часть. На партбюро постановили: не пускать! «Посиди-ка ты в архиве со своими секретами». Хотя в партии я никогда не состояла, как, кстати, и Андрей. Да и страна-то, Венгрия, была социалистическая. А секреты, – о каких таких секретах они говорили? Чего они так боялись? Не помню, чтобы Андрюша когда-либо так много и заразительно смеялся, как теперь – над нашей непроходимо тупой бюрократией. Через год меня все-таки выпустили. Мой отпуск пролетел как один день, мы объездили всю страну, побывали на Балатоне, в Печи на границе с Югославией, во многих городках, посетили все музеи и выставки. Прекрасная страна и прекрасны все недели, дни, часы и минуты, проведенные с Андрюшей!

В дальнейшем, в какие-то перерывы между лекционными курсами на факультете, он побывал еще в нескольких командировках за границей – представлял Московский университет в Германии, Индии, на Кубе и в некоторых других странах. И все, повторяю, благодаря благожелательно настроенному к Андрею Ясену Николаевичу Засурскому. Декан факультета журналистики вообще тепло, по-доброму относился к А.А. Чернышеву. Когда Андрей заболел, Ясен Николаевич обратился в 1998 г. и к президенту Российского медицинского общества Л.А. Михайлову, и к директору НИИ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России академику В.И. Шумакову с просьбами о проведении аортокоронарного шунтирования, льготной оплате операции и т.д. Копии документов у меня сохранились. (Как всегда в таких особо острых ситуациях, помогал нам, конечно, и Володя Бонч-Бруевич, человек необычайной сердечной доброты и отзывчивости!). Помню те напряженные дни и очень хорошо помню, что участие в наших проблемах было у Ясена Николаевича не формальное, а самое деятельное, заботливое и заинтересованное, за что ему огромная благодарность. Когда же Андрей решил уйти с факультета, то потом, после ухода, Ясен Николаевич не раз убеждал А.А. Чернышева, чтобы он продолжал работу, предлагал вернуться на кафедру. Но Андрей уже не менял своего решения, хотя работа на факультете принесла и всегда приносила ему большое удовлетворение, которое он испытывал от преподавания, лекций, от общения со студентами и коллегами, прежде всего по кафедре.

Он очень заинтересованно и благожелательно относился к готовящимся к изданию и уже опубликованным трудам своих товарищей, всегда внимательно читал их, беседовал с авторами. Помню случай, когда Андрей был возмущен одной публикацией, направленной против новой книги профессора Бориса Ивановича Есина, и как он немедленно вступился за репутацию

своего старшего товарища, заведующего кафедрой, как он точно и тактично расставил в своей рецензии все точки над *i*, не отрицая и объективных издержек работы ученого, обусловленных временем. Эту публикацию мы тоже сочли необходимым напечатать в книге в качестве приложения: она отражает этические принципы А. Чернышева в науке и научной полемике, а заодно бросает ответ на здоровую внутрикафедральную обстановку.

Когда Андрей увлекся Алдановым, он получил грант на почти годовую научную поездку в США. Он работал в Бахметевском архиве Колумбийского университета, расположенного в Нью-Йорке. Что это за архив, как шла работа, каковы ее результаты – обо всем об этом дают представление публикуемые в настоящем томе предисловия самого Чернышева к большой серии подборок переписки Алданова с Буниным, Набоковым и многими другими деятелями культуры, науки и политики русского зарубежья, опубликованных в журнале «Октябрь» в 1990-е гг.

О бытовой стороне жизни в Нью-Йорке скажу несколько слов, поскольку на целый месяц смогла и я вырваться к Андрею. Он снимал одну комнату с очень высоким потолком в пятикомнатной квартире на 84-м авеню, в центре города, рядом с Бродвеем и улицей Амстердам. Квартира принадлежала Вере Владимировне, шляпочнице, и ее мужу, фотографу. Их родители эмигрировали сюда еще в 1919 г. Чета нанимала только русских домработниц. Мы застали финальные годы семьи русских беженцев. Вера Владимировна прожила трудовую и, надо признать, безбедную жизнь, умерла на 97-м году. Была ли она счастлива – не известно, но о России, годах своего детства, вспоминала всегда. Нам интересна была ее жизнь и судьба как живое прикосновение к каким-то граням эмиграции простых русских людей.

Мы с Андреем обошли весь Нью-Йорк, побывали на Гудзоне, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Однако наши путеше-

ствия должны были вписываться в строгий режим его работы в Бахметевском архиве, и это, конечно, для него и для нас обоих было главным и неукоснительно соблюдаемым правилом.

В Америке с относительно небольшой командировкой Андрей побывал еще один раз. Этого ему хватило, чтобы выступить в нашей печати с большим количеством публикаций произведений и писем Алданова, многочисленными комментариями, очерками, предисловиями к составленным им нескольким собраниям сочинений писателя. Давалось все это ему нелегко, стоило большого напряжения, но наступил звездный час Андрея: он должен был сказать об Алданове все, что знал, и познакомить хотя бы с основными произведениями почти не известного в России выдающегося писателя. И этот прорыв был сделан.

В последние двадцать лет, уйдя из университета, Андрей был сосредоточен в основном на Алданове, близком по духу, позиции, мироощущению писателе и человеке. Он продолжал писать статьи, в том числе, что символично, для основанного Алдановым в Нью-Йорке «Нового журнала», давал интервью, подготовил еще одно, восьмитомное, собрание сочинений Марка Александровича, вышедшее в издательстве «Терра», участвовал в создании документального фильма об Алданове для канала «Культура», который систематически показывается. В эти же годы Андрей вел переговоры с Юрием Любимовым о постановке одной из пьес Алданова в театре на Таганке (после знакомства с Чернышевым Юрий Петрович давал билеты на все спектакли), встречался со Станиславом Говорухиным по поводу экранизации романа «Ключ».

Но здоровье Андрюши пошло на убыль. В самом конце 1990-х гг. ему сделали шунтирование на сердце, спустя несколько лет он выдержал операцию на легких: онкология. Силы медленно, но покидали его. Мы еще иногда куда-то ездили – в Германию, Грузию, пытались наслаждаться и любоваться, но наши

воляжи все-таки уже были не такими радостными из-за состояния здоровья Андрюши и его неотвязных мрачных мыслей.

В этот глухой жизненный период, когда надеяться было не на что и Андрей прекрасно понимал, что впереди мрак, его часто навещали друзья, создавали атмосферу поддержки. Он очень любил эти встречи, приободрялся, заряжался энергией, которой хватало на какое-то время. Друзья у него были верные, и он сам был верным, преданным другом для многих. Я заметила в нем эту черту: если он с кем-то сближался, то эта связь, как правило, становилась с годами только прочнее. Он трудно сходился с людьми, словно невольно предварительно испытывая их, но уж потом его душа не отпускала этих людей. Он к ним прикипал, нуждался в них, никогда не остывал. Видимо, так было у него всегда, с детства. Толя Андриканис, несмотря на то, что судьба развела его с Андрюшей по всем направлениям, как был его другом еще во время войны, так и остался близким и верным нашей семье человеком. Могу перечислить многих других – друзей по студенческой жизни, работе на кафедре, в Союзе кинематографистов, соседей по даче и т.д.

Очень любил, когда заглядывали к нему его ученики, те, у кого он выступал на защите дипломов, диссертаций. Со временем некоторые становились его друзьями: Саша Руднев, Сережа Чернов... В последние два с лишним десятка лет близким другом, сначала Андрея Александровича, а потом и моим, стал Артем Лысенко. С ним связан довольно продолжительный душевный, творческий и отчасти физический подъем Андрея Александровича. В 2017 г. по инициативе Артема они вдвоем подготовили том избранных произведений мужа (книга «Открывая новые горизонты» опубликована в том же году), причем одно из вошедших в издание произведений была специально написанная тогда же монография об Алданове – обобщение и новое осмысление огромного материала, подготовленного и

опубликованного Чернышевым за несколько десятков лет. Работа, несмотря на огромную помощь Артема, была трудным делом, но Андрюша в эти месяцы, особенно когда в газетно-журнальной прессе, в том числе американской, появились положительные отзывы о книге, преобразился, пробудились интерес к жизни, надежды... Книга, которую вы держите в руках, тоже инициатива и труд Артема.

Многие написали воспоминания об Андрее для настоящего сборника. Я всем очень благодарна за них! Когда я читаю воспоминания, перед глазами проплывает вся наша жизнь. В ней выделяется эта главная черта – верность дружбе. Она никогда не зависела от привходящих обстоятельств, даже от политической или гражданской позиции. Со своим самым близким другом – Володей Бонч-Бруевичем – они расходились во всем, тот был коммунистом, у Андрея совсем другие взгляды. Тем не менее, они не просто общались всю жизнь – их тянуло друг к другу. Зная, что у них о многих вещах противоположные мнения, они все-таки то и дело нуждались во взаимном выяснении позиций: «Как ты думаешь?», «Твое мнение?»

Разбирая после Андрюши его бумаги, я увидела номер газеты «Коммунар» (многотиражка фабрики «Парижская коммуна») от 7 января 1956 г. На первой полосе напечатана заметка «Детский праздник» за подписью двух студентов факультета журналистики МГУ Вл. Бонч-Бруевича и В. Ватолина. На заметке красивым почерком надписано чернилами: «Мой милый homo sapiens! Прими на память сей скромный труд. Вл. Бонч-Бруевич. 9 января 1956 г.» Ребята проходили практику, и от первых напечатанных корреспонденций, наверное, захватывало дух, ими гордились и одаривали друзей. Меня же удивило, что Андрюша, который не терпел хлама, все время жестко освобождавший свои столы, книжные полки от лишних бумаг (иногда он нещадно выбрасывал, на мой взгляд, и то, что следовало бы оставить),

бережно хранил эту давнюю и уже ветхую газетку с первой, наверное, публикацией своего друга! Трогательно.

Володя умер на несколько месяцев раньше Андрея. На похороны он пойти не мог, но меня попросил: «Ты перекрести его», хотя тоже не был истово верующим, называл себя в этих вопросах «агностиком». За желанием мужа я вижу, тысячу раз убежденная в этом сама, что ценил Андрюша в человеке прежде всего его душу.

Лет за двадцать до кончины Андрюши, как я уже писала, ему сделали аортокоронарное шунтирование. Тогда эти операции только еще начинали выполнять, случались трагические исходы. Андрюша сильно волновался, написал мне записку со словами «Вскрыть после моей смерти». Записка все эти годы пролежала в столе. Теперь я ее прочитала:

«Любовь моя, последний раз говорю с тобой. Не трави душу – это должно было произойти, и мы оба готовились к худшему давно. Лучше раньше, чем позже, когда я стал бы уж вконец невыносимой обузой, старичком, лысым, слепым, глухим, беспамятным, с не оставляющими болями. И вдруг все эти напасти разом кончились! Радоваться надо, а не плакать. Когда соберутся помянуть меня, лучше всего бы вспомнить анекдоты. Как я кричал тебе перед Большим театром: «Баба Яга, Баба Яга!», а ты отвечала: «Я тут, я тут!»

Ты была моей единственной любовью. Если бы я остался жив, то повторил бы весь путь рядом с тобой, от 3-го автобуса и до самого конца. А что до конца: – не плачь, всему на свете приходит конец, вот и нашему счастью, нашей любви пришел. Но главное – мы долго были рядом, понимали друг друга, вместе радовались, вместе горевали.

И еще напоследок притча, которая меня в последнее время утешает. Собрался человек умирать и стал сомневаться, был ли рядом с ним Бог всю его жизнь. Во сне увидел пустыню, песок и следы двух

пар ног. Но когда дорога поднималась в гору, вдруг следы второй пары ног исчезали.

– Ты меня обманул. Ты был со мною, когда мне было легко. А когда я карабкался вверх, задыхаясь, ты покидал меня.

И Голос ответил:

– На подъемах – это мои следы. Я нес тебя на руках.

Похорони меня так, чтобы мы и в земле потом были рядом. Пусть ты будешь сильной, будешь держать меня в памяти крепко. Береги себя. Живи долго. Тебя будет до конца оберегать моя любовь».

Я заплакала.

Июнь 2019 года

О ЖИЗНИ, ДРУЗЬЯХ, РАБОТЕ

Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Коммунист-праведник

Дар судьбы – слова немного выпрение, но порою без них не обойтись. Как иначе начать заметки, где предмет – моя дружба с Владимиром Владимировичем? Она длилась много дольше «золотой свадьбы», целых 65 лет, и наложила отпечаток на всю мою жизнь. Я всегда видел в нем не просто умного, доброго, порядочного, духовно близкого мне человека, а эталон добра, пример редкостной духовной красоты.

Наши жизненные пути начались почти одновременно и по началу судьбы оказались схожи: он родился в недоброй памяти 1937-м, я на год раньше; у него забрали отца, у меня отца и мать, обоим воспитывали бабушки. От бабушек досталось нам в наследство уважительное отношение к старым духовным приоритетам, таким как честь, достоинство, умение не сгибаться перед властью обстоятельств.

Вместе с тем росли мы в разной среде и смотрели почти на все на свете по-разному. Он вырос в семье соратника Ленина, знаменитого старого большевика, я выходец из интеллигентской старомодной среды, он чуть ли не с пеленок усвоил революционную идеологию, я зачитывался забытыми старыми

Отклик Андрея Чернышева на кончину друга, Владимира Бонч-Бруевича, под названием «Безбожник – праведник» опубликован (с сокращениями) в книге «Наш Бонч» (АНО «Редакция Литературной газеты», ИПО «У Никитских ворот», 2019). Печатается в полном виде. – Ред.

романами, в театральном репертуаре предпочитал классику, и в школе меня поддразнивали, обзывали «человеком XIX века». Он был атеистом, я – агностиком.

Обыкновенно основой мужской дружбы становится сходство взглядов. Мы, оба от рождения отчаянные спорщики, не сходились буквально ни по одному вопросу. Познакомились во время собеседования медалистов, поступавших на факультет журналистики. Новый факультет был учрежден в МГУ им. Ломоносова перед смертью Сталина, был мечтой абитуриентов, и мы, конечно же, едва получив аттестат зрелости, туда и подались. Обоим приняли. Стали испытывать друг к другу симпатию чуть ли не с первого взгляда. Сразу начали и спорить. Первый спор, помню, разгорелся вокруг разногласий «отцов и детей», следующий был о том, как относиться к непостоянству любимой.

Надобно заметить, что в годы сталинщины по умолчанию предполагалось, что в оценке всех исторических событий, во взглядах на будущее вся страна придерживается единой позиции; в ходу был фразеологизм «великое, несокрушимое единство партии и народа». Не было и не могло быть ни одной публичной дискуссии. Газеты, радио (телевидение только зарождалось) по всем вопросам выступали одинаково. Поднимали на щит такие новые шедевры, как картины «Пир в колхозе» и «Митинг в цеху». Существовала, правда, и другая культура. Не согнулись под тяжестью обстоятельств Пастернак, Ахматова, Заболоцкий. Но их не печатали, они не имели доступа к аудитории, и творческая судьба каждого из них была трагична.

Наш с ВВ однокурсник, замечательный поэт Вячеслав Назаров чуть позднее напишет о самом главном в этом времени:

А надо всем, давя гранитом
Побеги зелени весенней,
Зрачками в каменных орбитах
Следил богоподобный гений.

Два пальца туго сжали китель,
 Рука протянута над миром,
 Незрячий взгляд надменен: «Ждите,
 Я дам, идите за кумиром!»

И вдруг в один прекрасный день установленный, казалось, на века миропорядок приказал долго жить. Великий диктатор умер, и сразу же, в считанные недели и месяцы, началась переоценка ценностей. СМИ выступали по-прежнему единым хором, с трибун собраний продолжали звучать заученные речи. Но в привычные дружные голоса начали врваться иные, несогласные. Возрождались инакомыслие. Наше поколение только еще вступало в жизнь, было мало запуганным, и нам судьбой было уготовано стать застрельщиком процесса духовного освобождения.

(Замечу в скобках, путь этот оказался более длинным и извилистым, чем предполагали. Зло если не сильнее, то успешнее добра. То, что наделала наша страна между 1917 и 1953 гг., мы лечим, правда, с разной интенсивностью, уже 65 лет, но процесс еще явно не завершен. Причины медлительности нашего развития в громадных размерах страны и ее населения, в ее этнической неоднородности, исторической инертности).

Перейду к отдельным эпизодам, особенно врезавшимся в память. Начну с того из них, в котором даже при самом лихом воображении никого другого не могу себе представить на месте ВВ. Нам около 25, мы в кафе невольно стали слушателями чужого разговора: его участница исповедуется спутнице: «Муж не приносит домой ни копейки, все пропивает, нечем кормить ребенка. Услышав «нечем кормить ребенка», ВВ достает несколько ассигнаций и протягивает их на соседний столик. Получательница, конечно, обескуражена, стесняется, отказывается, но ВВ настойчив. В конце концов, она уступает, деньги приняты.

По смыслу близок первому еще один эпизод, которому оказался свидетелем. У только что вышедшей на пенсию сослуживицы ВВ умер муж, она осталась одна, как перст, и необычайно тяготилась одиночеством. ВВ надумал, что ей станет легче, если она возьмет собаку. ВВ, прочитав в «Вечерке» объявление: «Замечательный пес потерял хозяев и нуждается в новых, сделает счастливым любого, кто его возьмет», не замедляет откликнуться. Человек занятой и творческий, он, отложив все дела, начинает обзванивать разные организации и частных лиц, едет куда-то, и в результате судьбы его знакомой и осиротевшего пса соединяются. Счастливая развязка!

До конца моих дней не забуду, как ВВ участвовал в моих собственных делах. Опять великолепное бескорыстие, опять постоянная готовность прийти на помощь, не дожидаясь зова о помощи. Когда я заболел, в начале 1990-х, понадобилась дорогостоящая медицинская операция, а денег у меня не было. ВВ выхлопотал у университетского начальства безвозмездную материальную помощь. Когда я потерял железнодорожный билет, устроил так, что я все-таки смог уехать вовремя. Перестроив память, пытаюсь отыскать эпизод, где он бы нуждался в помощи, и я бы ему ее оказал. Иначе говоря, чтобы мы обменялись ролями. Тщетно! Нет, я был обычным, а он особенным человеком! Ведь наверняка и он в чем-то когда-то нуждался, но был в этих делах скромнее и едва ли что-то у кого-то просил.

Единственный был в наших отношениях случай, когда в результате недоразумения мы едва не поссорились. Развязка оказалась благополучной только благодаря такту и находчивости ВВ. В разговорах участвовал он, я и моя любимая жена Алла, в просторечье, по какой-то между нами изначально установившейся, взаимно-добродушной традиции именуемая Бабой-Ягой, что, конечно, могло кого-то и насторожить, даже ВВ. Когда он начал издали: «В начале вашей связи я думал,

это временное увлечение», я почему-то его зло прервал с не характерной для меня резкостью: «В чем же тут можно было сомневаться? Неужели сразу не мог увидеть: она ангел? Никому, тем более тебе, ближайшему другу, не позволено сомневаться в этом...» ВВ вежливо отпарировал, подхватив мою интонацию: «Ну, конечно, она ангел, но порою это не сразу заметно из-за того, что крылья спрятаны под кофточкой». Я рассмеялся, напряжение было снято.

ВВ был своеобразно верующим человеком. Вера в особую историческую миссию пролетариата, в неизбежность мировой революции. Убежденно отказывался допускать даже возможность бессмертия души. Я ему говорил: придет время, и каждый точно узнает, бессмертна ли душа. К громадному сожалению, для него это время теперь наступило. Но если принять, что он ошибся и загробная жизнь все-таки существует, то его душу ждет Рай. Так как он был праведником.

Когда я еще не начал писать эти заметки, а только обдумывал их, передо мной встал вопрос: чем отличается наше с ВВ поколение от нынешнего? Достал из шкафа старую черно-белую групповую фотографию с надписью вверху «С новым 1953 годом» и начал по-новому вглядываться в лица моих одноклассников-десятиклассников, раздумывать над тем, как сложились их судьбы, сравнивать знакомых с нынешними 17-летними. Пришел к такому заключению: нынешние раньше становятся самостоятельными, раньше влюбляются, раньше определяются в выборе жизненного пути, раньше начинают зарабатывать. Мы были прощедушнее, доверчивее, податливее к внушениям. Я на этой фотографии с томиком Лермонтова в руках – тогда учил наизусть «Мцыри», одет, как все, худющий, неуклюжий, лицо невыразительное. Единственное отличие от остальных: все с короткой прической, а я с головой, остриженной наголо. Конечно же, рассказывал ВВ, как такое случилось. Он смеялся.

А дело вышло так. До десятого класса всем в обязательном порядке полагалось ходить стриженными под машинку. Когда нас в последний раз всем классом принудительно остригли, потом рассадили по партам и поздравили: «С нынешнего дня вы взрослые. Скоро будете вихрастые. Обязательно сфотографируйтесь на память и поставьте дату». Я тоже отрастил чуб. Но вот в один день получил письмо с необыкновенно заманчивым, помню, для меня, 16-летнего, предложением любовного содержания и непременно условием: остричься под машинку.

Я стал перебирать имена девушек, с которыми гулял в последнее время, но кто автор, угадать не смог. Оказывается, есть на свете родственная душа, она в меня влюблена. Она гордая, умная и осторожная – подписи нет. Едва дождавшись конца занятий, бегу в парикмахерскую. Когда возвращаюсь домой, мать привычно-печально констатирует: «Опять стал похож на беглого каторжника». Начинаю нетерпеливо ждать – кто же меня окликнет? Проходит день, неделя – не окликает никто. Еще неделя и опять те же дела. До меня доходит, наконец, что разыграли. Зря старался! А фото осталось.

За комическим нелепым этим эпизодом последует последний, противоположный по интонации, трагический. Всякая дружба, всякая жизнь одинаково заканчиваются на щемящей ноте. Выбрал такой порядок подачи эпизодов потому, что знал: в конце придется больше говорить о себе, чем о ВВ, – он будет уходить из действия постепенно. Знал, что последняя страница дастся мне с большим трудом. И вправду, написал с десятков ее вариантов. Выбрал интонацию бесстрастную, стороннего наблюдателя, а когда над нею работал, хотелось кричать от боли. Со дня смерти ВВ прошло сорок дней. Только 40 дней. Уже 40 дней. Душа о нем болит по-прежнему.

Последние три года я тяжело болел. Оказался прикован к кровати. ВВ дольше меня держался. Он был свех головы за-

нят работой и меня почти не навещал. Постоянно справлялся о моем здоровье, заботился о врачах и медикаментах, чуть не каждый вечер подолгу разговаривал со мной по телефону. Так и сказал однажды: «Новая разновидность дружбы – телефонная». Все обещался вот-вот меня навестить, не получалось. И вдруг неожиданно: «Буду в ваших краях, на час заеду». Побыл действительно только час, говорили о пустяках злобы дня, не успели даже ни о чем поспорить. Я не смог встать, чтобы его проводить, провожала Алла. Она вспоминала: «Лифт начал спускаться, и он, Володя, в моих глазах стремительно убывал в размере: сначала исчезли ноги, потом туловище, наконец, голова».

Больше нам не суждено было встретиться. Ничто, казалось, не предвещало бедствия. ВВ был бодр, как всегда, жизнелюбив и оптимистичен. Терзаюсь догадкой: не был ли его неожиданный уход из жизни и для меня каким-то особым знаком, сигналом, предначертанием смысла, которого я не сумел пока различить?

После нашей встречи прошло два дня. Он внезапно потерял сознание и упал. Его с трудом подняли, но он не приходил в себя. Вызвали «скорую», она сразу увезла его в реанимацию. Потом – искусственная кома. Врачи до последнего дня надеялись, что, пусть ненадолго, он выкарабкается. Но нет. Умер, не приходя в сознание, смерть случилась, кажется, под утро и была, говорят, легкой. Легкую смерть, по народному убеждению, господь посылает праведникам. Праведником он запечатлелся и в моей памяти.

Вместо эпитафии – стихи:

И будем мы судимы – знай –
Одною мерою.
И будет нам обоим – Рай,
В который – верую!

(Марина Цветаева, «Чужому», 1920)

О Вячеславе Назарове

Вспоминая друга-поэта

Многотысячная толпа молодежи на Воробьевых горах. Сентябрь 1953 г., торжественный митинг по доводу открытия нового комплекса зданий Московского государственного университета. Нам на Воробьевых горах не учиться, мы студенты факультета журналистики, а этот факультет оставлен в центре города. Мы только что начали свой первый курс и, конечно, непомерно горды собой, зелены и любопытны, очень заинтересованы торжеством. В толпе случайно оказывается рядом со мной однокурсник Слава Назаров, широколицый кареглазый статный шатен. К удивлению, он не только не в восторге от нового комплекса – громко называет его безобразным! Я робко возражаю: величественный все-таки, а он слышать не хочет: тяжеловесный главный корпус и в подметки не годится тому, что стоит на Моховой. Там – храм науки и стеклянный купол над зданием и белые колонны у входа неслучайно наводят на мысль о святом, возвышенном. Здесь старались поразить зрителя масштабами, внушить образ мощи государства.

Народные симпатии переменчивы, пройдет несколько лет, и сталинские высотные здания не станут критиковать только ленивый (теперь, впрочем, ими опять восхищаются). Но через полгода после смерти Сталина столь смелые речи были в диковинку, не слишком ли развязали язык, молодой человек?

Горячая тирада запаала мне в душу, и в последующие недели я не раз в перерывах между лекциями подходил к Назарову. Оказалось, он тоже любит поэзию (кто ее не любит в восемнадцать лет?), предпочтение отдает поэтам Серебряного века, долгое время не переиздававшимся. Также ходит в консерваторию, в музей долго простаивает перед полотнами импрессионистов. Темы для бесед сами собой нашлись, я жил с родителями на Петровке, минутах в двадцати ходьбы от старого здания университета, Слава родом из Орла, жил в общежитии, ему не хватало домашнего уюта, и он пристрастился бывать у меня. Родительский контроль в нашем доме был либеральным, и мы коротали вечера за бутылкой цинандалы, рассуждая, как когда-то Лермонтов – тоже студент Московского университета, – «...о Боге, о Вселенной и о том, как пить: ром с чаем или голый ром». Слушали пластинки Вертинского и Эллы Фитцджеральд. Учили пуделя ходить на задних лапах. Спорили – о литературе, о языке. Помнится, я простить ему не мог оборота «щурить злые веки». Веки, дерзил я, не могут быть ни злыми, ни добрыми – как уши, как пятки. Он наносил ответный удар: «А ты, Андрюш, говоришь: отвращение к пошлости. Отвращение не может быть к чему-то, только от чего-нибудь, оно отвращение». Нам было интересно друг с другом. Студенческая дружба продолжалась все пять лет, и ни разу не возникло у нас не то, чтобы ссоры, но даже и краткой размолвки.

Слава замечательно читал стихи. Любил повторять, что поэзия предназначена не для глаз, а для ушей. «И выйду к лампам, к рампе, в зал». Читая такую строку, он увеличивал паузы между словами, успевал от полусшепота перейти на крик, нанизывание слов звучало как заклинание, декламатор уподоблялся гипнотизеру.

Хотя он начал писать стихи еще школьником, только в университете стал относиться к этому занятию всерьез. Показате-

лем этого служили книги поэтов с его пометками. Для каждого он находил добрые слова, но никому не хотел подражать. Его яркие краски без полутонов, плакатная резкость образов вызывают в памяти Маяковского, но Слава скорее от Маяковского отталкивался, чем подражал ему: он был человеком другого времени, мир казался ему враждебным, а одиночество вечной участью поэта.

Разноцветный неон реклам,
одноцветная жизнь без грез...
(«Москва»)

Я иду по дорогам земли,
надо мной беспросветная ночь.
(«Распутье»)

Возникла непоправимая раздвоенность: в стихах рефлектирующий романтик, убежденный индивидуалист, а на семинаре по «теории и практике партийно-советской печати» (так называлась одна из ведущих дисциплин) добросовестный студент, получающий досрочный зачет. Очень совестливый, настоящий русский интеллигент, Слава никак не мог к двоемыслию приспособиться, в его стихах то и дело повторялось: «вы лжете», «завтра снова будем лгать...» Слово «лгать» было не в моде, обычно говорили «кривить душой» или «дукавить». Так вот: кривили душой все, к этому привыкли как к естественному состоянию, и Назаров не был исключением, но он больше других страдал. Сейчас, когда его давно нет на этой земле, а запретные в наши студенческие годы книги вошли в круг постоянного чтения, я, думая о нем, вспоминаю набоковского Цинцинната, осужденного на казнь за непрозрачность. Неудивительно, что Слава брал за образец художников прошлого, которые становились добровольными изгоями.

Ему удавались стихи о таких людях – об узнике Редингской тюрьмы Оскаре Уайльде, об уверенном в своем призвании Гогене, жившем в нищете на забытом Богом Таити, об оказавшемся невостребованным в послереволюционной России последнем романтике Александре Грине. В университете не проходили «упадочного» Игоря Северянина – Слава демонстративно назвал одно из стихотворений «Игорю Северянину, поэту и учителю».

К циклу стихов о драматических судьбах художников примыкало, но стояло особняком стихотворение «Клод Моне. Сирень под солнцем». Знаменитое полотно художника-импрессиониста давало повод для такого поэтического прочтения: живая сирень могла бы позавидовать той, что на холсте нарисовал мастер, ведь неживая и многоцветней и даже кажется более пахучей! Получалось, что искусство выше жизни – это был в высшей степени крамольный, по тем временам, взгляд.

Среди университетских преподавателей у Славы были, как водится, любимчики и постылые. Я заметил, что к первым относились, по большей части, преподаватели литературы, в частности, яркие лекторы А.В. Западов и В.А. Архипов, читавшие русскую классическую литературу, и Е.П. Кучборская, которая прочла на нашем курсе всю историю литературы зарубежной, от Гомера до Милана Кундеры (о нем мы ранее и не слышали!) А нелюбимыми были преподаватели журналистских дисциплин – чаще всего партийные функционеры, демагоги с апломбом. Мы уже были старшекурсниками, когда на факультете вспыхнули волнения, студенты заговорили о необходимости перестройки образования, стали требовать увольнения таких, как Калекина, Сафронов, Вдовиченко. Начальство перепугалось, одиозных преподавателей одного за другим уволило, тут же заткнуло рот юным протестантам. Благодарение Богу, никого не исключи. И все же...

Однажды Славу угораздило выступить с чтением стихов в студенческом литературном объединении. Это было вполне официальное мероприятие, и ничего, кроме неприятностей, от участия в нем Славе не стоило ждать. Он начал:

Снилось мне: голубым и синим
я пылал в переплетах линий.
Синим солнцем пылал одиноко
и грустил о реке Ориноко.

Помню историю этого стихотворения. Ко мне попал в руки альбом репродукций американских современных художников. Я показал его друзьям, в том числе Славе, альбом привлек внимание, заинтересовал. С новейшими течениями в живописи мы знакомились впервые, впервые задумались о критериях оценки произведений абстрактного искусства. Славино стихотворение было навеяно этими спорами.

Едва он кончил читать, раздалось улюлюканье. Кто-то взял слово: автор прячется за толстыми шторами, чтобы не видеть реальной жизни. Он не хочет изображать наших современников, их трудовые свершения. Почему он не пишет о борьбе за мир? Следующий выступающий говорил еще резче: поэт посвящает на самое святое в советской литературе, на принцип социалистического реализма. Слава слушал с плохо скрываемой яростью. Вдруг встал и демонстративно отправился к выходу, даже не взял тексты своих стихов. Во время распределения выпускников Назарову припомнили «Ориноко», лысый парткомовец чем-то грозил ему.

В учебе он слыл твердим четверочником – хвостов не имел, в зубрилах не ходил, со шпаргалками на экзаменах уличен не был. Он не верил в предопределение, полагался на счастливый случай на экзаменах, и не раз, выходя из аудитории, признавался: «Половины вопросов не знал, но вытащил счастливый билет!»

Только однажды он вытацил у судьбы несчастливый билет. Я вспоминаю об этом эпизоде с грустью, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Без серьезных оснований Слава перед защитой диплома поспорил со своим научным руководителем, любимой им и уважаемой Е.П. Кучборской. Он написал в дипломе о народниках: «Эти люди в зипунах и пенсне...» Кучборская требовала научной основательности, не признавала поэтической приблизительности и потребовала все подобные вольности вычеркнуть. Он отказался – не признавал насилия (в его понимании) над личностью, она, в свою очередь, не поставила своей подписи на титульном листе работы, возникли сложности. Позднее на факультете стали практиковать творческие дипломы – здесь, думаю, поэт был бы удачливее.

Теперь о главном, что сохраняет за Славой Назаровым право на память потомков. На гребне событий 1956 г. он становится серьезным и оригинальным политическим поэтом.

В это время еще не появилось ни самиздата, ни тамиздата. Оппозиционной литературы не было и не могло быть – сказывалась инерция последних лет правления Сталина, всеисилие, воспользуюсь славным выражением, «централизованного диктата». Вместе с тем, система строжайших идеологических запретов несколько смягчилась, и на театральной сцене, к примеру, вновь дозволили играть «Гамлета». На первых порах для творческой интеллигенция таких послаблений казалось достаточно, но очень быстро она начала расширять свои притязания. В декабре 1953 г. в журнале «Новый мир» появилась статья В. Померанцева «Об искренности в литературе», едва ли не первый манифест независимости писателя от властей. Студенческая аудитория чутко отзывалась на новые веяния в духовной жизни – обсуждали только что опубликованные (апрель 1954 г.) стихи из романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», появившуюся в том же году повесть И. Эренбурга «Оттепель».

За несколько недель до открытия XX съезда КПСС (14 февраля 1956 г.) нас, участников семинара по театральной рецензии, который вел директор Художественного театра А.В. Солодовников, пригласили на генеральную репетицию спектакля в пьесе Н.Ф. Погодина «Кремлевские куранты». Эта пьеса считалась тогда классикой советской драматургии, в ней рассказывалось, как Ленин и Сталин в годы Гражданской войны приняли решение починить сломанные часы на Спасской башне Кремля и дать знак населению, что испытаниям скоро придет конец, начинается восстановительный период. Примерно через пару недель мы читаем в газете объявление о предстоящей премьере. Читаем – и не верим своим глазам: Сталина в списке действующих лиц нет, а историческое решение о ремонте башенных часов Ленин будет принимать на сцене в одиночку!

Мы не постеснялись задать на семинаре вопрос, куда исчез один из главных персонажей. Преподаватель не растерялся: «Драматург написал новую редакцию пьесы и предложил нам внести изменения в спектакль», – сказал он. Стало ясно: генералиссимуса на съезде будут «разоблачать».

И впрямь, вскоре по всем учреждениям, учебным заведениям начали читать закрытое письмо – текст доклада Хрущева о Сталине. В печати – ни слова, но все знали.

Наше поколение было очень политизированным, и чуть ли не каждый разговор начинался с культа личности. Я ближе многих воспринимал эту тему: и родители, и деды пострадали в ходе сталинских чисток. Впрочем, с детства мне было внушено: никакого озлобления на личной почве, надо открыто смотреть в завтрашний день и меньше думать о печальном прошлом.

Слава очень близко к сердцу, как личное потрясение, принял хрущевский доклад. Встречаясь со мной, декламировал новые, навеянные им, стихотворные строчки – то сатирический портрет старика-диктатора («...рука протянута над миром, не-

зрячий взгляд надменен: «Ждите!»), то горькие раздумья над судьбой нашего поколения, тех, кому в сорок пятом было десять: «Мы шли путем, ползушим круто, поверив в искренность оаций, шли, ослепленные салютом и мишурой демонстраций...» Отрывки писались наспех, походили на первый газетный отклик, материал еще не был обдуман и проанализирован.

В университете между тем занятия шли своей чередой, и почти ничто не напоминало о политической злобе дня. Одно из немногих исключений: блестящий оратор В.А. Архипов лекцию о стихотворении Лермонтова «Смерть Поэта» начал с рассуждения о том, что некоторые стихотворения Пушкина нельзя иначе расценить, как верноподданнические, а у Лермонтова таких нет, он представитель следующего поколения, поколения без иллюзий. Мы спешно эту мерку стали прилагать к себе: а у нашего поколения иллюзии сохранились? Над аудиторией раскатом гремело: «Лермонтов знал губительные последствия культа личности Николая I». Аплодисменты.

Лектор рассказывал, что Лермонтов создал свое стихотворение в три присеста. Начал с отклика на только что услышанную ужасную весть «Погиб Поэт!» Это не ищут, не выбирают, это первые слова эмоционального выступления народного трибуна. Следующая часть писалась под впечатлением разговоров о похоронах, она как плач над гробом: «И он убит – и взят могилой.» Третья, заключительная, создавалась позже: поэт, узнав, что власть решила помиловать убийцу, в ярости приписал шестнадцать строк, проникнутых идеей Божьего суда и отмщения: «А вы, надменные потомки...» Идея, завладевшая поэтом в конце его работы над произведением, объединила отдельные отрывки в художественное целое и придала ему классическую стройность.

Слава Назаров, как я понял позднее, примерял к себе подобную оригинальную поэтическую конструкцию. Первый

отрывок – это те строки, что экспромтом рождались после закрытого письма. Второй, тематически связанный с первым, но самостоятельный, появился у Славы под впечатлением концерта в Большом зале консерватории: Самуил Фурер играл Бетховена. Слушая исполненную глубочайшего драматизма скрипичную музыку, Слава нашел в ней нечто созвучное его собственным тогдашним духовным исканиям. Бетховен открыл для него в концерте: так было, так будет – никогда не сбудутся мечты о гармонии и справедливости для всех, никогда не будет совершенного общественного устройства. Славе казалось: весь консерваторский зал разделяет его чувства: «И зал поник. Мираж надежды таял...»

Итоговый третий отрывок писался зимой 1956–1957 года. Подавление венгерского восстания заставляло оставить все надежды на эволюцию режима, Хрущев теперь воспринимался как палач Будапешта. В разгар событий, рассказывал Назаров, в общежитии целую ночь сидели у радиоприемника с однокурсником-венгром. Поймали подряд две венгерских станции. Сначала Будапешт, печальный голос пожилого интеллигента: «Студенты! Патриоты! Оставьте оружие! Кровь прольется зря, впустую». Потом Дьер, молодой голос уверенно отдавал распоряжения: «Собратся в шесть часов у городского вокзала. Взять с собой еду на двое суток, теплую непромокаемую одежду. Оружие раздадут на месте. Предупредите близких, чтобы не ждали». Под непосредственным впечатлением Слава записал в тетрадь: «Говорят, если жить и не думать о том, что случится, словно мира огромного, дикого, страшного нет, все равно, ночь настанет, и совесть в твой сон постучится, и тогда не уснешь в синеватом дыму сигарет...»

Стихов о Будапеште он так и не закончил, но, рассказав мне об аресте Имре Надя, спросил: «А когда у нас будет свой Будапешт?» Признаюсь, даже самое разыгравшееся воображение не

рисовало мне тогда, что в августовские дни 1991 г. соберутся толпы у московского Белого дома. Я ответил однозначно: «Никогда».

Он очень серьезно возразил: «Непременно будет рано или поздно, это закон истории».

Третий отрывок по сути призыв к поколению выйти на улицу, самому решать свою судьбу. О Будапеште в нем ни слова, и в то же время он проникнут духом Будапешта, духом борьбы за свободу. Множество афоризмов-лозунгов: «Счастье делают песни и кровью», «Головы – чтобы думать, не для того, чтоб склонять». Колеблющихся поэт пытается переубедить, тех, кто делает карьеру, высмеивает: «Мы все такие – образцовы, приличны – сталинские птицы: взамен сердец кумач пунцовый, взамен голов передовицы».

Считанные годы отделяли поэму от сталинской эпохи, когда расправлялись и за значительно меньшие мыслепреступления. Но, похоже, всем знакомый страх у автора-студента отсутствовал – он открыто звал «друга, товарища, сверстника» «исступленно петь о свободе». События 1956 г. пробудили в Славе интерес к народным судьбам и массовым движениям. Он стал искать общие закономерности революционных эпох, а в русской истории заинтересовался народовольцами. По сути, передо мной предстал другой человек, более зрелый. Теперь он развивал такой взгляд: революции почти никогда не оправдывают возлагавшихся на них надежд, но все равно они самая красивая часть исторического процесса. После них остаются легенды о героях, песни о подвигах.

Поэму «На грани» Слава читал много раз, порой малознакомым людям. Только в одном месте заменял – из осторожности – строку. В оригинале было: «Мы не хотим, устали верить в знаменый шелк, будь этим знаменем Сталин, Ленин или Хрущев». После саморедактуры последняя строчка звучала так:

«Или кто-то еще». Надеялся, если «компетентные органы» заинтересуются поэмой, сбить их с толку: поэма-де манифест в защиту исторических решений XX съезда.

...Славе оставалось еще более года в университете. Окончив поэму, он еще успел написать цикл антивоенных стихов, которые стали к ней шлейфом. В военных лагерях, на учебных сборах он увидал игру со смертью, прообраз войн будущего: «Мы зарываемся в землю...» Стихи отличались необычностью метафор и рифм, парадоксальностью сравнений. Черное солнце, по старинному поверью, знак близкого конца света. У Назарова черное солнце уже давно над землей, «...а мы еще живы, мы все-таки живы». По моей просьбе Слава подарил мне автограф стихотворения «На зов океана» с большим эпиграфом в прозе. Горькая притча об альбатросах, выращенных в неволе и обреченных, если попытаются полететь, характерна для Назарова перед окончанием университета: к нему так и не вернулись спокойствие, жизнелюбие.

Безнадежно было пытаться подобные стихи опубликовать. Все они так и оставались лежать в ящике его письменного стола в одном единственном экземпляре, в тетрадке, заполненной от руки. Однажды он под величайшим секретом сообщил мне: собирается заветную тетрадку перепечатать в целых трех экземплярах: «Один будет для меня, другой для неба, а третий (тут Слава таинственно перешел на шепот) он завещает студенческому поэтическому объединению («Придет время!»).

Увы, если поэта не «открыли», не признали при его жизни, то после смерти он не бывает востребованным – это аксиома.

И вот наступил конец нашей университетской одиссеи, закончились последние военные сборы под Брестом. Домой возвращались порознь и думали только о будущей работе, о взрослой жизни. Слава уехал в Красноярск. За почти двадцать

последующих лет мы встретились только один раз, он был проездом в Москве. Но время от времени переписывались, с неизменным теплом. Внешне у него все обстояло благополучно: получил квартиру в блочном доме, стал лауреатом премии красноярского комсомола, членом Союза писателей. Внутренне же... Приведу цитату из его письма ко мне, недатированного: «Наверное, я их даже ненавижу – стихи. Они вызревают во мне как подкожный нарыв, они болят внутри и требуют выхода, они вздуваются, как фурункулы, в неподходящее время и в неожиданных местах – боль, боль, боль, бесконечная боль, от которой невозможно избавиться. А разве можно любить вечно живущую в тебе боль?»

После операции в 1972 г. тот пятилетний срок, что был ему отпущен судьбой, он использовал необычным образом. Как правило, узнав, что дни его сочтены, люди доделывают старые дела, а новых не начинают. Слава открыл новую страницу своей творческой судьбы, обратился к прозе, в 1972 г. вышел первый его сборник научной фантастики. Его увлекала условность жанра, он чувствовал себя демиургом, диктующим свою волю сюжету. Сквозь маску, прячущую лицо, проступали его привычные боль и усмешка. Он придумал, например, страну, где состязаются две партии, партия преданных правителю и партия особо преданных правителю.

Все же я остаюсь при убеждении, что лучшее из того, что Назаров написал, он написал в университете.

О Назарове критики пишут как о шестидесятнике. Я бы назвал его пятидесятником, если бы это слово не закрепилось за религиозной сектой. Надо бы издать его поэму «На грани» – современному читателю откроется возможность лучше понять духовную жизнь 1950-х гг.

В 1976 г., за несколько месяцев до смерти, Слава отправил мне

новогоднее поздравление, по сути очень грустное и тревожное. Это было его последнее письмо ко мне: «Милый Андрей! По старой доброй традиции – с Новым годом тебя, с пожеланиями всевозможных успехов и радостей, больших и малых. Если старый год был хорош – пусть новый будет лучше, если плох – все равно пусть будет лучше». Боли, по-видимому, не оставляли его. «В последнее время это просто чисто животная потребность: думать обо всем, чтобы не думать о себе. С упрямством, достойным лучшего применения, сражаюсь с ветряными мельницами».

Меня тогда не было в Москве, это письмо я получил с большим опозданием лишь в июле. Славы уже не было в живых. Он умер 20 июня 1977 г.

В начале горбачевской перестройки приехав в Красноярск, я отправился на кладбище, разыскал его могилу. Мой провожатый, журналист из местной газеты, рассказал, что наискосок похоронен чекист, который по долгу службы следил за Славой. На кладбище, кроме нас двоих, не было ни души. Моросил мелкий дождь.

Подумать только, ему минуло бы сейчас семьдесят лет! Назаров – старик? Вижу его перед глазами красивым, двадцатидвухлетним, с пижонской трубкой и листком со стихами в руках. Мне почему-то кажется, что текст отпечатан на принтере; я наивно пытаюсь сообразить, действие происходит в наши дни или на полвека раньше.

У нас жеманность не в чести,
и прост наш этикет:
вперед нам некуда идти,
назад – дороги нет.

А. Чернышев
2005 г.

О ранних стихах Вячеслава Назарова

Когда в середине 1950-х гг. начинающий стихотворец Вячеслав Алексеевич Назаров стал читать узкому кругу сверстников-друзей свои первые стихи, некоторые из нас сразу заговорили: «Этот парень далеко пойдет». Много лет спустя я услышал: «Он мог стать крупнейшим поэтом своего поколения».

Не стал. Крайняя бескомпромиссность делала его произведения невозможными для печати и неприемлемыми для читателя-средняка, того, кто ищет в поэзии либо развлечение, либо назидание. В конце концов, факультет, на котором мы учились, готовил не поэтов, а журналистов. Однажды я услышал: «Лучше бы Назаров писал о том, как неудобно составлено расписание предстоящей экзаменационной сессии».

Мы были студентами в бурное, переломное время. Сталин только что умер, контуры наступающей эпохи просматривались расплывчато.

Познакомились на торжественном открытии комплекса новых зданий МГУ в сентябре 1953-го. Тысячные толпы у входа в главный корпус, ликование. Оратор с высокой трибуны читает по бумажке: страна устремлена в будущее, наша цель – коммунизм. Следующий выступающий размышляет о будущем: какие радужные перспективы ждут страну в науке, искусстве. Поручкой тому мудрость партии. В стороне Назаров, он тоже говорит, но его аудитория – десяток слушателей. Доказывает нечто противоположное: пусть преподаватели высокие профессионалы, но, нашпигованные фактами, не умеют, боятся мыслить самостоятельно. Об устремленности страны в будущее: блажен, кто верует. О самом высоком здании Европы, перед которым проходит митинг: неудачно спланировано, неудобно для тех, кто в нем размещается. Вскоре мы услышим еще один ориги-

нальный тезис Назарова: настоящим концом похода Наполеона на Россию стало 14 декабря 1925 г. Настоящий конец войны с фашистской Германией еще впереди: не станет ли им крушение «нерушимого союза»?

Как ни странно, очевидная крамола сходила ему с рук. То ли берег его от напастей ангел-хранитель, то ли выручала политическая ситуация в стране, когда постоянно кидало то в жар, то в холод. Мы, малоискушенные студенты, поочередно испытывали то стыд за свою страну (наши войска вторглись в Венгрию, залили землю кровью), то гордость за нее – узнали о первом запуске искусственного спутника. Удивлялись – где истоки его взглядов, противоположных общепринятым, расспрашивали, в какой семье он вырос, кто стал для него моральным авторитетом? Он отшучивался: «Считайте, что я – одиночка-инопланетянин». На деле, появление молодых людей с подобными взглядами, по-видимому, было приметой времени: почти не было семьи, которая не пострадала бы от сталинских репрессий, и вдруг маятник часов качнулся в обратную сторону.

Возьмем самое запоминающееся, самое эмоциональное стихотворение подборки, где в первой строке четыре раза повторяется «вы лжете». Тогда подобное утверждение было в диалог, оно только в наше время, переделавшись в формулу «двоемыслие», сделалось чуть ли не банальностью.

Кому бросил обвинение Назаров? Стихотворение было написано по какому-то конкретному поводу, но по какому? Может быть, на комсомольском собрании. Назаров всегда усаживался в последний ряд амфитеатра, дремал. Узкий круг его адресатов – однокурсники, комсомольские активисты, демагоги – всегда лгут. Более широкий круг – собратья по перу – и эти тоже лгут, кто в стихах, кто в прозе. Наконец, «вы лжете» было обращено ко всем 200 млн. соотечественников, не видевших ничего зазор-

ного в том, что слово у них расходится с делом. Если «вы лжете» в основе общественной морали, то общество ждут неизбежные горькие прозрения. Стихи, подобные тогдашним назаровским, попытка к таким прозрениям подготовить. Друг поэта, его сосед по общежитию, в будущем видный кинодокументалист Виктор Ватолин сравнил его поэзию с игрой скрипача на одной-единственной струне, но виртуозность музыканта не давала упрекнуть его в монотонности:

У нас жеманность не в чести
И прост наш этикет:
Вперед нам некуда идти,
Назад дороги нет.

Назаров умел находить наиболее точно вопрошающие мысль слова и располагать их в строчке в наилучшем порядке. Достигал афористичности:

Головы – чтобы думать,
Не для того, чтоб склонять.

Когда в его рифмованном стихотворении вдруг в одной строке рифмы нет – это не небрежность, а тщательно продуманный прием: без рифмы дано слово «свобода», оно вне контекста, выламывается из него. Автор иронически фиксирует: свободы нет не только в стихе, нет ее и в реальной действительности.

...Голову выше! Выше, мой гордый друг.
Был диктатор, да вышел,
Смейся, счастливый друг.
К черту, теперь свобода.

Тут Назаров меняет тональность:

Тише, мой смелый друг:
Кто-то идет, услышит,
Что-то тогда, мой друг.

Последний свой университетский год Назаров работал над поэмой «На грани», из которой заимствованы три вышеприведенные цитаты и большой отрывок из которой украсит, как мы надеемся, публикацию. Поэма о его поколении, о нашем поколении, о переломе в судьбе страны, связанном с 1956 г. Но, кроме того, работал над дипломным сочинением на объемистую тему: русские театральные критики об Ибсене на рубеже XIX и XX веков. Его друзья замечали: он стал уравновешеннее, более терпимым в спорах, более глубоким в аргументации. Давно известно, что занятия историей содействуют зрелости – зимой 1957–1958 года Назаров не вылезал из библиотеки.

Диплом был готов. Состоялось распределение выпускников, и Назаров без возражений согласился ехать в Красноярск – думал тогда, на несколько лет, оказалось, на всю свою жизнь. Там он и прожил без бурь и потрясений еще двадцать лет, отпущенных ему судьбою. В только что созданной телестудии он начал работать редактором, потом режиссером, позже режиссером кинокомплекса краевого телевидения. Снимая фильмы, познавал сибирский край. Его фильмы показывали на Центральном телевидении. Женился, родился сын. В Москву за 20 лет приехал всего два раза, оба накоротке. Местное издательство время от времени выпускало в бумажной обложке тоненькие книжки его новых стихов.

Но мы здесь в этой подборке откроем другого Назарова, пролагателя новых путей в поэзии середины 1950-х, бунтаря, искателя истины.

В заключение короткая идиллическая сценка, рисующая один вечер из жизни поэта. Полусобрание-полувечеринка в старинном особняке с окнами на Никитские ворота. Обсуждается, навстречу съезду, тема: «Коммунизм – наше светлое будущее». Сверхизобильное будущее должно наступить уже через двадцать лет. Назаров с кипой газет над журнальным столиком в центре. Он ироничен: «Водку тоже по потребностям? Не надорвется ли бюджет? Не сопьется ли население?» Внезапно уходит на балкон – вдохновение?

Так случилось, что перед его отъездом в Красноярск мы последний раз встретились у порога моего дома на Петровских линиях. Он принес мне новые катрены в посвящение Оскару Уайльду, над которым в эти дни работал:

Года пройдут. Все будет прах и тлен:
 Политика, заводы, экипажи.
 И только, может быть, один Роден
 Кусками мрамора о наших снах расскажет
 Для тех, кто будет завтра на земле,
 Кто будет завтра пить иное солнце.
 А все, что есть, рассыплется во мгле,
 Алмазной пылью в вечность унесется...
 Налейте, друг. Я пью за крики сов,
 За декаданс, за ночь, за цепи плена...

Итак, читаем стихи поэта, выпускника факультета журналистики Московского университета.

Два стихотворения, написанные в военном лагере под Брестом в 1957 г.

I

Мы зарываемся в землю
 Под медную песню горна,

Пока лишь играя со смертью,
 Под сердце подводим прицел.
 В окне сырая глина
 И трав обнаженные корни.
 Над бруствером влажный ветер
 И небо, как бледный мел.
 А кто-то в стране далекой
 За далью бездонно-синей.
 Как мы, играя со смертью,
 Целится, щуря глаз.
 Мы встретимся с ними завтра
 На желтой разбухшей глине,
 И будет весенний ветер
 И небо – в последний раз.

II

Дожди идут семь дней подряд,
 Семь дней туман и рокот грома.
 Сто сорок коек по три в ряд,
 Курсанты спят, курсанты дома.

Им снится странный старый край,
 В котором нет стекла и стали,
 Лишь золотистая искра,
 Звезда на темном шелке дали.

Сто сорок снов из той страны,
 Где убивают только звери.
 Они еще совсем юны,
 Им трудно ни во что не верить.

«В ружье!» Шальные голоса.
Сто сорок торопливых стуков.
Бездумны мутные глаза
И механические руки.

Не слышно слов, не видно лиц,
Седое небо. Серо, сыро.
Сто сорок будущих убийц
Застыли перед командиром.

МОНОЛОГ ПОЭТА

Вы лжете. Вы лжете. Вы лжете. Вы лжете.
Но ложь ваша веком взметенный гранит.
А песня моя как стрела на излете
Уже никого, никогда не сразит.
Когда вы снова настойчиво, грубо
Будете бить меня за стихи и прочее,
Я вынесу кровью набухшие губы
Прочь
К земле, которой орете вы: «да здравствует!»
Глотками, охрипшими от вина,
Я прижмусь по-сыновьи ласково,
Потому что она у меня одна.
Прижмусь и заплачу на пыльной дороге
Под тихие сказки дня;
Родина,
Ты смотришь нестрого,
Родина, ты простишь меня.
Простишь – хоть забрел я в далекие джунгли,
Замкнулся на ключ, не понял жизни,

Спаленной мечты почерневшие угли
Храню как сказочный джин.
Простишь и откроешь закрытые двери
В небесную синюю даль,
За то, что я очень-очень верил
За то, что я очень-очень ждал.
Голову тихо одует ветром,
Глаза засиренит ширь,
Рядом встанут ритмы и метры,
Рифмы прикажут: пиши.
И тонким, красивым, жгучим стеклом
Просвищет стих, ожигая лбы,
И вся пугливая медленность века
Взовьется от этих строк на дыбы.
И тогда, разрешения не спрашивая,
Шатну, плечом знаменитостей смяв:
– Уважаемые, была пора ваша,
Теперь пора моя!

Из очень большой, временами бесформенной поэмы «На грани» мы предлагаем фрагмент, характеризующий эпоху конца правления Сталина и начала ветра перемен над Советским Союзом:

Мы шли путем, ползущим круто,
Поверив в искренность оаций.
Шли, ослепленные салютом
И мишурою демонстраций.
Лишь иногда мельком казалось,
Что есть иное в этом мире:
Письмо от брата. Не с вокзала.

С этапа по пути к Сибири.
 Он был красив на фото старом,
 Высок и прям в костюме черном.
 Им все гордились: славный парень.
 Теперь боялись: заключенный.
 Нам было больно и болела
 Душа по-детски в первых муках:
 – Скажи мне, мама, что он сделал?
 Ответь мне, мама, почему так?
 И мать шептала нам порывом,
 К губам прижав платок помятый:
 – Молчи, сынок, молчи, как рыба,
 Не то пойдешь дорогой брата.
 Нам было страшно. Мы молчали,
 Узнав большого мира сложность,
 Мы постепенно различали
 Границы слов «нельзя» и «можно».
 Нельзя сказать о том, что в сердце,
 Своей дорогой мир измерить,
 Нельзя стихом разрушить серость,
 Свободно думать, петь и верить.
 Что можно? Много: быть серым.
 Молчать, всего вокруг пугаясь,
 А по приказу свыше первым
 Кричать с апломбом попугая.
 Быть тихим, не соваться в пекло,
 Пока указ на то не вышел,
 И быть обычным человеком,
 Но, ради всех святых, не выше.
 И мы учились лгать, не веря,
 Как все, согласно директиве,

И новый домик с светлой дверью
 Считать, как все, мечтой красивой.
 Весь мир машин, цветов и стали
 Для нас был школой фарисейства.
 Мы научились быстро: «Сталин!
 Спасибо вам за наше детство».
 И вот мы вышли образцовы.
 Приличны – сталинские птицы.
 Взамен сердец кумач пунцовый,
 Взамен голов – передовица.
 Мы вышли жить, как жили папы,
 Их опыт изучив до точки:
 Пить водку, потихоньку хапать,
 И строить дачку за лесочком.
 Потом, удачно предав друга,
 Устроиться в приличном главке,
 Обзавестись семейным кругом,
 Любить себя, жену и ставки.
 Ну, а закончив путь житейский
 Заслуженным пенсионером,
 Служить друзьям и сыну веским
 Незабываемым примером.

И даже звезды ярче заблестали,
 Снег лег на брови праздничной каймой.
 «Вы слышали? Позавчера читали!»
 «Вы слышали? Закрытое письмо.
 Конечно, прямо так не говорится.
 Но смысл такой, что Сталин был тиран».
 Откуда-то вдруг появились птицы,
 Хотя указ на то и не был дан.

Весна, не предусмотренная свыше,
 Была все ближе, ближе с каждым днем
 И грязный снег, до скрипа рвущий крыши
 Грозил сорваться яростным дождем.
 На окнах робко раздвигали шторы,
 И вдруг – концерт, скрипач, орущий зал.
 Он встал над залом клятвой и укором,
 Смеясь и зля над залом гулким встал.
 И там, где логикой и оптимизмом сытым
 Клялась и кланялась заученная речь,
 Взлетела плеть бетховенской сюиты
 Над сгибами бескрыло гнутых плеч.
 И зал поник. Мираж надежды таял.
 Из тьмы сердец и душ через века
 Рванулся стон – бессильная, глухая
 Углами ртов зажатая тоска.
 И только пальцы, сжатые до хруста
 Мгновенно доказали без цитат,
 Что в этом мире лишь диктат искусства
 Единственно приемлемый диктат.
 Лишь узкий гриф был четок в смутном чаде,
 Как ствол нагана, странный и прямой.
 Скрипач играл. И зал просил пощады.
 Оваций не было. Была весна зимой.

НА ЗОВ ОКЕАНА

Он был большим любителем экзотики, и он купил крошечных альбатросов у старого рыбака и растил их в своем кабинете.

Альбатросы в неволе росли плохо, были совсем не похожи на птиц, а когда он понял, что им приходит конец, унес их на берег.
 Умирать. Он был добрый человек.

Альбатросы были еще живы и под соленым ветром они исправили изломанные крылья, они полетели умирать, как сказал старый рыбак, на зов океана, ведь они были альбатросы – орлы океана.
 Будет утро. Спеша, догорают зарницы.
 Только крыльям усталым не звенеть до утра...
 Мы летим умирать, мы свободные птицы,
 Мы на зов океана летим умирать.
 Наши деды умели бросить ключ свой над миром,
 Нам отцы завещали вещать ураган.
 Мы ручные, нас сделали люди рабами,
 Наши крылья сломал их спокойный уют,
 Но они не убили, океан, твою память,
 Потому что о воле твои волны поют.
 И теперь мы бессильны. Тяжелы для полета,
 Слишком стары. Нас бросили, чуя беду.
 Но мы живы еще. Твой тоскующий рокот
 Ловит чуткое сердце в смертельном бреду.
 Будет утро. Спеша, догорают зарницы,
 Только крыльям усталым не звенеть до утра.
 Мы летим умирать. Мы свободные птицы,
 Мы на зов океана летим умирать.

Послесловие от редактора-составителя книги:

Обе статьи А.А. Чернышева мы показали вдове поэта Тамаре Константиновне Назаровой, живущей ныне в Голландии, учли ее

пожелания. В письме Тамары Константиновны на мое имя есть такие строки: «Я с уважением и благодарностью вспоминаю Андрея Чернышева за его долгую память о Вячеславе Назарове, за хранение его стихов, написанных в студенческие годы. Я познакомилась с Андреем в 2005 г. и ездила к нему, чтобы переписать из его тетрадей стихи Вячеслава. Многие любили поэзию В. Назарова. И вот в 2018 г. при поддержке Красноярского представительства Союза российских писателей издана книга стихов Вячеслава Назарова «Теория невероятности», около 290 стр., куда вошли ранее ненапечатанные его стихи. Это чудо!» Тамара Константиновна сообщила, что ранние стихи В. Назарова опубликованы и на его сайте (www.nazarov.hostfree.ru), и еще раз, уже в другом письме, сказала о том, что «благодарна Андрею Чернышеву за сохранение многих ранних стихов В. Назарова, которые она переписала из его студенческих тетрадей».

Артём ЛЫСЕНКО

Предисловие «От автора» к книге «Открывая новые горизонты»¹

«Открывая новые горизонты» – эти слова лет 30–35 назад не раз повторял мой любимый университетский учитель, профессор Александр Васильевич Западов. Он подыскивал заголовок для своей новой большой проблемной статьи. Статья, в конце концов, получила другое название. Но его первоначальный вариант «Открывая новые горизонты» стал для меня постоянно работающим девизом: об этом должен помнить ученый, задумывая новый труд. Мало быть эрудитом, знатоком новой научной проблемы. Нужно еще наметить направление, пути для тех, кто придет позже тебя. И вспоминая Западова, я беру его мудрые слова как заголовок своей итоговой поздней книги.

Моя жизнь на всех ее этапах была связана с факультетом журналистики МГУ. Сначала пять студенческих лет, потом, после аспирантуры, тридцать лет преподавательских. Читал курсы «Литература эпохи Пушкина», «Литература эпохи Гоголя», «Литература эпохи Великой Отечественной войны», обзорный курс для иностранных студентов «Русская литература 1920–1940-х годов». Среди разработанных мною спецкурсов – «Драматургия, театр, кино начала XX века», «Автор «Детей Ванюшина» Найденов», «Полемика: “Кто победит: театр или синематограф? От манифестов к научному исследованию кино”». Руководил спецсеминарами: «Осознание кинематографа как

¹ Чернышев А.А. Открывая новые горизонты. – М.: Паблик, 2017.

нового вида искусства», «Первые русские журналы и газеты и кино», «Писатели о будущем кино (Андрей Белый, Чуковский, Серафимович)», «Становление системы кинозвезд», «Эпоха Пушкина: писатели и публицисты «второго ряда»».

Мои главные научные работы 1970–2000-х гг. связаны с ранней русской киножурналистикой и творчеством Марка Алданова в эмиграции: сначала во Франции, Германии, затем в США. Все эти годы я считал важным отыскивать неопубликованные тексты крупных авторов, в первую очередь Алданова, и знакомить с ними читателей. Идеальной формой представить результаты исследований, подготовить читателя к серьезной работе вижу предисловие к собранию сочинений, книге или статью в серьезном журнале. Так я работаю последние десятилетия.

В результате статьи многих лет, вызывавшие отклик у читателей и исследователей, оказались разбросанными по многочисленным изданиям. В этой книге материалы собраны вместе, заново отредактированы и введены в контекст современности. Они и составляют содержание книги. На первый взгляд может показаться, что тексты обоих разделов разнородны. Однако связь между ними есть. Она не бросается в глаза, но подчиняет себе повествование. В книге читатель знакомится с двумя гранями двух эпох, лицами которых стали В. Маяковский, А. Куприн, В. Набоков, И. Бунин, К. Чуковский, публицист Василевский (Не-Буква), А. Ханжонков и многие другие. В одном разделе книги речь идет о судьбе и творчестве и по сей день недооцененного крупного русского писателя эмиграции Марка Алданова, в другом – о ранней русской киножурналистике, спутнике нового искусства, ворвавшегося в жизнь массового зрителя в начале двадцатого века. В обоих случаях горизонты для читателей, литературоведов, критиков, искусствоведов и в самом деле несколько раздвигаются. Ранняя русская киножурналистика по свежим следам появления на экране первых русских фильмов

распахнула двери к осмыслению ярчайшего нового явления в искусстве. А Марк Алданов, его творчество, стали открытием одной из граней замечательной литературы русского зарубежья, кроме Бунина и Набокова почти не известной нашему читателю.

Считаю важным помянуть ученика, моего друга на протяжении последних двадцати с лишним лет, Артема Валерьевича Лысенко. Он много и вдохновенно сделал для того, чтобы эта книга могла выйти в свет. Артем Лысенко своим энтузиазмом заразил меня, вливал в меня бодрость и силу для завершения работы, внимательнейшим образом готовил каждую страницу текста к печати, провел всю организационную работу. По справедливости я бы говорил «мы» применительно к этой книге.

В рукопись в разные годы было вложено много труда и любви не только автора, но и замечательных людей, встретившихся на его пути.

*Андрей Чернышев
Москва, май 2017 г.*

Печать русской эмиграции в Берлине

Надеюсь, читатель, закончив книгу Артема Лысенко, вы по достоинству оценили ее. Я не буду вдаваться в подробный разбор книги – это задача рецензента, ограничусь лишь несколькими общими соображениями, возникшими при чтении. Прежде всего, это первая отечественная монография, посвященная системе русскоязычной прессы за рубежом, взятой на одном из интереснейших этапов развития, этапе становления, начала всех начал.

Артем Лысенко рассматривает журналистику русского Берлина, точнее, ее ранний период, до прибытия так называемого «философского парохода». В Германии начала 1920-х гг. русские беженцы ощутили на себе проявления массовой озлобленности, ксенофобии, увидели, как пробиваются первые ростки фашизма. Получило широкую огласку убийство В.Д. Набокова во время собрания в Берлине. Обстоятельства, связанные с военным поражением Германии, непосильными репарациями, галопирующей инфляцией, наложили отпечаток и на русскоязычную печать.

Тем не менее, Берлин на протяжении первой половины 1920-х гг. продолжал оставаться центром русской эмиграции, ее культурной столицей. Артем Лысенко приводит поразитель-

Послесловие А.А. Чернышева к книге А.В. Лысенко «Голос изгнания. Становление газет русского Берлина и их эволюция в 1919–1922 гг.». – М.: Русская книга, 2000.

ный и многим не известный факт: в 1919 и 1924 гг. в Берлине вышло книг на русском языке больше, чем в России. Хотя русскоязычные газеты выходили в десятках городов, отнюдь не только в Берлине, берлинская журналистика занимала преобладающее положение, «Руль» И.В. Гессена распространялся по всей Европе и даже публиковал коммерческую рекламу, предназначенную жителям других городов.

Однако такое положение сохранялось недолго, с середины 1920-х гг. культурной столицей «России вне России» становится Париж, и в журналистике русского зарубежья на первый план выходят парижские издания: газета П.Н. Милюкова «Последние новости» и толстый журнал «Современные записки» относятся к лучшим изданиям межвоенного периода, объединяют блестящие творческие силы.

Глеб Струве в своей «Русской литературе в изгнании» свидетельствует, что и самым известным писателям предоктябрьской поры в эмиграции заново приходилось утверждать свой авторитет, произошла значительная переоценка ценностей. То же в журналистике. Артем Лысенко отводит большое место антологии газетных статей берлинского периода. Обращает на себя внимание их высокий профессиональный уровень. И в самом деле, в газетах, печатавших публицистику Бунина, Мережковского, Алданова, Петра Струве, просто нельзя было писать плохо. Берлинский период стал школой мастерства для целого ряда замечательных журналистов, чей талант раскрылся позднее в Париже. Журналистская среда была более демократической, чем писательская, и одновременно более политизированной: газета жила злобой дня.

Слово «диаспора», рассеяние, тоже вошло в русский язык через прессу русского Берлина. Оно оказалось живучим и очень уместным. Судьба разбросала наших соотечественников по городам и странам. Повсюду они составляли незначительное

меньшинство населения, не владели, как правило, иностранными языками, и на русскоязычные зарубежные издания сразу же возник устойчивый спрос. По сравнению с дореволюционными изданиями в русских зарубежных усилилась организаторская функция: они то устраивали сборы пожертвований в пользу нуждающихся, то договаривались с врачами о бесплатных приемах для подписчиков, то публиковали материалы о правилах получения различных социальных льгот. Но главное, как вполне справедливо отмечает автор книги, они предлагали читателям тот русский взгляд на события, которого, разумеется, не могла дать немецкоязычная пресса.

Политические симпатии читателей варьировались в широком спектре от монархических до левоэсеровских, создать для каждой подобной группы отдельную газету в зарубежье не представлялось возможным, кроме того с давних пор существовала традиция русской печати: издания отстаивают какую-то определенную точку зрения, не допускают разномыслия главных статей. В русском Берлине сразу же закономерно вышли на первый план центристские газеты. Утверждая, будто она не похожа на других, каждая вступала с конкурентами в полемику, но слишком далеко от центристских позиций ни влево, ни вправо не уходили. Пресса приобретала толерантность, на ней появлялся европейский лоск.

Толерантность исчезала сразу же, когда газеты обращались к теме революции и Советской России. Началось с неписаного табу на любые положительные оценки революции. Чтобы подтвердить свои отрицательные оценки, журналисты нуждались в конкретных фактах – но их нельзя было найти в советской печати, а других источников информации, сколько-нибудь надежных, почти не существовало. Эмиграция объединялась на почве непримиримости к Октябрю на основании, как выражается Артем Лысенко, мифологизации действительности. Разли-

чий между более консервативными и более либеральными изданиями в трактовке главной для всех читателей темы на первых порах не было. Непримириемость зарубежных русских газет к «совдепии» зеркально отражала непримириемость советской печати к «белобандитам».

К концу рассматриваемого в книге четырехлетнего периода положение изменилось. Одна за другой в русском Берлине появились две газеты, финансировавшиеся большевиками, и различие их позиций показательно. Первая, «Новый мир», воплощала, читаем в книге, «большевистский взгляд на Советскую Россию» – это была непримиримая ко всем эмигрантским изданиям и к эмиграции как таковой газета. Вряд ли она находила сочувственный отклик у читателей русского зарубежья, а для германских читателей пропаганду из Москвы логичнее было бы вести со страниц немецкоязычной газеты. «Новый мир» был прекращен изданием в начале апреля 1922 г., но чуть раньше, в марте, открылась новая газета «Накануне», отразившая перемену в тактике Москвы в отношении эмиграции: взамен открытой враждебности – ставка на раскол, проповедь возвращения. «Накануне» стала единственной зарубежной русскоязычной газетой, имевшей свое представительство в Москве.

В начале 1920-х гг. шла борьба за Россию после крупнейшего катаклизма, и громадную роль в этой борьбе играли газеты: они стали полигоном отработки самых разных идей возрождения страны, – утверждает автор, и читатель проецирует эту мысль на события современности, устанавливая связь эпох. Актуально читаются и страницы, посвященные сменовеховству и евразийству. Хотя этой теме посвящены десятки работ, она подается Артемом Лысенко сквозь призму газетной полемики и потому звучит оригинально. В книге подчеркнуто значение сотрудничества писателей в газетах, и ценным представляется опыт «Нака-

нуне», где рядом с М. Булгаковым и М. Зощенко выступал тогда еще берлинец, собиравшийся в Москву, А. Толстой.

История русской журналистики как отдельная отрасль науки оформилась у нас в первые послевоенные годы, это были годы ждановщины, цензурного гнета и идеологических табу. Перед новой наукой ставилась задача «беспощадной борьбы с буржуазной идеологией», ее главным и почти единственным объектом изучения стал отряд печати, связанный с революционным движением. Однобокость истории русской журналистики сохранилась до конца 1980-х гг. Немыслимо было даже думать об изучении изданий русской эмиграции, а без них история русской печати XX века представляла неполной. Между тем, эти издания пылились в спецхранах. Когда, наконец, они сделались доступными исследователям, к ним возник устойчивый повышенный интерес. Итогом целой серии публикаций стал недавно вышедший в свет том «Литературной энциклопедии русского зарубежья», посвященный газетам и журналам. Однако книга Артема Лысенко свидетельствует, что тема отнюдь не исчерпана. Нужен, в частности, обобщающий труд о печати русского Берлина, где были бы представлены не только газеты, но и журналы, повествование доведено до 1925 г. – до конца периода, рассмотрена важная газета А.Ф. Керенского «Дни».

Думается, подготовить такой труд – следующая большая задача, стоящая перед историками русской журналистики в изгнании, в том числе, молодым ученым Артемом Лысенко.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
доктор филологических наук, профессор

Бахметевские сокровища и алмазы Алданова

В этой публикации представлены, с некоторыми сокращениями, предисловия А.А. Чернышева к четырем подборкам переписки Марка Алданова с видными представителями русского зарубежья – писателями, деятелями культуры, политиками и т.д. в основном на протяжении 1940-х – 1950-х гг. прошлого века. Подборки были подготовлены к печати, прокомментированы, снабжены примечаниями доктором филологических наук, профессором А.А. Чернышевым в основном в результате работы над материалами фонда Марка Алданова в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке и опубликованы во второй половине 1990-х гг. в журнале «Октябрь».

Возможность продолжительной и тщательной работы Андрея Александровича в Бахметевском архиве (так же как и в Библиотеке-архиве Российского фонда культуры в Москве) с последующей широкой пропагандой многообразного творческого (в том числе эпистолярного) наследия М.А. Алданова в России – судьбоносный и яркий момент в биографии Чернышева. Показ через переписку многих граней жизни на чужбине, воззрений, страданий, радостей и забот выдающихся русских людей зарубежья – одновременно и прикосновение к духовному миру Андрея Александровича Чернышева. Читатель, знакомящийся хотя бы только с предисловиями к подборкам переписки, чувствует напряжение научного поиска их автора, его предпочтения и характер отбора материала; иногда за строгим

научным изложением сути вопроса можно уловить даже эмоции Андрея Александровича, работающего с письмами близкого ему по духу и нравственным принципам писателя.

В первой части нижеследующей публикации печатается предисловие к переписке М. Алданова с В.В. Набоковым, озаглавленной «Как редко теперь пишу по-русски...» (1996, № 1). Вторая часть посвящена переписке писателя с И.А. Буниним («Этому человеку я верю больше всех на земле». 1996, № 3). Третья часть – предисловие к политической переписке М. Алданова («Они служили своим идеям, и служили им с честью...» 1996, № 6) с А. Керенским, Г. Струве, С. Мельгуновым и др. Последняя, четвертая, часть предваряет литературную переписку Марка Александровича («Приблизиться к русскому идеалу искусства...» 1998, № 6) с Б. Зайцевым, И. Репиним, М. Осоргиным, Б. Бахметевым, Г. Адамовичем, Г. Ивановым, В. Маклаковым, Н. Тэффи и др.

I

Вниманию читателей предлагается переписка Владимира Набокова и Марка Алданова 1940–1956 гг. Говорить о популярности этих двух писателей в сегодняшней России – это значит, кажется, повторять общие места. Отмечу только, что именно журнал «Октябрь» первым в 1986 г. познакомил отечественную читающую публику с лирикой Набокова, что на его страницах в судьбоносном 1991 г. появился роман Алданова о ленинской эпохе «Самоубийство», а другой его роман, «Начало конца», вообще был впервые напечатан полностью по-русски в «Октябре» в 1993 г.: при жизни автора он увидел свет в английском переводе и был удостоен в США престижной литературной награды, но на русском языке печатался только в эмигрантских журналах в сокращенном виде.

Переписка Алданова и Набокова никогда не печаталась и за пределами нашей страны. Общепринятый взгляд, что в худо-

жественном творчестве писатель скрывается за созданными им персонажами, а в переписке выступает от первого лица, сбросив маски, справедлив не во всех случаях. Набоков в письмах тот же, что и в своей прозе. Очень близка, например, ироническая тональность изображения нравов эмигрантских литературных собраний в его «Даре» и в его письме Алданову от 18 апреля 1955 г. Алданов же в художественных произведениях язвительный остроумец, эрудит, а в переписке иной, гасит свои обычные резкие сатирические краски. Тому была веская причина: он, издатель журнала, стремился объединить людей разных воззрений, заставить их забыть разногласия, делать общее дело – ирония здесь была бы не к месту.

Письма из фондов Алданова относятся к сороковым и пятидесятым годам, хотя переписка двух писателей, несомненно, началась раньше. У Алданова был обычай сохранять все письма, что он получал, а также машинописные копии своих ответов. Но летом 1940 г. гитлеровцы заняли Париж, его архив был уничтожен, а ему самому пришлось бежать на юг Франции, в Ниццу, где не было немецких войск. Вскоре последовало второе бегство – через океан, в Соединенные Штаты. Несколько раньше проделал свой путь в Америку Набоков. Первое письмо, что мы ниже публикуем, датировано 30-м июля 1940 г.: Набоков уже в США, Алданов хлопочет о визе. По-видимому, сразу по его получении Набоков делает короткую приписку в письме к Алданову историка, профессора Гарвардского университета М.М. Карповича (14 августа 1940 г.).

Эти два документа печатаются по рукописям, хранящимся в Российском фонде культуры в Москве. Все нижеследующие – по текстам, хранящимся в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк, США).

О Бахметевском архиве следует сказать особо. Он назван по имени своего основателя Б.А. Бахметева, крупного ученого в

области гидравлики, посла Временного правительства в США, позднее профессора Колумбийского университета, известного мецената. Когда в 1948 г. в руки большевиков попал Русский заграничный исторический архив в Праге, возникла надобность в создании нового эмигрантского архива. Бахметев выступил энтузиастом этого проекта и положил начало сбору средств. В оргкомитет вошли Алданов, И.А. Бунин, историки М.М. Карпович, Б.И. Николаевский и В.А. Маклаков, А.А. Толстая.

Бахметев скончался 21 июля 1951 г. 19 октября того же года Алданов писал В.А. Маклакову: «Весь смысл идеи покойного Бориса Александровича заключался в том, что основанный нами семью архив в случае освобождения России будет переведен в Москву. Иначе его и основывать бы не стоило». Русский архив согласился принять на хранение Колумбийский университет, и Карпович сообщал Алданову 31 октября 1951 г., что хранители «...согласны и на условие насчет передачи этих материалов будущему правительству свободной России, если такое пожелание кем-либо будет высказано». Из писем Алданова Б.И. Николаевскому: «Как Вы, конечно, знаете, Мосли согласен на отдачу частных архивов в Москву или Петербург после освобождения России» (12 января 1952 г.). «Да, так и надо будет поступить: впоследствии передать Академии наук» (22 января). Насколько известно, договоренность о дальнейшей судьбе архивов была достигнута только в устной форме, не имеется и завещания кого-либо из жертвователей, связанного с возвращением рукописей в Россию после освобождения страны. В 1975 г. архив был наименован Бахметевским. В наши дни Бахметевский архив – крупнейшее в мире собрание русских документов за границей. Пока не предпринимается никаких шагов для передачи его сокровищ в Россию. Однако многие специалисты-историки из стран СНГ регулярно работают в его читальных залах.

Я сказал «сокровищ» – это не преувеличение: здесь собраны рукописи сотен выдающихся эмигрантов – деятелей культуры и искусства, политиков, ученых, военных. Некоторые наши соотечественники, отправляясь на чужбину в годы революции и гражданской войны, увозили с собой драгоценные семейные реликвии, такие, как рукописи Лермонтова и Александра Бестужева; проходили десятилетия – эти рукописи попадали в архив. В Бахметевском архиве имеются фонды семьи Герценов, семьи Набоковых, издателя «Вестника Европы» М.М. Ковалевского, генерала А.И. Деникина, философа С.А. Франка, реформатора театра Н.Н. Евреинова – всех не перечислить!

По гранту американской корпорации IREX я получил возможность в 1994–1995 гг. длительное время поработать в Бахметевском архиве, главным образом над бумагами Алданова. Их там тридцать шесть коробок большого формата, в каждой около тысячи листов. Четырнадцать коробок отведено переписке. Многие письма напечатаны на машинке на двух сторонах листа через один интервал.

Никто из отечественных или зарубежных исследователей никогда систематически не изучал этот огромный материал. Но его значение далеко выходит за рамки дополнительного материала к биографии писателя, он по-своему характеризует целую эпоху русской культуры. Помимо Набокова, среди корреспондентов Алданова писатели Георгий Адамович, Борис Зайцев, Георгий Иванов, Михаил Осоргин, художники Илья Репин, Марк Шагал, Мстислав Добужинский, композитор Сергей Рахманинов, актеры Аким Тамиров и Михаил Чехов, западные знаменитости Сомерсет Моэм, Клаус Манн.

Как известно, расцвет эпистолярного жанра в России приходится на 1830-е гг.: впервые в стране начали писать письма на русском языке (до этого переписывались на французском); сразу же возникла мода на частые частные письма, письма ста-

ли неотъемлемой частью художественной литературы, их включали в свои произведения и поздний Пушкин, и Марлинский. Одоевский и молодой Тургенев писали романы, повести, целиком состоящие из писем. Гоголь развязку «Ревизора» связал с перехватом в почтовом ведомстве письма Хлестакова. Золотой век русской эпистолярной литературы возник на исходе Золотого века литературы.

Теперь мы можем констатировать бесспорное положение: у русской эпистолярной литературы был еще и Серебряный век. Он тоже возник на исходе Серебряного века литературы, но ограничился только зарубежьем, в тоталитарном Советском Союзе его, по вполне понятным причинам, не было. Когда эмиграция разбросала по свету тысячи лучших людей страны, они вынуждены были отказаться от давней привычки постоянного личного общения и попытались его заменить регулярной перепиской. В архивах деятелей культуры русского зарубежья переписка занимает огромное место. Алданов, в частности, в последние годы своей жизни в среднем писал и получал по четыре письма в день! Длинные многостраничные письма менее всего были связаны с подробностями каждодневного быта, центральное место в них занимали судьбы эмиграции, России, русского искусства. В последние годы художественные произведения писателей-эмигрантов прочно вошли в круг чтения образованных россиян, но их переписка еще ждет публикации. Вполне естественно, до нее, как говорится, часто не доходили руки у зарубежных русских издателей. Хотя бы частично восполняя этот пробел, журнал «Октябрь» предполагает поместить в одном из ближайших номеров материалы переписки Алданова с Буниным, а затем страницы переписки других мастеров русской литературы и культуры в изгнании.

Один из них, Ю. Иваск, афористически сформулировал: «Эмиграция всегда несчастье, но далеко не всегда неудача».

Разлука с родной языковой стихией заставляла острее чувствовать силу и красоту родного языка. Уединение способствовало творческой работе, неспешному, бережному отношению к тексту. Они ближе знакомились с европейской культурой, им становился присущ европеизм. На чужбине не приходилось рассчитывать ни на славу, ни на богатство. В нью-йоркском «Новом журнале» в бытность Алданова редактором, например, гонорар составлял всего-навсего один доллар за страницу художественной прозы и семьдесят пять центов за страницу публицистики. Что до славы, откуда ей было взяться, когда тираж исчислялся сотнями, а не тысячами экземпляров, причем книга по цене многим компатриотам оказывалась недоступной. Писатель оставался без читателя, стимулом творчества становилось только «не могу не писать», осознание призвания, миссии. Свое произведение, как запечатанную бутылку с посланием, автор бросал в волны истории, уверенный, что придет и для нее свой черед в России.

Из того же источника, убежденности в своей правоте – «правда на нашей стороне», – происходила и бережность писателей к старым письмам. Сдавая их в архив, Алданов ставил лишь такое ограничение: пока живы отправитель и получатель или хотя бы один из них, чтение и публикация для третьих лиц запрещены.

Но в 1943 г., готовя для публикации в журнале статью М.В. Вишняка, в которой широко использовались фрагменты из писем скончавшегося в 1939 г. В.Ф. Ходасевича, Алданов столкнулся с проблемой: в письмах содержались негативные, порой уничижительные оценки ряда здравствующих или совсем недавно умерших литераторов. Снять эти оценки означало бы, пользуясь его выражением, «фальсифицировать» письма, а оставить их значило бы бросить тень на достойных людей. Алданов предпочел первое. 27 ноября 1943 г. он писал Вишняку:

«Я отнюдь не уверен, что Ходасевич хотел бы увидеть напечатанным все им сказанное. В конце концов, в «Возрождении» он почти все это мог напечатать (или значительную часть) и не печатал. Мало ли что пишется в письмах». В письме к Е.Д. Кусковой от 3 сентября 1956 г. он возвращался в более общем плане к той же теме: «Кое-что, особенно личное, опускать можно и нужно; отказаться же от воспоминаний о важных делах, по моему, нельзя».

За давностью лет надобность в купюрах резких и несправедливых оценок отпала, «река времен в своем стремлении уносит все дела людей» (Г.Р. Державин). Но надобность сократить при публикации писем личное, важное только для двух корреспондентов остается, по крайней мере для журнальной публикации. По этому пути было решено пойти и в публикации, предлагаемой ниже.

Приношу глубокую благодарность Бахметевскому архиву Колумбийского университета и Библиотеке-архиву Российского фонда культуры.

II

Переписка Бунина и Алданова продолжает цикл, начатый в № 1 журнала «Октябрь» за 1996 г. перепиской Алданова и Набокова.

Алданов долгое время находился в центре литературной жизни русского зарубежья, и его переписка – настоящий кладезь сведений об эмигрантах первой волны.

Мы с моим американским коллегой, профессором Николасом Ли из университета штата Колорадо, называли отношения Набокова и Алданова дружескими. Но это была дружба на отдалении, ограниченная резкой разницей характеров.

Дружба Бунина и Алданова иного рода, ее характерные черты – открытость до самого конца, душевное родство, предель-

ная трогательная заботливость. Здесь разница характеров не мешала близости. За почти три с половиной десятилетия ни одной даже самой малой размолвки, не говоря уже о ссоре. Такая писательская дружба – очень большая редкость.

Дело, наверное, в том, что каждый писатель живет в некоем двоимирии: одновременное в реальном мире и в мире, созданном его воображением, населенном вымышленными героями. Придуманые миры у двух писателей, если они не соавторы, не совпадают, и не стоит, например, удивляться эстетической глухоте Тургенева: когда появился номер «Русского вестника» с отрывками сразу из двух великих романов, «Преступления и наказания» и «Войны и мира», он решительно забраковал оба; в первом ему не понравились «тухлятина и дохлятина больничного направления», а во втором он нашел «мелкоту и какую-то капризную изысканность». Бунину и Алданову удалось подобной эстетической глухоты избежать.

Они познакомились в Одессе в марте 1919 г., за две недели до того, как город был захвачен большевиками.

Кажется, не было ни малейших шансов, чтобы знакомство переросло в дружбу: Бунин на 16 лет старше, он знаменитейший писатель земли русской, почетный академик Академии наук, лауреат Пушкинской премии. Ученый-химик Алданов только начинает свой путь в литературе: в 1915 г. вышла его книга «Толстой и Роллан». В 1917 г., цитирую его автобиографическую заметку, он был «и политически, и лично очень близок с членами Временного правительства», в конце 1918 г. он секретарь межпартийной делегации, в нее входил и П.Н. Милюков, пытавшийся получить в Париже и Лондоне оружие для борьбы с коммунистами в России. Первая дневниковая запись в совместном дневнике Буниных, связанная с Алдановым, датирована 12 марта 1919 г.: «Молодой человек, приятный, кажется, умный. Он много рассказывал о делегации, в которой был секретарем».

Оба одинаково оценивали происходившие политические события. Через несколько дней после знакомства с Алдановым, 24 марта 1919 г., Бунин записал в дневнике: «Большевики приносят с собой что-то новое, нестерпимое для человеческой природы. И мне странно видеть людей, которые искренне думают, что они, т.е. большевики, могут дать что-нибудь положительное». Возможно, их первый разговор касался и книги публицистики Алданова «Армагеддон» – она чудом вышла в свет в Петрограде в 1918 г. и сразу была изъята; ироничный автор в ней утверждал, что Ленин нужен... «для торжества идеи частной собственности!» Бунин же, по-видимому, замышлял свою будущую знаменитую книгу публицистики «Окаянные дни».

Обоих писателей ждала одна и та же участь – эмиграция. Как сложилась бы их судьба, если бы они не уехали? Представляются арест или гибель в страшные годы Гражданской войны, в лучшем случае принудительная депортация в 1922 г. вместе с другими интеллигентами, составлявшими цвет предреволюционной культуры. Но нельзя и вообразить себе ни Бунина, ни Алданова, требующими казни троцкистам, поющими гимны Сталину.

Они снова встретились уже в Париже, и Алданов постепенно начинал играть в жизни Бунина все большую роль. То он пытался привлечь Бунина в редколлегию первого толстого журнала русской эмиграции, то Иван Алексеевич, когда умер его брат Юлий, сразу, как отмечено в семейном дневнике, «побежал» к Алданову. Они вместе встречают Новый 1922 год. В 1921 г. Алданов дебютировал в художественной литературе – повесть «Святая Елена, маленький остров» и начальные главы романа «Девятое термидора», напечатанные в парижском журнале «Современные записки», сразу выдвинули его в первые ряды зарубежных русских романистов. Порой два писателя спорили. Бунин никак не мог смириться с язвами и пороками западной

цивилизации, Алданов, убежденный, что «мир во зле лежит», относился к ним спокойно. Под датами 30 января – 12 февраля 1922 г. Бунин записал в дневник: «Гнусная, узкая улочка, средневековая, вся из бардаков... Вышли на Avenue de l'Opera, большая луна за переулком в быстро бегущих зеленоватых, лиловатых облаках, как старинная картина. Я говорил: «К черту демократию!», глядя на эту луну. Ландау¹ не понимал: при чем тут демократия?»

Алданов переехал в Берлин, тогдашний центр русского издательского дела за рубежом, и началась его регулярная переписка с Буниным, продолжавшаяся до смерти Бунина в ноябре 1953 г. Им было суждено встречаться сравнительно редко, каждая встреча превращалась в праздник. Но обычно даже чаще, чем раз в неделю, они слали друг другу на протяжении десятилетий длинные подробные письма. До нас дошло около тысячи, значительная часть переписки пропала. Эмигрантская незавидная участь – переезды из города в город, из страны в страну. Летом 1940 г., перед вступлением гитлеровских войск в Париж, Алданов спасается бегством, захватив один чемоданчик. Его архив погибает. Бунин имел обыкновение писать письма от руки, в одном экземпляре. Его письма Алданову 1920–1930-х гг. оказались безвозвратно утрачены. «Рукописи не горят», но эти сгорели. Однако в архиве Бунина в Лидсе (Шотландия) алдановские письма сохранились; таким образом, их переписка довоенных лет предстает перед нами как фотография двух лиц, от которой оторвана половина.

Впрочем, и эта уцелевшая часть – ценный документ эпохи. По письмам можно проследить, как шла работа Алданова над его произведениями, установить, что Бунин их высоко оценивал, – об этом свидетельствуют рассыпанные в тексте Ал-

¹ Настоящая фамилия Алданова.

данова многочисленные благодарности. Мы узнаем характерные детали эмигрантского житья-бытья, прочитав о том, как было воспринято решение А.Н. Толстого вернуться в Москву. С 1922 г. началась кампания за присуждение Нобелевской премии Бунину. Алданов вначале выступал за то, чтобы добиваться присуждения премии сразу трем зарубежным русским писателям: Бунину, Мережковскому и Куприну. Затем на протяжении целого десятилетия, пользуясь канцелярской терминологией, «проводил работу» в поддержку кандидатуры Бунина, хотя, по свидетельству рижского еженедельника «Для вас», сам имел основания претендовать на высокую награду.

Своеобразно дополняет письма Алданова его статья «Об искусстве Бунина», опубликованная в парижской газете «Последние новости» в том самом номере, в котором было объявлено о присуждении Бунину Нобелевской премии. В переписке Алданов, как и Бунин, никогда не объясняет, почему то или другое произведение ему нравится или не нравится, в статье он выступает как литературовед, дает блестящий разбор бунинского рассказа, он патриот, взволнованный триумфом отечественной литературы в изгнании.

Но самая важная часть предлагаемой ниже публикации – переписка Алданова и Бунина 1941–1953 гг. С 1941 г., со времени своего переезда в США, Алданов вновь собирает архив. Хранит он не только бунинские письма, но и свои ответы – он имел обыкновение печатать письма на машинке в двух экземплярах. Когда рядом находятся письма и ответы, появляется возможность сопоставить позиции, проникнуть в суть диалога.

Однако случилось так, что отдельные части переписки двух писателей были напечатаны в разные десятилетия и порознь, хотя и в одном и том же нью-йоркском «Новом журнале»: в 1965 г. только отрывки из писем Алданова к Бунину (по матери-

алам архива Бунина в Лидсе, публикация профессора Милицы Грин), через много лет – письма Бунина к Алданову (по материалам Бахметевского архива, публикация профессора Ватерлооского университета, Канада, А. Зверса). Придет время, и эта переписка, несомненно, будет опубликована в нашей стране полностью, это будут, наверное, два увесистых тома с обширными комментариями. Пока же мы печатаем из нее только отдельные выбранные места, изнутри раскрывающие контуры духовного мира двух очень интересных и непохожих людей, выдающихся русских интеллигентов.

Бунин, импульсивный и эгоцентричный, был человеком трудного характера, часто шел на разрыв даже с многолетними друзьями. Тэффи однажды пошутила: «Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации – Объединения людей, обиженных Буниным». К старости его нетерпимость возросла еще более. В 1950 г. вышла его последняя книга «Воспоминания», в ней он о выдающихся ушедших из жизни современниках отзывался так резко, что это было воспринято как скандал. В письмах к Алданову он с такой же резкостью писал и о живых собратях по перу, не делал исключения даже для Набокова. В 1948 г., вконец испортив отношения с редакцией, прекратил сотрудничество в «Новом журнале», в 1952 г. едва всерьез не поссорился с руководством Издательства имени Чехова.

И вместе с тем, читая впервые публикуемые в нашей стране письма Бунина к Алданову, нельзя не подпасть под его обаяние, нельзя, кажется, не влюбиться в него. 80-летний, полунищий, больной, очень слабый физически, он поражает силой духа. Иронизирует над самим собой, подписывается то «Ваш бывший Хохол Удалой», то «Ваш жалкий юбиляр», то даже «Тот, кто получает пощечины». Беспощаден к себе и ждет такого же нравственного максимализма от окружающих.

Его последнюю книгу художественной прозы, сборник рассказов «Темные аллеи» (1943, 1946) не оценили по достоинству ни читатели, ни критики. Она открывала новые горизонты для литературы, расширяя пределы допустимого в описаниях любовной близости, самого сокровенного. Противоречила тогдашней общепринятой, особенно в Америке, чопорности и обгоняла свое время. Крупный нью-йоркский издатель Кнопф, отклоняя английский перевод, высказался, что «Темные аллеи» ничего не добавляют ни к славе Бунина, ни к его кошельку. Что касается славы, история рассудила иначе.

Алданов был человеком иного склада, иного темперамента. Это исторический писатель, о котором говорили, что не только его мыслям, но даже чувствам присуща научность, эрудит, всю жизнь размышлявший о связи эпох. Он был одним из основателей нью-йоркского «Нового журнала», единственного в годы войны серьезного русскоязычного журнала за пределами СССР. На редакторской работе раскрылся его своеобразный талант дипломата: находить компромиссы, гасить страсти, сохранять присутствие духа в тяжелых ситуациях, он всегда был ровен, ко всем благожелателен. Еще был гением трудолюбия: только за последние восемь лет жизни выпустил пять романов, сборник рассказов, философский трактат и научный труд по химии. Считал, что на старости лет для писателя единственной радостью является творческая работа.

На протяжении десятилетий в отношениях с Буниным Алданов неизменен: восхищается талантом Бунина, признает его писателем более крупным, чем он сам, гордится близостью к нему, трогательно о нем заботится. До получения Нобелевской премии Бунины бедствовали – Алданов организовывал бридж с участием богачей, весь выигрыш шел в пользу Буниных. В голодные годы войны, едва Париж освободили от немцев, начал слать бесконеч-

ные продовольственные посылки разным писателям, Буниным, конечно же, в первую очередь. После войны – Бунин очень стар и беден – много раз предпринимал для него сбор средств.

Когда в 1948 г. Бунин, поссорившись с влиятельной сотрудницей нью-йоркского «Нового журнала», решил прекратить свое с ним сотрудничество, Алданов ушел из редакции вслед за ним. Это был поступок мужественный, поступок настоящего друга: печататься русским эмигрантам в первые послевоенные годы было почти нигде.

Он получал множество писем, в которых ему предлагалось от Бунина отвернуться. Дескать, роль Бунина в русской литературе сыграна, нынешней своей деятельностью он только бросает на нее тень. Одно из таких писем было от профессора университета штата Флорида Г.Д. Гребенщикова, автора многотомной эпопеи «Чураевы». Гребенщиков писал: «Вопрос тут не о пятнах на солнце, а о том, что часто мы принимаем за солнце давно умершую звезду». Искусители старались вбить клин в отношения двух писателей, но безуспешно. Алданов решительно стоял на своем: Бунин – гордость русской литературы XX столетия, Бунин – живой классик. Рецензию на «Лику» еще в предвоенные годы Алданов начал такими словами: «Лучше писать просто невозможно. Бунин творит поэзию из всего, о чем бы ни писал».

И в переписке, и в статьях Алданов, обычно скептический и ироничный, становится поэтом, когда касается бунинского творчества. «Чем больше живу, тем больше Вас люблю. О «почитании» и говорить нечего: Вы, без спора и конкурса, самый большой наш писатель», – это строки из его письма 1928 г. Тот же пафос в его выступлении на бунинском юбилейном вечере в Нью-Йорке в 1951 г. Однажды Алданову, редактору «Нового журнала», было необходимо заменить одно слово в бунинском рассказе. Он сообщал об этом Ивану Алексеевичу в таких вы-

ражениях: «Убьете ли Вы меня, если я скажу, что изменил одно слово в «Чистом понедельник»?» Когда Бунин умер, Алданов написал некролог. Кажется, не чернилами, а кровью: смерть Бунина он понимал как конец целой эпохи в русской литературе.

В свою очередь, Бунин, который был чрезвычайно скуп на похвалы и не видел достоинств почти ни в одном из современников, об Алданове всегда отзывался восторженно. Об отдельных сценах его «Истоков»: «...всплескивал руками: ей-богу, это все сделало бы честь Толстому!» Об исторических вставках в современном романе «Пещера»: «Точность, чистота, острота, краткость, меткость – что ни фраза, то золото». Из года в год он выдвигает Алданова на Нобелевскую премию.

Алданову это было, безусловно, лестно, но он отдавал себе отчет в том, что Нобелевскую премию ни в коем случае не дадут второй раз русскому эмигранту.

Была ли возможна дружба, если бы писатели были равнодушны или, более того, враждебны один к творчеству другого? Порою объясняли взаимные литературные похвалы Алданова и Бунина корыстью: Алданов-де взял на себя роль Санчо Пансо при Дон Кихоте во имя получения Нобелевской премии, а Бунин был неискренен и попросту расплачивался комплиментами за материальную помощь. 2 июня 1950 г. графоман-литератор из Амстердама А.П. Буров, избравший псевдоним «Бурд-Восходов», направил Алданову письмо с эпиграфами и завитушками. Сообщив, что письмо «продиктовано мне этой ночью Самим Господом Богом Литературы русской» (сохраняю орфографию автора), он переходил к главному тезису: Алданов – писатель-средняк, который хотел бы войти в большую литературу через знакомство с «известными АЛЛЕЯМИ».

Совершенно невозможно представить себе Бунина и Алданова корыстниками и льстецами. Слова ободрения, которыми

они обмениваются, идут у них, несомненно, от души. Вспомним невзгоды эмигрантской жизни, одиночество, бедность, нужду, и эти слова предстанут перед нами как та спасительная опора, которая давала силы выстоять.

Кажется, история литературы в России не знала случая, чтобы один крупный писатель опубликовал произведение за подписью другого крупного писателя. Попробуйте представить себе, к примеру, что Леонид Андреев подписал свою рукопись именем Горького, – немыслимо! Но в истории Алданова и Бунина, оказывается, подобный эпизод имел место. В 1949 г. приятель Бунина Александр Рогнедов, импресарио и литератор, человек немолодой, но ветреный, обратился к Алданову с необычной просьбой. Для сборника, который он, Рогнедов, готовил для публикации в Испании, Бунин предоставил рассказ, который невозможно напечатать, а между тем сроки поджимают. Имя Бунина анонсировано, а писатель, увы, болен. Не напишет ли по старой дружбе «артикуль» за подписью Бунина Алданов? Не хочется лишить читателя удовольствия проследить за развитием интриги по переписке, но отмечу, что в этом случае, как и во всех других, Алданов дает образец высокой этической культуры, почти утраченной в нашей стране за годы строительства коммунизма.

У них было много общего, помимо писательского дара. Оба были необыкновенно умны, оба обладали почти безошибочным вкусом. Ценили одно и то же в литературе, одно и то же отвергали. Высшим проявлением человеческого гения считали Толстого, написали о нем в разные годы по трактату. Были равнодушны к Достоевскому (Бунин просто враждебен) и к Серебряному веку, одинаково отвергали символизм, футуризм. Советскую литературу высмеивали как «услужающую», но отдельных писателей принимали. Бунин состоял в переписке с Телешовым, встречался с Симоновым, Алданов был высокого

мнения о некоторых произведениях Ал. Толстого, ценил Паустовского, Зощенко и Каверина. Почти одинаково они смотрели и на профессиональные вопросы: какова роль записных книжек для писателя, можно ли полагаться на зрительную память, легко ли «выдумывать» сюжеты.

Сходны были и их политические пристрастия: оба либералы, поборники демократического пути развития, противники тоталитарных систем. О Гитлере, о Сталине даже в пору их триумфов отзывались с презрением, но до конца своих дней восхищались Черчиллем. Книги Алданова в гитлеровской Германии сжигали на площадях, а в Советском Союзе вместе с зарубежными изданиями Бунина их хранили под замком в спецхранах. Россия не забудет, что Бунин в годы Второй мировой войны с риском для жизни укрывал у себя в доме людей, которым грозил арест. Однако у него был непродолжительный неловкий эпизод сразу после войны, когда он чуть не поддался советским посулам – ему обещали золотые горы, если он вернется. Алданов его отговаривал, убежденный, что приезд Бунина в Москву нужен сталинскому руководству только как пропагандистский козырь: «Вы ответственны за свою биографию как знаменитейший русский писатель». Только в наши дни мы можем оценить, насколько он был прав.

Уже после того, как Бунин умер, за несколько месяцев до собственной смерти Алданов начал печатать свой последний роман «Самоубийство». Это был первый в серьезной русской литературе роман о Ленине и ленинской эпохе (подхалимская советская «лениниана» не в счет). В самом начале читаем о герое: «Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили: впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. Только другой, очень

талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем: «Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся: узкие, красно-золотые, зрачки, точно проколотые иголочкой, синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура, сходство необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду: спросил меня – это меня-то! – какой я фракции».

Круг замыкается: в конце пути Алданов цитирует «Окаянные дни», книгу, которую Бунин писал как раз тогда, когда они познакомились.

Когда Бунин умер – гроб еще стоял в доме, – Вера Николаевна, вдова, стала писать Алданову о последних часах его жизни. Алданов после утраты писал ей тоже чуть ли не каждый день, и переписка свидетельствует: тем, что она написала исключительно ценную книгу «Жизнь Бунина», мы тоже обязаны ему – это он подсказал ей замысел, убедил ее взяться за работу.

Сейчас читателю откроется одна из прекраснейших страниц литературной жизни русского зарубежья. Не только оба они, Алданов и Бунин, много потеряли от того, что лучшие свои годы провели на чужбине. Потеряла, прежде всего, Россия, лишившаяся таких людей.

III

Младшее поколение читателей уже и не помнит, что в Советском Союзе эмигрантов первой волны не называли иначе, как белобандитами, и не было страшнее преступления для советского человека, посланного в командировку за рубеж, чем с эмигрантом заговорить; не дозволялось переписываться с родственниками, жившими за границей, и очень опасно было упо-

минать о них в анкетах; разумеется, нельзя было в библиотеке заказать иностранную газету на русском языке. Почему всеильные кремлевские власти так боялись эмигрантов, каковы были эти люди на самом деле? Мы публикуем очень характерную, раскрывающую их духовный мир политическую переписку по материалам фонда Марка Алданова в Бахметевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Публикация продолжает цикл, начатый в №№ 1 и 3 журнала «Октябрь» за 1996 г. В фонде содержатся документы 1941–1956 гг. – от начального этапа второй мировой войны до венгерского восстания. Предыдущие публикации были посвящены переписке Алданова с двумя собратьями по перу, Набоковым и Буниным, круг авторов новой значительно шире. Здесь и профессиональные политики предреволюционной России, в эмиграции ставшие публицистами: А.Ф. Керенский – бывший эсер, В.А. Маклаков – один из лидеров кадетов, Е.Д. Кускова была оппонентом В.И. Ленина в российской социал-демократии. Здесь и видные журналисты, ученые, деятели культуры. Эти духовно богатые, но разные люди были объединены любовью к оставленной отчизне и пронесли свою любовь сквозь десятилетия. «Эмиграция, – писал Алданов литератору Л.Е. Габриловичу 26 февраля 1952 г., – даже в смысле физического здоровья очень тяжелая вещь и изнашивает человека. О моральном и интеллектуальном изнашивании и говорить не приходится. Я по крови не русский, но думаю, что если б я еще раз мог увидеть Россию, особенно Петербург и Киев (где я родился и провел детство), то это удлинит бы мою жизнь – говорю это без малейшей рисовки, без сентиментальности и, думаю, без преувеличения».

Для тех, кто волею судьбы был обречен жить вдали от родины, переписка обладала двойной притягательной силой: она представляла возможность испытать радость от общения с со-

отечественником, она давала возможность хотя бы ненадолго вернуться к родному языку.

Далеко не всегда русские эмигранты жили дружно. Нередко в их среде случались скандалы, а идейные конфликты перерастали в склоки. Способность к компромиссу не в русском характере, мы легко рубим сплеча. Житель Франции князь Борис Голицын иронизировал: «Русской эмиграции нет, есть эмигранты. Когда в Париж попадают двое русских, каждый организует свою церковь и свою партию».

Переписка Алданова – исключение из скверного общего правила. Ему были в высокой степени присущи такие качества, как терпимость, уважительность, готовность всегда быстро откликнуться на просьбу о помощи. Его душевное благородство, несомненно, имела в виду Н.А. Тэффи, когда дала ему лестное прозвище: «Принц, путешествующий инкогнито». «Принца» нельзя и вообразить себе замешанным в мелкие распри, напротив, ему идет роль хранителя чужих тайн. Он повторял: «Порядочный человек обязан обрывать людей, дурно говорящих о его приятелях, но жизнь потеряла бы значительную долю прелести, если бы все строго следовало этому правилу».

Особенно большую роль в жизни эмигрантов первой волны переписка играла именно в 1940-е и 1950-е гг. До войны в Европе, особенно во Франции, существовала разветвленная сеть русских периодических изданий, и она объединяла людей, разбросанных по разным городам чужой страны. Во время войны эта сеть была разрушена. После войны, казалось бы, она должна была восстановиться, но в связи с «холодной войной» интерес ко всему русскому на Западе упал, сменился подозрительностью, и даже к русским эмигрантам, несмотря на то, что они находились в оппозиции к советской власти, стали относиться много хуже, чем прежде.

В послевоенные годы русскоязычных изданий в Западной Европе появлялось мало, некоторые из них контролировались советскими посольствами. Публицистам-профессионалам стало негде печататься, самый смысл их политического изгнания оказался под сомнением. Они не могли молчать, их письма порою стали превращаться в статьи наподобие газетных. Алданов охотно участвовал в обсуждении актуальных международных тем, его исторические и философские идеи часто опробовались сперва в письмах и лишь позднее воплощались в художественных произведениях.

Полтора десятилетия жизни Алданова, отраженные в документах его фонда в Бахметевском архиве, распадаются на две части: в 1941–1947 гг. он жил в Нью-Йорке, находился в центре литературной и общественной жизни «американских русских», затем вернулся во Францию, поселился в малолюдной в те годы Ницце, стал вести уединенный образ жизни; там и умер в начале 1957 г. скоропостижно, от сердечного удара.

Когда Алданов только задумывал осенью 1940 г. перебраться из оккупированной немцами Франции в Америку, у него уже был план крупного предприятия, которое можно было осуществить только в Новом Свете. В Париже тогда закрылся выходивший на протяжении целых двух десятилетий замечательный толстый журнал, предмет гордости культурной русской эмиграции, «Современные записки». Писатель Б.К. Зайцев называл его лучшим журналом за всю историю русской литературы. Алданов задумал создать новый журнал, который стал бы преемником «Современных записок».

Сразу же по приезде он дал интервью сотруднику нью-йоркской газеты «Новое русское слово». На вопрос, в каком положении находится зарубежная русская литература, ответил категорически: «В безвыходном. В Европе больше нет ни русских

журналов, ни издательств. Знаю, например, что Бунин написал на юге Франции несколько новых рассказов и впервые в жизни не знает, что делать с ними. Русским писателям больше на своем языке печататься негде – я говорю о произведениях, по размеру не годящихся для газет».

Почти одновременно Алданов отправил письмо крупному ученому и меценату Б.А. Бахметеву, послу Временного правительства в США, с просьбой о помощи: «В Ницце мы с Буниным решили сделать все возможное для того, чтобы создать в Нью-Йорке журнал типа «Современных записок». Я знаю, что это дело нелегкое, такой журнал окупаться не может, как не окупались и «Современные записки». Он может образоваться только в случае финансовой поддержки, впрочем, не очень большой. Но, думаю, дело этого стоит». Алданов заканчивал: «Писать у нас могут и должны люди самых разных взглядов (в пределах отрицательного отношения к большевикам и национал-социалистам). Мы будем проявлять еще меньше тенденциозности, чем «Современные записки». Не будет журнала – нет больше и зарубежной русской литературы. Очень просим Вас помочь делу создания журнала.» Бахметев откликнулся на этот взволнованный призыв «любезно и щедро», нашлись и другие жертвователи. Название «Новый журнал» означало: выходящий взамен «Современных записок». Отдел публицистики возглавил Алданов, он же написал программную статью для первого номера. Сведения о денежной стороне издания находим в его письме историку М.М. Карповичу от 1 мая 1942 г.: «Мы платим совершенные гроши, один доллар за страницу беллетристики и 75 центов за страницу всего остального. В денежном отношении писать у нас для автора – личная неприятность, <в то время,> как для меня редактирование (бесплатное, увы!) – настоящая катастрофа: оно отнимает почти все мое время...»

Так или иначе начало было положено, «Новый журнал» существует до наших дней, а в годы, к которым относится предлагаемая публикация, это был лучший, самый авторитетный толстый журнал русского зарубежья.

Казалось бы, забот с журналом у Алданова было так много, что он вполне мог обойтись без других «нагрузок по общественной линии». Однако он принял на себя трудоемкие обязанности члена правления нью-йоркского Литературного фонда. Фонд собирал пожертвования и распределял материальную помощь среди нуждающихся деятелей русской культуры в разных странах. Отправляя посылки профессорам в советские университеты, высылал продовольствие писателям и журналистам в освобожденную Францию. Алданову, как человеку безупречной репутации, доверили составление списка имен получателей.

Естественно, к нему постоянно обращались разные люди из разных городов, он охотно и пространно отвечал на письма, завязывались дружеские отношения – уважительные, ровные, «джентльменские», но на некотором удалении, во всем фонде Алданова нет ни одного письма на «ты».

Сначала вся переписка была связана с темой войны. Русские эмигранты в США с разными оттенками придерживались единой позиции: антифашизм, поддержка русского народа в его борьбе и одновременно неприятие сталинского режима, виновного в кровавых преступлениях.

После войны в прежде однородную среду тех, кто покинул Россию в первые послереволюционные годы, стали вливаться эмигранты второй волны, «перемещенные лица», часть из них составляли власовцы. В духе «холодной войны» перебежчиков к Гитлеру начали оправдывать: дескать, те надеялись, что Россия будет освобождена от большевизма немецкими руками. Алданов – сторонник «чистоты политических риз» русской эми-

грации: гитлеровщина, доказывал он, была бы еще много хуже сталинщины.

Между тем «холодная война» угрожала перерасти в горячую, и блокада Берлина, война в Корее воспринимались на Западе как первые сражения третьей мировой войны. Старые люди, Алданов и его корреспонденты, мучились от раздвоенности: по-прежнему любя покинутую родину, считали, что угроза миру исходит из Москвы. В октябрьские дни 1956 г. писатель выступает в защиту восставшей Венгрии.

Важность таких тем, как атомная бомба, суд над немецкими военными преступниками, перспективы России после Сталина; множество малоизвестных деталей, касающихся, например, положения русских во Франции в 1944–1945 гг., – думается, российскому читателю середины 1990-х гг. это все в переписке представится ценным и значительным. Особо хочется отметить суждения Алданова о трудностях, ожидающих нашу страну, когда она закончит с коммунизмом. Знаток истории, он не сомневался, что это рано или поздно произойдет, но предостерегал, что распад империи неизбежно приводит к долголетнему ряду войн за объединение, войн внутренних, которые, по его словам, легко-могут перерасти в войны общие, гигантские. Переписка по-новому раскрывает позднего Алданова как крупного и проницательного политического мыслителя западнического направления.

Но идеи его и его корреспондентов оставались преимущественно «самочитательным писанием»: авторы писем не могли воздействовать на общественное мнение на Западе, не мечтали, что об их концепциях узнают на родине. Оставалось только работать для будущего в надежде, что придет черед и их идеи и программы будут востребованы. В письме В.А. Маклакову от 20 сентября 1956 г. Алданов – обоим осталось жить считанные месяцы – предлагает собрать друзей и запротоколировать высту-

пления: «Мы все люди старые, и было бы хорошо оставить хоть некоторый след: что думали старые эмигранты о положении России в 1956 году – вдруг кому-либо, когда-либо пригодится». Старшее поколение уходило из жизни с горькой мыслью, что его идеалы не воплощены, оставалось только утешение: «Они служили своим идеям, и служили им с честью.» Это слова Алданова из статьи о политэмигрантах XIX века; несомненно, он относил их и к современникам.

Быть может, кому-то эти пожилые люди, прожившие нелегкую жизнь, представляются скучными чудаками, зацикленными на политических вопросах. Нет ничего ошибочнее такого взгляда – они часто шутили, на старости лет влюблялись. Вот импрессарио, друг Бунина Александр Рогнедов, сообщает в приподнятых выражениях: он влюблен в очень юную испанскую журналистку, «редчайшее и благороднейшее существо». Вот он же дает в письме юмористическое описание мучений в кресле стоматолога: «Никогда не думал, что анестезия действует столь решительно. Мой дантист ни разу не вскрикнул. Его выдержка произвела на меня столь сильное впечатление, что меня два раза выволакивали в обмороке.» Русские эмигранты не пытались казаться лучше, чем они на самом деле были; не кичились собственной значимостью, отличались высокой требовательностью и к окружающим, и к самим себе.

IV

В кругу эмигрантов первой волны Алданов был центром притяжения – с ним дружили, советовались, переписывались люди разных возрастов и взглядов, писатели, художники, музыканты, политики. В завершающей цикл публикации представлены фрагменты из переписки Алданова с видными деятелями культуры русского зарубежья: И.Е. Репиным, Г.В. Адамовичем,

Б.К. Зайцевым, М.А. Осоргиным, Н.А. Тэффи. В зеркале переписки Алданов предстает человеком благожелательным, ровным, неизменно готовым прийти на помощь.

В мемуарах о нем постоянно повторяется выражение «европеизм». Со всеми корреспондентами был на «вы», причем писал «Вы», и ему отвечали тем же, неизменно с заглавной буквы. Собственных дел касался лишь мимоходом, как бы неохотно. К примеру, из его переписки не удалось почерпнуть никаких сведений о судьбе его братьев, даже узнать их имен. О деле своей жизни, литературной работе тоже сообщал бегло, информировал даже ближайших друзей о новых произведениях, как правило, лишь когда они уже были закончены.

Сразу же становился необычно эмоциональным, когда переходил к русской литературе. Интересны его суждения, порой спорные, о классиках, о современниках-эмигрантах. Россия оставалась до конца его дней самой большой любовью. И эту любовь разделяли все без исключения его корреспонденты.

В общей сложности в двух архивах Алданова в Москве (Библиотека-архив Российского фонда культуры) и в Нью-Йорке (Бахметевский архив Колумбийского университета) хранится до 20 тыс. писем писателя и ему адресованных. Относятся они почти исключительно к 1940–1957 гг. Алданов собирал архив всю жизнь, но в 1940 г. бумаги погибли в Париже в огне войны. Тогда он начал собирать их заново. В начале 1950-х гг. Колумбийский университет согласился принять на хранение рукописные собрания русских эмигрантов. Алданов несколько ящиков с перепиской отдал бесплатно. «Условия для писем я поставил следующие: при жизни моего корреспондента и моей никто не может ни читать, ни печатать наши письма без нашего обоюдного согласия; после смерти одного из нас согласие должно быть дано вторым корреспондентом; а после смерти обоих

правление архива может делать с письмами что угодно», – сообщил он 15 ноября 1954 г. Б.К. Зайцеву. Он отдавал себе отчет, что советская власть – отнюдь не на вечные времена, рано или поздно к эмигрантам в России возникнет общественный интерес. Письма дадут возможность по-новому понять их внутренний мир, раскрыть их судьбы.

Письма – как обращения к потомкам, и многое в них созвучно нашему времени. Если вы хотите узнать, каков был духовный облик «поколенья с сиренью и с Пасхой в Кремле», – прочитайте их.

*Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
доктор филологических наук, профессор МГУ*

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА. ПУШКИН
[КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ]

ВВЕДЕНИЕ

В истории русской литературы XIX века – блестящая и славная страница. Множество ярких, самобытных писательских имен: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Герцен, Тургенев, Чернышевский, Щедрин, Достоевский, Чехов, Толстой. Произведения непреходящей художественной ценности. Русская литература за короткий срок выдвинулась едва ли не на первое место среди европейских литератур. Стало невозможным быть культурным человеком и не знать ее крупнейших свершений.

Определяющими качествами всех великих произведений русских писателей были патриотизм и гуманизм – любовь к родине и уважение к правам человеческой личности.

На протяжении всего XIX века в России господствовал абсолютизм, самодержавный строй, отсутствовали элементарные политические свободы, и литература стала, по меткому выражению Герцена, единственной трибуной, с высоты которой народ заставлял «услышать крик своего возмущения, своей совести». До 1861 г. в стране существовало крепостное право, людьми торговали как скотом, и лучшие русские писатели главную историческую задачу эпохи видели в освобождении страны от рабства.

Писатель воспринимался читательской аудиторией как учитель, наставник, и, открывая книги тех, кого позднее назвали русскими классиками, читатели искали не только и не столько развлечения, как в первую очередь ответа на главные животрепещущие вопросы современности.

Русская литература, разумеется, не была монолитной и однородной. Прогрессивным писателям приходилось постоянно вести борьбу с писателями-реакционерами. И сами они, прогрессивные писатели, в большинстве своем дворяне по происхождению, подчас отдавали дань известной сословной исторической ограниченности. Но в главном их произведения, подчас независимо от субъективных намерений авторов, выражали настроения забитых и униженных народных масс. Отличительным качеством русской литературы стала народность – ставились общественно важные вопросы, они получали разрешение с точки зрения народа, наконец, художественная форма произведений была доступна демократическому читателю.

Классика XIX века была кровно связана с освободительным движением, она обличала крепостничество, «барство дикое» (Пушкин), бичевала самодержавных палачей «свободы, гения и славы» (Лермонтов) и в то же время пыталась воплотить образы положительных героев, борцов против несправедливости и социального зла. Деспотизм по-своему отвечал на развитие прогрессивной литературы цензурными преследованиями, ссылками, казнями. Судьбы многих выдающихся писателей, о которых мы будем говорить в этой части курса, трагичны: Батюшков сошел с ума, Рылеев казнен, Грибоедов убит, Пушкин смертельно ранен на дуэли.

И, тем не менее, отличительной чертой лучших произведений прогрессивной русской литературы был исторический оптимизм, вера в лучшее будущее страны и народа. Громкий голос великих писателей, несмотря на цензурные запреты, был слышен по всей стране, оказывал громадное влияние на духовное и нравственное развитие общества.

Быстро прошла русская литература через периоды классицизма, сентиментализма, романтизма. Она, как пронизательно заметил великий критик В.Г. Белинский, «постоянно стреми-

лась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною и натуральною. Это стремление, означенное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы», не случайно, что первым великим национальным поэтом русского народа сделался «поэт действительности» Пушкин.

Пушкин стоит у истоков русского критического реализма, творческого направления, определившего художественное развитие в XIX столетии. Глубокое проникновение в общественные явления и во внутренний мир человека, широта обобщений, яркость и рельефность образов, правдивость и творческая смелость, – вот характеристические черты русского критического реализма.

В истории русского освободительного движения, служившего питательной почвой для литературного процесса, В.И. Ленин выделил три главных этапа, «соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 г.; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 г.; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время».

Характеризуя первый этап освободительного движения, В.И. Ленин писал: «Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию».

В этой части курса рассматривается история русской литературы 1801–1825 гг. Это период преобладания дворян и в освободительном движении, и в литературе. Его важнейшие исторические вехи – война 1812 г. против Наполеона и восстание декабристов на Сенатской площади Петербурга 14 декабря 1825 г. Этот период начинается спустя лишь десять лет после

выхода в свет радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву», а заканчивается в пору появления первых произведений критического реализма в русской литературе, трагедии Пушкина «Борис Годунов», комедии Грибоедова «Горе от ума».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 1800–1815 гг.

I

К началу XIX века процесс распада феодально-крепостнического строя усилился. Развитие промышленного производства приводило к увеличению роли вольнонаемного труда. Расшатывались основы крепостнической экономики, делавшейся тормозом для роста производительных сил страны. Помещики пытались усилить эксплуатацию своих крепостных, но сталкивались с ростом народного сопротивления, с многочисленными крестьянскими волнениями.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в России произошел дворцовый переворот. Царь Павел I, неумный деспот и самодур, был убит, к власти пришел новый царь Александр I. Он лучше понимал необходимость уступок общественному мнению и поначалу проводил сравнительно либеральную политику. Были возвращены из ссылки многие пострадавшие при Павле, введен довольно мягкий цензурный устав, открыто несколько новых университетов и других учебных заведений, среди них Царскосельский лицей. Составлялись планы преобразования государства, говорили и о возможности отмены крепостного права.

Эта эпоха была прервана войной 1812 г. против Наполеона. Война стала для России отечественной, народной. Отстояв

свою свободу и национальную независимость, освободив Европу от французского владычества, русский народ, по свидетельству писателя-декабриста А. Бестужева, «впервые ощутил свою силу». Победа над врагом привела к росту национального самосознания.

Возвращаясь на родину из заграничных походов, русские солдаты и офицеры ждали быстрой ликвидации крепостного права, надеялись на демократические преобразования. Однако эти надежды не осуществились. Напротив, Александр перешел к крайне реакционной политике. Ближайшим своим советником он назначил злого и тупого временщика Аракчеева. Была введена новая жестокая форма крепостного угнетения – военные поселения. Проекты социальных реформ были окончательно забыты.

II

Оживление общественно-политической жизни в России первых лет XIX века нашло отражение в углублении идейной борьбы. Широко дебатировались вопросы общественного и государственного устройства, самодержавия и крепостного права.

Передовым идейным течением продолжает оставаться просветительство.

В 1801 г. по инициативе молодых последователей А.Н. Радищева – И.М. Борна и В.В. Попугаева выпускники петербургской гимназии при Академии наук создали «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств». Среди членов общества немало разночинцев (сам Борн – школьный учитель, Попугаев – сын фабричного мастера, служащий). Один из активных его участников И.П. Пнин в трактате «Опыт о просвещении относительно к России» выдвинул требование освобождения крестьян: «Снять оковы с народа, возвратить людей челове-

ству, граждан – государству». Пнин не поднимался до революционности, апеллировал к «просвещенному монарху», объявляя право собственности священным. Но его просветительская антикрепостническая программа показалась властям опасной, второе издание «Опыта о просвещении» было запрещено цензором на том основании, что эта книга «рассуждениями о всяческом рабстве и наших крестьянах.., дерзкими выходками против помещиков.., разгорячению умов и воспарению страстей темного класса людей способствовать может».

В своем поэтическом творчестве члены «Вольного общества» развивали гражданские темы. Например, «Ода достойным» А.Х. Востокова была непосредственным откликом на убийство Павла I, но воспринималась читателями расширительно:

Нет, – кто, видев, как страждет отечество,
Жаркой в сердце не чувствовал ревности
И в виновном остался бездействии, –
Тот не стоит моих похвал.
Но кто жертвует жизнью, имением,
Чтоб избавить сограждан от бедствия
И доставить им участь счастливую, –
Пой, святая, тому свой гимн!

Образ человека-гражданина, погибающего за счастье других людей, подсказан поэтам «Вольного общества» трагической судьбой Радищева, имя которого часто звучало в их среде. Пнин и Борн на смерть Радищева откликнулись стихами. Продолжая вольнолюбивые традиции автора «Путешествия из Петербурга в Москву», поэты-просветители начала XIX века были умереннее его в своей программе. Тем не менее, их творчество сыграло важную роль в развитии русской гражданской поэзии: оно перебрало мост от Радищева к поэтам-декабристам.

В истории «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» важен только первый период, до 1807 г. Затем, после внутренней борьбы и смены руководства общество утрачивает былое значение.

III

Просветителям идейно близки русские сатирики начала XIX века. В жанрах басни, комедии, нравоучительно-сатирического романа И.А. Крылов, А.Е. Измайлов, В.Т. Нарезный выступали с обличением гнета и безобразий господствовавшего режима. Иносказательный характер сатиры давал возможность говорить о таких явлениях и сторонах русской жизни, о которых прямо сказать никогда бы не позволила правительственная цензура. В творчестве сатириков, как и в творчестве просветителей, проявлялись тенденции движения к критическому реализму.

Несомненную антидворянскую направленность имел роман А.Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и общества» (1801). Его герой молодой дворянин Евгений Негодяев – олицетворение множества пороков и оправдывает фамилию, данную ему романистом. Он ленив, жесток, невежествен, предается распутству, и, быстро промотав отцовское наследство, в конце концов погибает в нищете. В романе дана широкая картина нравственной опустошенности дворянства – Лицемеркины, Подляковы, Развратины истязают крепостных, торгуют своими дочерьми.

«Евгений» страдал наивным дидактизмом. Более значительным произведением реально-сатирической литературы начала XIX века был роман В.Т. Нарезного «Российский Жильблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (первые три части опубликованы в 1814 г., остальные три запрещены цензурой и изданы лишь в советское время).

Связав свой замысел с традицией авантюрного романа Лесажа, Нарезный изобразил похождения героя – князя, поряточного, совестливого человека, который сделался подлецом под воздействием развращенного света, но, испытав множество ударов судьбы, раскаялся.

Самые сильные страницы романа – изображение «сволочи знатных дураков», как с необычной для того времени резкостью выражался Нарезный. Среди них сиятельный князь – жулик; помещик, который потешается, связав стариков за бороды и заставив их плясать под удары бичей; графский сын, в привычке которого выбивать зубы крепостным. Автор проводил мысль, что общественные язвы надо лечить просвещением, моральным перевоспитанием.

Крупнейшим представителем сатирического направления стал И.А. Крылов, который еще в XVIII веке зарекомендовал себя талантливым продолжателем традиций сатиры Новикова и Фонвизина. Он выступает в начале XIX века как драматург-комедиограф, затем появляются его многочисленные басни, и именно в этом жанре он создает свои шедевры.

IV

В начале XIX столетия продолжают работать и другие крупнейшие писатели второй половины XVIII века: классицист Г.Р. Державин, сентименталист Н.М. Карамзин. В 1807 г. выходит в свет знаменитое послание Державина «Евгению. Жизнь Званская». В 1808 г. публикуется его собрание сочинений – своего рода итог развития русской поэзии XVIII века. Престарелый Державин пристально всматривается в новые явления русской литературы, благословляет на литературное призвание В.А. Жуковского и юного А.С. Пушкина.

Карамзин в 1804 г. оставил литературную деятельность, чтобы перейти к занятиям историей, но до этого в 1802–1803 гг. он

создает неоконченную повесть «Рыцарь нашего времени», которая, возможно, подсказала заголовок лермонтовскому роману «Герой нашего времени». Впервые в русской литературе герой здесь – подросток, в духе традиционных норм сентиментализма выдержан его характер. Вместе с тем, некоторые описания природы и человеческих поступков в повести поражают точностью и лаконизмом, прежде у сентименталистов невиданными.

В начале XIX века ломаются устойчивые литературные традиции, приходит пора брожений и новых исканий, которые в конце концов приводят к возникновению реализма. Литературные стили нередко переплетаются.

Сентиментализм проникает в канонизированный классицизмом жанр, в трагедию.

Популярнейший драматург начала XIX века В.А. Озеров в наиболее известной из своих трагедий на исторические темы «Дмитрий Донской» (1807) совмещает характерную для классицизма героическую тематику с сентиментальной любовной завязкой. Два руководителя русского войска, Дмитрий Донской и князь Тверской, оспаривают друг у друга руку новгородской княжны Ксении. Ксения приезжает в военный лагерь накануне решающей битвы с татарами на Куликовом поле. Чувство долга у героев преобладает над личными чувствами, и два соперника сражаются с врагом плечом к плечу, а когда битва оканчивается победой русских войск, князь Тверской добровольно отказывается от своей любви в пользу Дмитрия.

Тщетно было бы искать в пьесе исторической достоверности, Озерова интересовала лишь достоверность чувств. Однако структура пьесы была классицистской: соблюдались три единства, длинные монологи были обращены в зрительный зал.

У зрителей эпохи 1812 г. «Дмитрий Донской» пользовался успехом: пьеса звучала актуально, ее патриотическое одушевление отражало пафос всенародной борьбы против Наполеона.

V

Важной заслугой сентименталистов, в первую очередь Карамзина, была реформа литературного языка. Карамзин стремился сблизить письменную речь с разговорным языком дворянского общества. Его принципом стало «писать, как говорят, и говорить, как пишут». Взамен устаревших ломоносовских трех стилей он провозгласил единый стиль, общий для всех жанров литературы. Но Карамзин не хотел ввести в нормы русского литературного языка живую народную речь, ему казалось, что народной речи не хватает «изящества». Предлагаемый им стиль был напыщенным, манерным.

«Новый слог» Карамзина встретил резко отрицательное отношение со стороны архаистов, поборников классицизма. В 1803 г. вышла в свет книга адмирала А.С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге русского языка». Шишков, человек крайне консервативных политических убеждений, выступал за возврат к ломоносовским трем стилям и утверждал, что языком русской литературы может стать только старославянский язык. В качестве образца для русских писателей предлагал «священные книги». Шишков был прав, упрекая своих оппонентов в языковой жеманности. Но его борьба против иноязычных заимствований Карамзина и карамзинистов имела политическую подоплеку: Шишков страшился, что с этими заимствованиями могут проникнуть в Россию идеи французской революции.

Вокруг Шишкова спланиваются литературные старожилы. Зимой 1806–1807 гг. они начинают регулярно собираться для бесед о литературе и политике. Из этих собраний возникло литературное объединение «Беседа любителей русского слова». По замечанию современника, «Беседа» «имела более вид казенного места, чем ученого сословия»: среди участников было множе-

ство вельмож, заседания проходили в официальной обстановке. Нередко читались стихи, но поэты «Беседы» С.А. Ширинский-Шихматов, Д.И. Хвостов были откровенно бесталанны, их слог архаичен, идеи реакционны. Входили в «Беседу» и два крупных поэта, Державин и Крылов, но они были чужеродны в этой организации. В басне «Демьянова уха» Крылов высмеял чтение в «Беседе» длинных, скучных произведений.

Между тем, Шишков за верноподданническое усердие был приближен ко двору. Во время войны 1812 г. он составлял царские манифесты.

VI

Отечественная война 1812 г. оставила глубокий след в развитии русской литературы. Патриотические настроения, образы войны получили отклик в баснях Крылова, в поэме В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов», в стихотворном послании К.Н. Батюшкова «К Дашкову». Поэты восславляли русское оружие, звали к мести врагу, утверждали народный, освободительный характер войны.

Тема войны 1812 г. впоследствии займет важное место в творчестве Пушкина, вдохновит на замысел трагедии Грибоедова. Писатели разных эпох, от Лермонтова до Л. Толстого, не раз будут возвращаться к этой славной странице русской истории.

Но Шишков и его соратники видели в войне апофеоз русского самодержавия, нанесшего поражение «тлетворному» духу французской революции, «заразе неверия и злочестия».

VII

После окончания войны Шишков и шишковисты переносят главный свой критический огонь на молодых поэтов, как Жуковский и Батюшков, в творчестве которых формировался новый метод – романтизм.

В 1815 г. появилась комедия А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», в лице одного из героев которой, надоедливого сочинителя баллад Фиалкина, высмеивался Жуковский. Сторонники нового направления перешли в контратаку. В памфлете Д.Н. Блудова «Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых людей» Шаховской был изображен бесстыдным завистником, негодем, гонителем кроткого юного поэта. Действие памфлета происходило в провинциальном городке Арзамасе, и название «Арзамас» было взято для нового объединения, которое сыграло важную роль в становлении русского романтизма.

Членами нового общества были поэты П.А. Вяземский, К.Н. Батюшков, В.Л. Пушкин (дядя А.С. Пушкина), позднее и сам юный А.С. Пушкин. Протоколы заседаний вел Жуковский. В отличие от казенных нравов «Беседы», заседания «Арзамаса» проходили в шутовой непринужденной обстановке. Участники называли друг друга прозвищами, взятыми из баллад Жуковского: Жуковского – Светланой, Батюшкова – Ахиллом, Блудова – Кассандрой, юного Пушкина – Сверчком. Каждый член «Арзамаса» должен был во вступительной речи «похоронить» кого-нибудь из членов «Беседы».

Под шуточными обрядами скрывался политический смысл. Красный колпак, который, по ритуалу «Арзамаса», украшал голову председательствующего, напоминал о якобинцах. «Арзамас» противостоял «Беседе» как организация вольнолюбивых, оппозиционно настроенных людей. Однако эта оппозиционность была умеренной. В 1816 г. «Беседа» после смерти Державина распалась, и перед обществом встал вопрос о целях дальнейшей деятельности. В 1817 г. в «Арзамас» были приняты видные деятели тайной декабристской организации «Союз благоденствия» Н.И. Тургенев, М.Ф. Орлов и Никита Муравьев. Они предприняли попытку связать «Арзамас» с политической

борьбой «Союза благоденствия». Эта попытка показала большую роль «арзамасцев» слишком радикальной, и политическое размежевание среди участников привело «Арзамас» к распаду в 1818 г.

VIII

Термин «романтизм» произошел от слова «роман». В самом слове «романтизм» подчеркивается роль художественного вымысла (как в книге, не так, как в жизни). Романтизм возник на почве неудовлетворенности писателей действительностью. По определению Горького, «основная нота» романтизма – «ожидание чего-то нового, тревога перед новым, торопливое нервное стремление познать это новое».

В этих словах Горького отмечены две возможности для писателя, неудовлетворенного современной ему действительностью. Он может забегать мыслью вперед, в будущее, или, напротив, идеализировать прошлое. Но при всем коренном различии этих двух возможностей, писатель-романтик непременно отрицает житейскую прозу, противопоставляя ей свой идеал.

Романтик субъективен, он почти не касается логики развития явлений, объективных закономерностей жизни. Все его внимание отдано логике своего восприятия реальности, изображению своего внутреннего мира. Личность художника преобладает над картиной действительности, и, по выражению Жуковского, поэт-романтик смотрит на жизнь «сквозь призму сердца».

В современном советском литературоведении высказываются различные взгляды на романтизм. Б. Мейлах полагает, что революционный и элегический романтизм – это отдельные, самостоятельные творческие методы. Б. Реизов, делая акцент на разнообразии подхода романтиков к изображению реальности, подчеркивает, что термином «романтизм» обозначают совершенно различные явления. Наиболее распространенная

точка зрения (ее разделяют Д. Благой, А. Соколов, В. Кулешов) сводится к тому, что элегический и прогрессивный романтизм – ветви одного течения, в рамках которого писатели различаются не методом создания образов, а идейными задачами, которые перед собой ставят.

В Западной Европе романтизм возник после буржуазных революций и отражал резкую неудовлетворенность их результатами со стороны разных социальных слоев. В России обстановка, в которой новый метод зародился, была иной, романтическое мироощущение – отклик русских писателей на революционные события, происходившие на Западе, предвестник вооруженного восстания первых русских революционеров против самодержавного порядка.

Романтики развивали творческие достижения сентименталистов, и их подчеркнутое внимание к внутреннему миру человека отражало веру в его духовное богатство. Важной заслугой романтиков было открытие эстетической ценности устного народного творчества. В 1800 г. впервые публикуется «Слово о полку Игореве», в 1804 г. К. Данилов издает «Древние российские стихотворения». В фольклоре романтики находят для себя источник самобытных национальных мотивов и образов.

Отметим еще одну важную их заслугу – расширение художественно-выразительных средств, особенно в поэзии. Они первыми обратили внимание на многозначность слова, зачастую использовали его вторичные значения. Они тяготели к необычной метафоре, к экспрессивному эпитету.

Романтизм 1800–1815 гг. отразил ранний этап социально-исторического перелома в России. Будущее писателям казалось непонятным, тревожным, а разрыва с прошлым они боялись. Провозглашая высшей ценностью свободу, они трактовали ее только как моральную категорию, не как социальную,

политическую. Главную роль в романтическом движении в это время играют Жуковский и Батюшков, в творчестве которых преобладает тема страдания духовно богатой личности в антигуманном мире. Но не принимая окружающей действительности, они и не вели борьбы против нее.

ГЛАВА II. И.А. КРЫЛОВ-БАСНОПИСЕЦ

*Крылов возвел у нас басню
до nec plus ultra совершенства.*

В.Г. Белинский

Иван Андреевич Крылов вошел в литературу XIX века как выдающийся баснописец.

Басня – один из распространенных во всей мировой литературе жанров, имеющий богатую и древнюю традицию, которая начинается от Эзопа. В России в этом жанре работали Ломоносов, Сумароков, Кантемир, Хемницер, Дмитриев. Но лучшим из русских баснописцев стал Крылов. Его басни – крупнейшее событие литературной жизни первых полутора десятилетий XIX века, важная веха в становлении русского реализма.

В начале своей творческой деятельности, в 1788 г., Крылов пишет первые четыре свои басни и печатает их анонимно. Затем перерыв в 17 лет. В 1805 г. Крылов вновь возвращается к оставленному им жанру и выступает с новыми баснями, «Дуб и трость», «Разборчивая невеста», «Старик и трое молодых». В 1809 г. выходит в свет первый сборник его басен. Он имеет огромный успех, и Крылов решает сосредоточиться на деятельности баснописца. На протяжении четверти века появляются все новые его басни, особенно плодотворен в его деятельности период до 1816 г. Всего он создал свыше двухсот басен.

Внешне жизнь писателя была небогата событиями. Целых тридцать лет (1812–1841 гг.) он служит в Публичной библиотеке, некоторое время состоит членом «Беседы любителей русского слова». В 1838 г. торжественно отмечался 50-летний юбилей его литературной деятельности. 21 ноября 1844 г. он скончался в 75-летнем возрасте.

I

Крылова можно назвать первым общенациональным поэтом. Все его предшественники адресовали свое творчество или высшему свету, или патриархальному дворянству, или купечеству и мещанству. Крылов обращался не к сословной «аудитории», а к русскому народу в целом. Этим объясняются неслыханные для той поры тиражи его книг: они доходили до 75 тысяч экземпляров в эпоху, когда поэзия более чем 5-тысячным тиражом не публиковалась.

Народность Крылова, разночинца и демократа, резко отличалась от нарочитой архаической псевдонародности шишковитов. Басня как жанр восходит к опыту народной жизни: Крылов обновил ее жанровую структуру, под его пером басня стала одновременно и сатирическим откликом на политическую злобу дня, и философским обобщением, и зарисовкой народных типов.

Крылов, как и его предшественники, порой переводил басни иностранных авторов. Но и в этих случаях, переиначивая сюжет, добивался, чтобы рассказываемый им случай был проникнут духом русской жизни и речи. Из Флориана, например, заимствована тема его басни «Воспитание Льва». Несколько раньше басню о воспитании царя зверей Льва перевел и тоже переиначил второстепенный баснописец той поры И.И. Дмитриев. Под его пером она звучала как произведение верноподданное, проникнутое лестью монарху. Воспитывает молодого Льва у Дми-

триева Пес, внушающий ему мысль, что счастье подданных в любви государя. В конце басни трогательная сцена расставания Пса и Льва – Лев отправляется царствовать. Пес говорит ему на прощание:

Прости, о государь,
Невольно слезы лью!
Отечеству отца даю,
А сам теряю сына.

У Крылова ситуация иная, и басня выражает оппозиционное настроение: Львенка отдали на воспитание Орлу, а тот научил его совершенно ненужному для зверя искусству вить гнезда. В результате на престоле некомпетентный властитель. Басня заканчивается моралью:

Важнейшая наука для царей:
Знать свойства своего народа
И выгоды земли своей.

О некомпетентности Александра I немало говорили. Пушкин характеризовал его позднее так:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой.

Таким образом, намек Крылова был прозрачным, бил не в бровь, а в глаз.

Поездка Александра I в Архангельск подсказала Крылову, по свидетельству современников, тему для басни «Рыбьи пляски»: Александр увидел из окна губернаторского дома приближав-

шую толпу людей. На вопрос царя, что это означает, губернатор ответил, что это депутация от жителей, желающих принести благодарность за состояние края. Александр не принял этих лиц, которые на самом деле шли с жалобой на губернатора.

В басне-памфлете Крылова Лев, осматривая свои владения, приходит узнать, как живут Рыбы. Рыбы бьются на раскаленной сковороде, но Льву рассказывают:

Здесь не житье им – рай!
Лишь только б дни твои бесценные продлились.

Лев недоумевает, почему же они «хвостами так и головами машут?» И слышит в ответ: Рыбы «на радостях, тебя увидя, пляшут».

Басня заканчивалась ядовитым заключением: Лев, услышав такие слова, «милостиво в грудь» лизнул Старосту. Смысл басни выступал обнаженно, открыто. Крылова заставили переделывать концовку, и Лев теперь восстанавливал справедливость, наказывал виновных.

Дерзкой сатирой против Александра I и его прислужника Аракчеева была басня «Пестрые Овцы». В ней царь Лев невзлюбил пестрых овец. Как от них отделаться, не запятнав своей репутации справедливого и милостивого владыки? Он назначил пастухами волков. И тогда

Не только пестрых там овец –
И гладких стало мало.

Но никто не винил в этом царя Льва, говорили: виноваты волки. Так и Александр I, выступая с ханжескими заявлениями о своем милосердии, расправу с недовольными вольнодумцами поручал Аракчееву.

II

Не только царь был мишенью критических нападок Крылова. Вся несправедливая система общественных отношений подвергалась в его баснях едкому осмеянию. Львы, Щуки, Волки, Медведи – в этих масках выступали у него разнообразные жестокие хищники, помещики, судьи, чиновники. Недаром Грибоедов в «Горе от ума» вложил в уста Загорецкому такое признание:

А если б, между нами,
 Был цензором назначен я,
 На басни бы налег: ох! басни смерть моя!
 Насмешки вечные над львами, над орлами!
 Кто, что ни говори,
 Хотя животные, а все-таки цари!

Покров сказочных басенных образов давал возможность сатирику открыто сказать, что

У сильного всегда бессильный виноват.
 («Волк и Ягненок»)

В ряде басен («Щука», «Крестьянин и Овца», «Медведь у пчел») объект сатиры – продажный суд, покровительствующий богатым. В басне «Волки и Овцы» в ответ на жалобы Овечек, которым от Волков «совсем житья не стало», «правительство зверей» «благие меры взяло» и учредило «Совет» для решения споров между Волками и Овцами. Но членами этого «Совета» стали те же Волки. Бесправие народа, угнетение его и чиновниками и крепостниками – одна из главных тем Крылова. Баснописец приходил к печальному выводу: в самодержавно-крепостническом государстве все устроено так, что для простого

человека, для народа нет никакого выхода – его так или иначе всюду притесняют и обманывают.

В басне «Крестьянин и Смерть» жанровая иносказательность отброшена, и о горестной судьбе крепостного крестьянина говорится прямо:

Куда я беден, боже мой!
 Нуждаюсь во всем: к тому ж жена и дети,
 А там подушное, боярщина, оброк...
 И выдался ль когда на свете
 Хотя один мне радостный денек?

Превосходство простого человека над дворянской верхушкой нередко подчеркивается Крыловым. Личные гражданские заслуги важнее, по его глубокому убеждению, привилегий знатности.

– Оставьте предков вы в покое:
 Им поделом была и честь:
 А вы, друзья, лишь годны на жаркое! –

обращается в басне «Гуси» Мужик к спесивым дворянским «гусям».

Крылов – певец самоотверженного созидательного труда, труда на общее благо. Его Орел, парящий под облаками, терпит поражение в споре с Пчелой, которая постоянно занята скромной, но полезной работой («Орел и Пчела»). Он воспевает животворную работу Корней, народа, являющегося основой существования государства, в противовес праздному существованию аристократических верхов – Листьев, кичащихся своей бесполезной красотой («Листы и Корни»).

Темы многих его басен восходят к крестьянскому быту. В них высмеяна мораль тунеядцев, лентяев, растяп, любителей пожить на чужой счет. Среди героев – беспечный Мельник, у которого «вода плотину прососала», нескладный Медведь, напрасно погубивший «несметное количество» «орешника, березника и вяза», незадачливый Тришка, мастерящий из старых обносков новый кафтан.

III

Отечественная война 1812 г. – важный этап в творчестве Крылова. Диапазон его высокохудожественного и в то же время чисто публицистического отклика на военные события очень широк: от выражения силы народного негодования и непримиримости к врагу до сатиры разящей внутренних врагов – трусов, бездарных военачальников и т.д.! Басни «Ворона и Курица», «Волк на псарне», «Обоз» изображают Кутузова как народного полководца, подчеркивают дальновидность его стратегических замыслов.

В знаменитой басне «Волк на псарне» Крылов передал общее стремление к изгнанию захватчиков из России, подъем народно-патриотического движения. По всей стране повторяли заключительные слова этой басни, говорившие о непримиримости к обессилевшему агрессору:

«Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю,
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

В образе Волка, прежде неизменно означавшем у Крылова врага крепостного крестьянина, помещика, в этой басне изо-

бражен Наполеон, враг всей России. Но когда враг обезврежен, он становится только лишь жалок и смешон. В другой патриотической басне «Ворона и Курица» агрессор предстает уже не в обличье Волка, а в виде сваренной в супе Вороны.

IV

Басни Крылова – образец художественного мастерства, их отличает гармоническое единство стиля при разнообразии тем и персонажей. У его предшественников басни были условными аллегориями, у него сделались живыми комедийными сценами. Мягкий, добродушный юмор в одних баснях, резкая, злая сатира в других. Крылов не ищет смешного как самоцели, он смеется над реальными людскими слабостями и пороками. Сплошь и рядом под «звериными» масками скрыты конкретные лица. Взаимные восхваления двух реакционных бездарных литераторов, Булгарина и Греча, подсказали тему басни «Кукушка и Петух». Но типическое значение крыловских образов неизмеримо шире частного повода, по которому написана басня. Она воспринимается как сатира на извечные пороки: хвостовство, лесть, угодничество. Обобщенностью образов объясняется ее долгая литературная жизнь.

В большинстве крыловских басен персонажи – животные. Одним своим названием они служат для читателя готовым понятием: лиса олицетворяет хитрость, осел – глупость и т.д. Использование персонажей такого рода давало баснописцу возможность достигать лаконизма, доводить до минимума характеристики персонажей. Но животные у Крылова в то же время индивидуальные, неповторимые существа. В басни входят в качестве действующих лиц и люди – то толстый откупщик, который не знает, куда ему деваться от скуки со своими деньгами, то бедный, но довольный своей участью сапожник.

Каждая басня состоит из двух частей. Центральная часть – маленькая одноактная комедийка, где в нескольких десятках строк даны типические характеры с индивидуальной характеристикой речи, с драматически развитым диалогом. Ей предшествует или – чаще – ее заключает лаконичный авторский комментарий. Он сродни поговорке и подчас с течением времени в поговорку превращался. Таковы афористические заключения крыловских басен: «Слона-то я и не приметил», «А Ларчик просто открывался», «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

V

Исключительно велика роль Крылова в создании русского литературного языка. Декабрист-поэт В. Кюхельбекер справедливо отмечал: «Грибоедов и я, даже Пушкин, точно обязаны своим слогом Крылову». Крылов не участвовал в напряженных спорах о литературном языке, но он своей творческой практикой подсказал этим спорам решение: он открыл свободный доступ в литературу богатейшей стихии народной речи.

Разностопный ямб (от пяти- и четырехстопного до одностопного), которым Крылов писал свои басни, давал единственную в своем роде возможность для ввода живой разговорной речи в художественный текст: интонационное богатство, ритмические движения разговорной речи у него впервые полноправно вошли в русскую поэзию. «Казалось, – отмечает академик В.В. Виноградов, – главным героем басен Крылова стал сам русский язык».

В них зазвучали голоса различных сословий с их специфическими интонациями и особенностями словаря. В басне «Прихожанин» для передачи церковной проповеди дается язык, насыщенный славянизмами, торгово-коммерческие термины преобладают в речи Купца из одноименной басни и т.д. Можно

отметить даже звуковую лепку образов у Крылова. В басне «Пустынник и Медведь» Медведь, желая раздавить муху, сидящую на лбу у его спящего друга Пустынника,

Хвать друга камнем в лоб.

Слова в этой строчке короткие, энергичные. Но им предшествует описание спящего Пустынника, и тут баснописец использует многосложные слова, нарочито затягивая наступление развязки. Белинский отмечал у Крылова «неисчерпаемое богатство идиом, русизмов, составляющих народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, самородное богатство».

VI

Мировоззрение Крылова сложилось в конце XVIII века. Идею позицию просветителя-сатирика Крылов сохранил на всем протяжении своего долгого творческого пути. Он связывал свои надежды с нравственным перевоспитанием, относился к революционерам отрицательно, был поборником просвещенного абсолютизма. Ограниченность его взглядов проявилась и в некоторых его баснях.

Эстетическая позиция Крылова также не менялась с годами. Он был убежденным поборником дидактической литературы, считал, что басенное назидание – лучший способ исправления пороков. В начале 1820-х гг. он критиковал первые реалистические произведения Грибоедова и Пушкина за отсутствие прямого морализирования.

С развитием литературного процесса все очевиднее становилась ограниченность литературного жанра, в котором работал Крылов. Дидактика, аллегория, лаконизм, неизбежные в басне, не давали возможности создать рельефных, многогранных характеров, мешали широте сюжетного отображения жизни.

В статье «Иван Андреевич Крылов» Белинский, сравнивая народность Пушкина и народность Крылова, пришел к выводу, что в творчестве Пушкина нашла отражение вся Русь, все разнообразие, вся многосторонность ее национального духа, а Крылов широко и полно выразил «одно только сторону русского духа – его здравый практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию».

ГЛАВА III. В.А. ЖУКОВСКИЙ (1783–1852)

*Его стихов пленительная сладость
Прервет веков завистливую даль...*

А. С. Пушкин

Первый русский поэт-романтик, Жуковский открыл для русской поэзии новые методы художественного изображения внутреннего мира человека, придал лирике глубокий, подчас философский смысл. Пушкин называл себя учеником Жуковского.

I

Василий Андреевич Жуковский – незаконный сын крупного помещика и привезенной в Россию пленной турчанки: он получил отчество и фамилию от своего крестного отца, бедного дворянина. Нередко случалось, что побочные помещичьи дети становились крепостными. Будущий поэт этой участи избежал, но рано испытал чувство одиночества, связанное со своим двусмысленным положением в отцовском доме.

В 1797–1800 гг. Жуковский получил образование в Московском университетском благородном пансионе. Его первые литературные впечатления связаны с именами Ломоносова, Державина, Карамзина. Он и сам начал писать стихи в семи- или

восьмилетием возрасте. После краткого периода службы решил всецело посвятить себя литературе.

В 1802 г. в журнале Карамзина «Вестник Европы» публикуется его элегия «Сельское кладбище» – вольный перевод из английского поэта Томаса Грея. Успех элегии был исключительным и сразу поставил Жуковского в центр русской поэтической жизни начинавшегося XIX столетия. Жуковский идет в русле сентиментализма. Он рисует образ мечтателя-поэта, обреченного на раннюю гибель, раздумывающего о несправедливости судьбы к забытым безвестным труженикам, чьи останки покоятся на сельском кладбище.

Мотивы уныния, меланхолической примиренности с судьбой звучат во многих ранних стихотворениях Жуковского. Как и другие карамзинисты, Жуковский отвергает «шумный свет», городскую суету, противопоставляя им вольную жизнь на лоне природы, сердечную привязанность к друзьям. В «Стихах, сочиненных в день моего рождения» поэт мечтает об «укромном уголке», где можно было бы творить в одиночестве, дышать свободно.

II

Постепенно в поэзии Жуковского вызревают романтические мотивы. К обычной меланхолической задумчивости сентименталистов у него добавляются психологизм, лиризм.

Современная социальная действительность представляется поэту враждебной. Исправить социальные недуги он, вслед за Карамзиным, считает возможным только путем мирной эволюции общества, морального совершенствования личности.

Личность обладает для Жуковского высшей ценностью:

При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою...

Но личность мыслится вне социальных связей. В элегии «На кончину ее величества королевы Виртембергской» поэт рисует смерть сестры Александра I не как смерть королевы (это слово упомянуто лишь в названии), а как смерть молодой, красивой женщины, счастливой жены, матери. Для него человек одинаков, и нет разницы между королевой и теми, кто покоится на бедном сельском кладбище.

Жуковский не умел рисовать индивидуальный характер, индивидуальное чувство, отсюда некоторая монотонность его стихов. Но он по-новому изобразил душевную жизнь человека, и в этом его историческая заслуга перед русской литературой. Добро и зло, нравственность, долг перед обществом, патриотизм становятся у него достоянием внутреннего мира лирического героя. Личное, внутреннее впервые у него неразрывно соединяется с внешним, всеобщим. Жуковский необычайно расширяет сферу чувств в поэзии, включив в нее то, что прежде традиционно относили к сфере разума. Он был первым русским поэтом, воплощавшим самый процесс развития чувства. Его привлекал показ эмоций «изнутри», внутреннее протекание переживаний. Особенно удавалось ему изображение вдохновения, воодушевленности, когда сознание обостренно реагирует на явления внешнего мира. Жуковский умел писать не только о том, что бросается в глаза, но и о том, что можно увидеть, лишь внимательно присмотревшись. Державин писал о водопаде: «Алмазна сыпается гора», у Жуковского элегия «Певец» (1811) начинается так:

В тени дерев, над чистыми водами
Дерновый холм вы видите ль, друзья?
Чуть слышно там плескает в брег струя,
Чуть ветерок там дышит меж листьями.

Для русской поэзии открывалась необходимость пристального взгляда на мир.

Но мир казался Жуковскому недоступным для понимания, таинственным. Можно сказать, что в его стихах противопоставляются «земля» и «небо» – внешняя оболочка вещей и их скрытая сущность. В рамках этого «двоемирия» большое значение в поэзии Жуковского имела тема «загробного мира» – он не раз повторял, что хотя справедливости нет на земле, она торжествует в «очарованном Там». Образы природы, казалось ему, доказывают присутствие тайной мистической жизни рядом с человеком.

III

Элегический романтизм Жуковского наиболее полно раскрылся в его балладах.

С 1808 г. Жуковский редактирует журнал «Вестник Европы», заняв место Карамзина, который пишет «Историю государства Российского». Молодой поэт сам активно печатается в этом лучшем тогдашнем журнале. Здесь публикуются многие его стихотворения и статьи, в том числе превосходная статья о баснях Крылова.

В «Вестнике Европы» публикуются первые баллады Жуковского, «Людмила» и «Кассандра». Они имели огромный успех у читателя, и можно без преувеличения сказать, что в канун Отечественной войны 1812 г. баллада становится самым читаемым жанром русской поэзии. «Современники юности Жуковского, – читаем у Белинского, – смотрели на него преимущественно как на автора баллад. Под балладою тогда разумели короткий рассказ о любви, большею частью несчастной: могилу, привидение, ночь, луну, а иногда домовых и ведьм считали принадлежностью этого вида поэзии».

Успех баллад Жуковского у читателей определялся, в первую очередь, сказочной увлекательностью напряженного сюжета. Другая причина – выразительность и эмоциональность языка поэта:

Пышет конь, земля дрожит:
Брызжут искры от копыт,
Пыль катится вслед клубами:
Скачут мимо них рядами
Рвы, поля, бугры, кусты,
С громом зыблются мосты...
(«Людмила»)

Сюжеты своих баллад Жуковский заимствовал у современных ему крупнейших западных поэтов-романтиков: Гете, Шиллера, Саути, Вальтер Скотта. Однако он не просто переводил их на русский язык, а переделывал, стремясь их приспособить к собственному мироощущению. Так, заимствовав сюжет «Людмилы» из немецкого поэта Бюргера («Ленора»), Жуковский снял черты морализаторства, усилил эмоциональное начало. Он перенес действие в Россию, дал героине русское имя, ввел в текст русские фольклорные обороты. Однако романтически условный сюжет (мертвый жених в полночь является за своей невестой) не давал возможности создания русского народного колорита.

В 1812 г. Жуковский создает новую балладу на тот же сюжет «Светлана», и «Светлана» была признана современниками лучшим произведением Жуковского. Со Светланой сравнивает свою героиню Татьяну Пушкин в «Евгении Онегине».

В «Светлане» элементы народности усилены, ярко освещена этнографическая сторона русского деревенского быта. Завязка, гадание девушек в «крещенский вечерок», настраивала чита-

телей на бытовую достоверность. Автор вынужден теперь был ужасы, лежащие в основе сюжета, объяснить не как вмешательство потусторонних сил в человеческую жизнь, а всего лишь как сновидение героини.

О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана, –

обращается к героине поэт. В балладе преобладает редкий для Жуковского жизнерадостный колорит, в тексте даже есть элементы шутки, а развязка счастливая.

Одновременно со «Светланой» он создает еще одну балладу на национально-русский сюжет, «Громобой». «Громобой» и «Вадим» составляют две части большой баллады – поэмы «Двенадцать спящих дев». Сюжет здесь заимствован из немецкого писателя Шписа, но перенесен в русское средневековье. Лиризм, легкая ирония, живописные картины природы соседствуют с балладными «чудесами», в первой части адски-ужасными, во второй мистически-божественными.

Жанру баллады Жуковский оставался верен на протяжении четверти века, до 1833 г. За это время он написал их около сорока. Тематически они связаны с античностью, рыцарским средневековьем и русской стариной. Но несмотря на различия тем, все они составляют художественный цикл, скрепленный и жанровым и смысловым единством. Основная проблематика этого цикла – вопросы выбора между добром и злом. Добро и зло даются в резком противопоставлении, их источник, по Жуковскому, в управляющих человеком таинственных потусторонних силах. Романтическое «двоемирие» предстает, преимущественно, в образах бога и дьявола, причем дьявол у поэта не дух протеста, а воплощение зла. Борьба за спасение души от гибели – основная коллизия многих баллад.

IV

Был, однако, короткий период, когда Жуковский оставил свой мечтательный элегический лиризм.

В 1812 г. охваченный патриотическим порывом поэт записывается в московское ополчение. Во время Бородинского сражения он в резерве, в двух верстах от поля боя. Вскоре он создает лирико-патриотическую поэму «Певец во стане русских воинов», одно из лучших произведений, рожденных войной 1812 г.

Певец, окруженный воинами, поднимает кубок, воздавая славу и хвалу героям Отечественной войны. Он вспоминает их великих предшественников, русских полководцев Святослава, Дмитрия Донского, Петра I, Суворова, потом произносит тосты за отчизну, за «ратных и вождей» русской армии, давшей отпор Наполеону, и первым из них вспоминает Кутузова. Воины вторят певцу.

Жуковский, признанный глава романтического направления в тогдашней литературе, не мог не внести в эту свою поэму романтического одушевления. Но он обнаружил, что при разработке военно-патриотической темы его традиционных выразительных средств оказалось недостаточно. Понадобились торжественный тон, одическая патетика, возвращение к классицистскому принципу хвалебной песни.

Отчизне кубок сей, друзья!

.....

О, родина святая,

Какое сердце не дрожит,

Тебя благославляя?

Это горячие, прочувствованные строки. «Судьба велела мне видеть войну во всех ее ужасах. Минута энтузиазма... застави-

ла меня броситься на такую дорогу, которая мне совсем не известна», – признавался Жуковский одному из друзей. Опыт его «Певца» для русской литературы оказался плодотворным. Поэма предвосхищала гражданскую лирику декабристов, намечала новые пути для взволнованной трактовки патриотической темы.

V

Слава «Певца во стане русских воинов» во многом определила дальнейшую поэтическую судьбу Жуковского. В середине 1810-х гг. он ведущий русский поэт, его имя в центре литературной полемики, он один из основателей «Арзамаса». В отдельных его стихах появляются новые для него социально-критические мотивы.

Он судит

...гнусный свет,

Где милое один минутный цвет;

Где доброму следов ко счастью нет;

Где мнение над совестью властитель;

Где все, мой друг, иль жертва, иль губитель!

(«Тургеневу в ответ на его письмо»)

Но центральными темами элегий и песен Жуковского этих лет по-прежнему остаются темы неразделенной любви, таинственности и тоски. Мечтательное воображение, господствовавшее и в ранних его стихах, перерастает в цельную мистическую концепцию, в основе которой вера, что в загробном мире человек найдет всех близких людей такими, какими он их знал на земле.

Противопоставление «нетленных благ» «благам изменяющим» в центре стихотворения «Теон и Эсхин» (1814). Эсхин думал найти счастье в славе, роскоши, чувственной любви. Но

тщетно: в сердце его осталась только скука. Теон же был по-настоящему счастлив, познал «земное блаженство»: он любил, и хотя его любимая погибла, даже воспоминание о ней наполняет его душу радостью. Он верит в свидание с любимой за гробом и благодарит судьбу за «нетленные блага» – «любовь и сладость возвышенных мыслей».

К 1810-м годам ясно определилась главная черта художественной манеры Жуковского – лиризм. Творчество его, при всей сосредоточенности на чувствах и переживаниях, менее психологично, чем творчество Пушкина и Лермонтова. У него тщетно было бы искать анализа, детализации чувств. Но каждая картина, каждое слово лирически окрашены, и скрытая эмоциональность делает строки Жуковского полными неувыдающего очарования.

Безмолвное море, лазурное море,
Стою, очарован, над бездной твоей.
Ты живо, ты дышишь: смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земные неволи
Далекое светлое небо к себе?

Эти первые строки из элегии «Море» (1822) обладают, будучи нерифмованными, удивительной напевностью, передают перемены настроения поэта. Взволнованная интонация достигается ритмическими повторами, синтаксическими параллелизмами, серией вопросов-обращений. Жуковский существенно обогатил и языковую и ритмическую палитру русской поэзии.

VI

Жуковский избегал в поэзии текущей проблематики, злобы дня.

С нарастанием в стране революционного движения декабристов эта его позиция вызывала все больший протест.

Между тем поэт был приглашен на придворную службу. Сначала он учил русскому языку немецкую принцессу Шарлотту, жену будущего царя Николая I, затем стал воспитателем наследника престола, будущего царя Александра II. Придворная служба поэта длилась с 1818 по 1841 г. Жуковский расценивал ее как своего рода просветительскую миссию, считал, что будет содействовать нравственному совершенствованию «царской души».

При царском дворе Жуковский держался независимо. Ему не раз удавалось облегчить участь современников, попавших в опалу. Известно, в частности, его заступничество за сосланного Пушкина.

К рубежу 1820-х гг. объем литературной деятельности Жуковского сокращается. Изредка публикуются новые его элегии и баллады, но сами эти жанры уже перестают удовлетворять читателя. Поэт-декабрист В. Кюхельбекер выражает общее отрицательное отношение декабристов к поэзии Жуковского, когда пишет: «Картины везде одни и те же: луна, которая, разумеется, уныла и бледна, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения... в особенности же туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя».

Рылеев писал Пушкину, что влияние Жуковского было для русской литературы «пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопре-

деленность и какая-то туманность, которые в нем иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали».

Принципиальный смысл декабристской критики Жуковского был качественно иным, чем смысл критики «шишковистов» из «Беседы». Декабристская критика поэзии Жуковского отражала борьбу декабристов за народность литературы и за революционный романтизм. Но критика эта была односторонней, велась лишь с точки зрения актуальных литературных задач момента. Пушкин был более историчным и с категоричным осуждением Жуковского не соглашался. «Зачем, – спрашивал он Рылеева, – кусать нам груди кормилицы нашей? Потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности». Позицию Пушкина разделял Белинский, видевший в Жуковском главу целого периода в истории русской литературы.

VII

На протяжении последних трех десятилетий своей жизни Жуковский занят преимущественно переводами. О специфичности работы над переводом стихотворных произведений он оставил меткое афористическое суждение: «Переводчик в прозе есть раб, переводчик в стихах – соперник». Крупнейшая его работа в этом направлении – перевод на русский язык «Одиссеи» Гомера. Жуковский обладал чувством большой ответственности как переводчик. В предисловии к первому русскому изданию «Одиссеи» он писал: «Переводя Гомера, надобно отказаться от всякого щегольства, от всякой украшенности, от всякого покушения на эффект».

Вместе с тем для поэта-романтика работа над переводом нередко становилась формой для выражения собственных мыслей и чувств. «Это вообще характер моего авторского творчества: у меня почти все или чужое или по поводу чужого – и все, однако,

мое», – писал он в 1847 г. И в самом деле нередко бывало, что взяв за образец чужое произведение, отталкиваясь от него, Жуковский создавал свое собственное.

В последние годы жизни поэтический труд стоил Жуковскому больших усилий. Он почти ослеп, но продолжал работать.

Ему суждено было пережить Пушкина, Лермонтова, Гоголя. За несколько месяцев до смерти он создал стихотворение «Царскосельский лебедь». В нем рассказывается о лебедь, который пережил всех своих современников и остался один. Перед смертью он пропел, «прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый» и потом в последнем порыве взлетел к небу.

Подводя итог литературной деятельности Жуковского, Белинский подчеркивал: «Одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина».

ГЛАВА IV. К.Н. БАТЮШКОВ (1787–1855)

*Стих его часто не только слышим уху,
но видим глазу: хочется оцупать
извивы и складки его мраморной
драпировки.*

В.Г. Белинский.

Наряду с Жуковским, Батюшков – ближайший предшественник Пушкина. Он поэт-романтик, эпикуреец, создатель исполненного ясности и гармонической стройности стиха.

I

Константин Николаевич Батюшков – выходец из обедневшей дворянской семьи. Он получил хорошее образование в

частных петербургских пансионах, изучил малораспространенный тогда в России итальянский язык. С 1803 г. на службе, сначала в Министерстве народного просвещения, затем в Публичной библиотеке. В 1807 г. он ополченец в прусском походе против Наполеона, тяжело ранен. Однако во время войны 1812 г. он снова в действующей армии, участвует в крупных сражениях, в заграничных походах. После отставки не умеет вновь приспособиться к мирной жизни, к службе, переживает нервное расстройство. Затем около пяти лет проводит сотрудником дипломатической миссии в Италии. Заболевает там вновь душевной болезнью, на этот раз неизлечимой. С начала 1820-х гг. и до самой смерти к сознательной деятельности Батюшков не возвращается.

Творческий путь поэта принято разделять на два периода. Рубеж между ними – война 1812 г.

II

Самое раннее дошедшее до нас стихотворение Батюшкова датируется 1802 или 1803 г. В первые десять лет творческой деятельности у поэта преобладает мажорная интонация. Он воспевает простые житейские радости, дружбу, чувственную любовь. С первых же произведений намечается его существенное отличие от Жуковского: воспринимая жизнь как миг, все уносящий с собою («Умру, и все умрет со мной!»), Батюшков приглашает в то же время «искать веселья и забавы, и мудрость с шутками мешать». Портрет любимой у Жуковского исполнен неземного, туманного очарования:

Всечастно улетаешь
 Душою к тем краям,
 Где ангел твой прелестный.
 Твое блаженство там,
 За синевой небесной...

У Батюшкова портрет любимой тоже романтически преображен и условен, но в нем звучит земное жизнерадостное чувство:

И ты, моя Лилета,
 В смиренный утолок
 Приди под вечерок,
 Тайком переодета!
 Под шляпою мужской
 И кудри золотые,
 И очи голубые,
 Прелестница, сокрой!
 Накинь мой плащ широкий,
 Мечом вооружись
 И в полночи глубокой
 Внезапно постучись...
 («Мои пенаты»)

В стихотворении Батюшкова «Мои пенаты» звучит оппозиционное отношение к «свету», к царедворцам и «надутым князьям» с их «наемною душой». Гораздо симпатичнее герою послания: убогий, седой, инвалид-солдат. Сам герой, убежденный противник «злата и честей», находит счастье лишь в чтении любимых поэтов да в поэтическом творчестве. Герой «Моих пенатов», упивающийся жизнью счастливцев, воплощает скорее желаемые, чем подлинные черты автора. Батюшков создает для себя вымышленный гармоничный мир, в котором нет места пошлости и обыденности.

Под влиянием «Моих пенатов» Рылеев написал стихотворение «Пустыня», Пушкин – «Городок». Пушкин впоследствии замечал, что стихотворение Батюшкова «дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения, слог так и трепещет, так и льется, гармония очаровательна». Вместе с тем он осуждал

Батюшкова за увлечение условно-поэтическими образами, заимствованными из античной мифологии: «Главный порок в сем прелестном послании есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни».

И в самом деле, мифологические имена (например, Лилета, в процитированном выше отрывке) вступали в противоречие с достоверными описаниями быта и чувств, требовали от читателя «классической» подготовки. Но Батюшков оставался романтиком. Его эпикуреизм – это царство мечты, форма бегства от повседневности. И так во многих его ранних стихотворениях: образы жизнеподобны, но вплетены в систему романтического мировосприятия.

Мотив мечты проходит красной нитью через творчество Батюшкова. «Мечта» – название его первого дошедшего до нас стихотворения, тема мечты звучит в его более поздних стихах. Но Батюшков и активный участник литературных споров, член «Арзамаса», остроумный сатирик. Пользовалась широкой известностью его едкая сатира на шишковистов «Видение на берегах Леты» (1809). В реке забвения Лете навеки утонут, утверждает он, бездарные эпигоны классицизма и среди них сам Шишков. Сатира Батюшкова отличалась легкостью стиха и изяществом.

Жизнеощущение поэта резко изменилось во время Отечественной войны 1812 г. В послании «К Дашкову» уже первая строчка декларативна:

Мой друг, я видел море зла.

Картины страданий, которые принесла война мирным людям, описание разрушенной Москвы сопровождаются выводом: с прежним наивным эпикурейством должно быть покончено. Нельзя воспевать

...любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой,

пока врагу не воздано по заслугам.

Батюшков, как и Жуковский, обнаруживает, когда пишет о войне, недостаточность выразительных средств арсенала романтизма. В стихотворении «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 г.» в качестве снаряжения воюющих он называет традиционные классицистские щиты и мечи. В стихотворении «Переход через Рейн. 1814» картины боя становятся более реальными, Батюшков подходит к раскрытию конкретных явлений:

Здесь пушек светла медь сияет за конями
И ружья длинными рядами...

Особенно выразителен в стихотворении образ огромной страны, посылающей своих сынов освобождать Европу от наполеоновского владычества:

Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала.

Общественное возбуждение и подъем, охватившие передовые круги русского дворянства после победы над Наполеоном, не только не захватили Батюшкова, но напугали его. В статье «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815) он становится на ретроградную точку зрения, отвергая неверие

и материализм, объявляя французскую революцию и Наполеона их пагубными следствиями.

Он переживает тяжкий духовный кризис, обращается к Жуковскому: «Дай мне совет, научи меня, наставь меня. Скажи мне, к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную...»

Изменяются и темы его поэтического творчества. В нем нарастают мотивы одиночества и тоски. Люди теперь, совсем в духе Жуковского, представляются ему «минутными странниками», которые пересчитывают дни, оставшиеся до могилы. Появляется новый для Батюшкова мотив надежды на потусторонний мир: «Ко гробу весь путь мой как солнцем озарен» («К другу»).

Трагические обертоны слышатся в поздних стихотворениях Батюшкова, касающихся различных тем. В цикле стихотворений, посвященных судьбе поэта, проводится романтический тезис: «чернь», «толпа» травит гения, завидуя его таланту. «До самой старости преследуемый роком» нищий и слепой Гомер (Омир) вынужден скитаться, не имея пристанища; Гезиод, певец блаженства смертных, гибнет от руки завистника-убийцы /«Гезиод и Омир – соперники»/. В элегии «Умирающий Тасс» автору «Освобожденного Иерусалима» вложен в уста монолог, включающий сокровенные думы самого Батюшкова: поэт всегда обречен на страдания, и единственным освобождением для него является смерть. Полно трагического отрицания смысла жизни последнее стихотворение Батюшкова «Изречение Мельхиседека» (1821).

Но в конце 1810-х гг., в последние годы своего творческого пути Батюшков создает и цикл стихотворений, поражающих классической гармонией. Исчезнувшая красота античного мироощущения воспета в его переводах из древнегреческой Антологии и в цикле «Подражания древним». Посетив развалины древней Байи, близ Неаполя, Батюшков пишет стихотворение

«Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы». В нем нет ни романтического томления, ни тоски по невозвратному былому, но мотив гибели античного мира дан в скупых и строгих образах:

И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.

Перечисляя исторические заслуги Батюшкова перед русской поэзией, Белинский подчеркивал: «Русская поэзия не знала еще Греции... как всемирной мастерской, через которую должна пройти всякая поэзия в мире, чтобы научиться быть изящной поэзией. Он был первый из русских поэтов, побывавший в этой мировой студии мирового искусства». Батюшков открыл для русского читателя и Байрона. Ему принадлежит первый перевод из «Чайлд-Гарольда»: «Есть наслаждение и в дикости лесов...»

Сдержанная, спокойная интонация многих последних стихов Батюшкова оказала влияние на Пушкина.

Но дарование Батюшкова так и не раскрылось полностью. Его творческое развитие оборвалось рано. «Что говорить о стихах моих! – сказал он однажды. – Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»

ГЛАВА V. ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 1816–1825 гг.

I

После войны 1812 г. социально-экономические противоречия в стране обострились. Напрасно ждал народ-победитель, отстоявший родину, освободивший Европу от Наполеона, быстрой ликвидации крепостничества. Напротив, во всех областях по-

литики и идеологии царизм перешел на крайне реакционные позиции. Стали вспыхивать крестьянские волнения: на Дону, на Урале, под Москвой. В Петербурге осенью 1820 г. восстали солдаты Семеновского полка.

Как отражение народных антикрепостнических настроений, в кругу передовой дворянской молодежи с 1816 г. начинают возникать тайные политические общества, которые ставят целью уничтожение крепостного права и царского абсолютизма. Эти «лучшие люди из дворян», как их характеризовал В.И. Ленин, позднее стали называться декабристами: 14 декабря 1825 г. они подняли в Петербурге вооруженное восстание.

Царизму удалось сравнительно легко восстание подавить. Некоторые из его руководителей были казнены, многие отправлены на каторгу. Дворянское революционное движение было разгромлено. Но дело декабристов не пропало даром, их борьба положила начало организованному освободительному движению в России, которое в конечном итоге завершилось победой Великой Октябрьской социалистической революции.

Среди декабристов было много одаренных поэтов и публицистов (К.Ф. Рылеев, А.А. Бестужев, В.К. Кюхельбекер, Ф.И. Глинка и др.) Подхватив едва намечившиеся критические тенденции в творчестве Жуковского и Батюшкова, они резко усилили их. Они во многом шли за Державиным. Они потребовали, чтобы литература связала себя с делом освободительной борьбы. Патетически взволнованно они обличали социальную несправедливость. Выражение страстей у них преобладало над изображением реальной жизни.

Интерес к высокой гражданской проблематике сближает поэтов-декабристов с классицистами-просветителями. Подчас близок «высокому стилю» классицистов и их поэтический словарь. Но на смену холодному, рассудочному началу поэзии XVIII века у декабристов приходит романтическая мечта о за-

втрашнем дне, утверждение эмоционального мужественного героя, полного твердой решимости бороться с деспотизмом до конца, готового пожертвовать жизнью за народную свободу.

Идеология декабристов оказала громадное влияние на всю литературную и общественную жизнь России. Идеино связаны с декабризмом были А.С. Грибоедов и А.С. Пушкин.

II

Внимание, которое уделяли декабристские тайные общества вопросам литературы, было закреплено программными требованиями. Устав одного из ранних декабристских обществ, Союза благоденствия (1818–1821), вменял своим членам в обязанность «убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мысли, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в приличии выражений, а всего более в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих». Термин «высокий» в кругу декабристов соответствовал революционной цели. В этом смысле его употребляли поэты-декабристы. У Рылеева, например, читаем:

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу.
 («Бестужеву»)

В том же смысле позднее употребит это слово Пушкин в «Послании в Сибирь», обращаясь к ссыльным декабристам:

Не пропадет ваш скорбный труд
 И дум высокое стремленье.

Декабристы вполне справедливо полагали, что литературные кружки и объединения могли служить оформлению оп-

позиционных настроений. Декабрист А.А. Бестужев писал в 1824 г.: «Чтения публичные в литературных обществах, возбуждая соревнование между молодыми писателями, развивают и в публике вкус к родной словесности. Нередко те, которые приезжают туда, чтобы других посмотреть и показать себя, возвращаются домой с новыми понятиями и с полезнейшею охотою». Эти многозначительные слова расшифровываются следующим его признанием следственной комиссии по делу декабристов: «В 1812 г. свел знакомство с г. Рылеевым, и как мы иногда возвращались из Общества соревнователей просвещения и благотворения, то и мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня еще более.

Так эти грезы оставались грезами до 1824 г., в который он сказал мне, что есть тайное общество, в которое он уже принят и принимает меня».

Разумеется, этот путь прошли далеко не все члены прогрессивных литературных объединений. Но декабристы стремились влиять на литературные объединения, преобразовывать их в революционном духе. После того, как кончилась неудачей их попытка овладеть «Арзамасом», они стали активно воздействовать на общество «Зеленая лампа» (1819–1820). Пушкин, говоря о собраниях «Зеленой лампы», членом которой он состоял, упоминал, что разговоры велись

Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного,
(«В.В. Энгельгардту»)

Вольное общество любителей российской словесности (оно же Общество соревнователей просвещения и благотворения)

стало основным легальным литературным центром, связанным сначала с Союзом благоденствия, а затем с петербургским Северным обществом декабристов.

Околодекабристские объединения участвовали в издании журналов «Соревнователь», «Сын отечества» и альманахов «Полярная звезда» и «Мнемозина». «Полярная звезда», издававшаяся Рылеевым и А. Бестужевым, была главным и лучшим печатным органом декабристов.

III

Во всех этих периодических изданиях важное место отводилось статьям на литературные темы. В них авторы, насколько позволяли цензурные условия, проводили мысль о связи литературы с освободительным движением. В статье выдающегося критика, предшественника Белинского, А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 г.» читаем: «Гром отдаленных сражений одушевляет слог автора и пробуждает праздное внимание читателей: воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов и под политической печатью словесность кружится в обществе». В статье К. Рылеева «Несколько мыслей о поэзии», напечатанной в 1825 г. в «Сыне отечества», содержались настоятельные требования к писателям «осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин».

Ф. Глинка в статье «Рассуждение о необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 г.» (1816) доказывал, что литература должна быть на уровне героизма патриотов, сражавшихся за родину: «во все времена и у всех народов слава языка следовала за славою оружия, гремя и возрастая вместе с нею». Важным был и его призыв к демократизации литературы: слог должен быть «понятен не для одних ученых, но для людей всякого состояния, ибо всякие состояния участвовали в славе войны и в свободе отечества».

Источником самобытной литературы признавался фольклор. Постоянные ссылки В. Кюхельбекера на «песни и сказания», темпераментные призывы А. Бестужева читать «возвышенные песнопения старины русской», «дабы в них найти черты русского народа и тем дать настоящую физиономию языку», обоснование тезиса о богатстве фольклорного материала в статьях П. Катенина, Н. Бестужева в «Соревнователе» и «Сыне отечества» – все это выражения единой определенной линии.

Вопрос о народности литературы оказался тесно связанным с вопросом о герое. На место героя-мечтателя Жуковского и героя-эпикурейца Батюшкова декабристы выдвигают нового героя, свободолюбца, который протестует против несправедливого общественного уклада, даже начинает против него борьбу.

По этим основным вопросам развернулась ожесточенная полемика между писателями школы Жуковского и писателями-декабристами, которые к 1822–1823 гг. достаточно обособились друг от друга. Отношение к Жуковскому меняется у декабристов резко и быстро. В 1821 г. К. Рылеев и А. Бестужев относятся к нему с уважением, граничащим с благоговением. В 1824 г. оба отказываются от прежних своих его оценок. Характерно, что резкий отзыв Рылеева о Жуковском в письме Пушкину, который мы цитировали выше, относится к февралю 1825 г. – времени, когда политическая и литературная борьба достигла небывалой остроты.

В литературных статьях и спорах, а также в поэтической практике декабристов формировалась эстетика революционного романтизма.

IV

В ранней декабристской поэзии /1816–1820 гг./ тираноборческие настроения звучали преимущественно в произведениях на историческую тему. И изображаемая эпоха, и герои рисова-

лись во многом абстрактно. Так, в «Опытах двух трагических явлений» Ф. Глинки трудно догадаться, о какой эпохе и каком народе идет речь. Страждущая отчизна изнывает под властью тирана, и заговорщики-патриоты, не ведающие сомнений и колебаний, решают поднять восстание. Слог Глинки возвышен и декламационен, на стилистике лежит отпечаток классицистской патетики. Авторский голос, предающий произведению индивидуальность, приглушен.

На раннем этапе формирования декабристского революционного романтизма уже разрабатываются вопросы историзма и национальной культуры. Первоначально историзм проявляется как внимание к прошлому, стремление выяснить, чем одна эпоха отличается от другой. Эпоха воссоздается при помощи весьма условных приемов – исторических или мифологических имен, единичных бытовых реалий. Постепенно интерес поэтов переходит к атмосфере бытового уклада, жизни, нравов древней Руси. Ф. Глинка в «Опытах священной поэзии» свободно разрабатывает библейские мотивы, приспособивая их к декабристской идеологии. Он создает образ поэта-пророка, сурового праведника, обличителя зла. Его стихотворение «Пророк» оказало влияние на более позднее одноименное пушкинское:

Воздвигнись, мой Пророк,
Ты будешь божьими устами!
Иди, разоблачай порок
В толпах, смущенных суетами.

Эта же тема характерна для В. Кюхельбекера, который в стихотворении «Поэты» (1820) проводил мысль о том, что поэт – всегда пророк «возвышенных» истин, смелый певец, выбравший «тернистую дорогу».

Постепенно камерные и гражданские темы в декабристской поэзии начинают соединяться, подобно тому, как в мыслях одного человека равноправно соединяются мысли о своей личной судьбе и о судьбе родины. Отражая в стихах свой внутренний мир, поэты-декабристы отходят от деления жанров на «высокие» (гражданские) и «легкие» (интимные).

Вначале герой декабристской поэзии наделен только одной какой-нибудь характерной чертой. В «думах» К. Рылеева Дмитрий Донской и Иван Сусанин характеризуются любовью к родине, Наталья Долгорукая – преданностью мужу, Волынский – свободолюбием.

В поэзии сентиментализма и элегического романтизма изображался не характер, а отдельные чувства и настроения (горечь разлуки, радость разделенной любви, тоска по отцветающей молодости и т. д.). Тем же путем шла ранняя декабристская поэзия. Но в 1820-е гг. в творчестве декабристов происходит перелом от описания чувств к изображению характера. Герой в их элегиях, посланиях, посвященных частным, интимным сторонам жизни, обогащается чертами общественного человека. В лирике В.Ф. Раевского конца 1810-х гг. господствовала схема: личная жизнь – благо, жизнь общественная – зло («К сельскому убежищу», «Мое прости друзьям»). Затем герой Раевского приобретает черты вольнолюбца, не приемлющего окружающего порядка. В 1822 г. Раевский был арестован в Кишиневе по обвинению в революционной пропаганде среди солдат. В тюремных его стихах «К друзьям в Кишинев» и «Певец в темнице» герой дан как человек мужественный и суровый, жертвующий личным благом во имя народной свободы. Герой Раевского не произносит пламенных монологов перед судьями, как это свойственно романтическим произведениям других поэтов, он хранит гордое молчание.

Наиболее яркий образ героя-революционера создан Рылевым.

Его стихотворение «Гражданин» – высшее достижение декабристской лирики. Судьба родины становится здесь судьбой поэта, частное и общественное сливаются.

V

В многочисленных произведениях декабристских писателей на историческую тему герои разных эпох и народов оказывались, как правило, осовремененными, близкими героям декабристской лирики. Их внешний облик экзотичен, характер утрирован, они пламенные вольнолюбцы, борцы против социальной несправедливости. Отвлеченность и известная метафизичность в понимании внутреннего мира человека приводили к тому, что человеческая психология изображалась одинаковой во все времена. К постижению человеческого характера декабристы двигались только в лирике, отражая свои собственные переживания. Сравнительно слабо была развита декабристская драматургия (отметим лишь тираноборческую трагедию В. Кюхельбекера «Армяне»), почти совсем декабристы не разрабатывали прозаических жанров.

По мере приближения к 14 декабря 1825 г. помимо проблемы изображения героя некоторые декабристы подходят и к другой проблеме, проблеме народа и его места в истории. От представления о народе как о слепой силе, которая полностью подчинена вождям («Войнаровский» Рылеева, первая редакция «Армяне»), декабристы идут к пониманию того, что вождь нуждается в народной поддержке («Наливайко» Рылеева, вторая редакция «Армяне»). Они останавливаются перед решением проблемы народа как основной силы истории, которая сама выдвигает вождей. Народности, как отражения народного взгляда на вещи, народного мировоззрения, народных оценок событий,

декабристы не знали. Однако народная точка зрения, прочувствованная, хотя и не обобщенная теоретически, находит отражение в некоторых их произведениях кануна восстания, например, в агитационных песнях Рылеева и Бестужева.

Подчеркивая пропагандистскую функцию литературы, декабристы медленно, но неуклонно шли в то же время к многогранному изображению жизни: углублялись их внимание к характеру героя, трактовка исторических событий, подход к проблемам народности. Трагические события 14 декабря 1825 г. оборвали этот процесс.

После 14 декабря декабристы на каторге и в ссылке продолжают разрабатывать некоторые из своих прежних тем, однако по существу это уже новая поэзия, отражающая и трудные условия, в которых они оказались «во глубине сибирских руд», оторвавшись от общественной и литературной жизни, и новые творческие задачи, поставленные новой исторической эпохой.

VI

В период, предшествовавший восстанию, в Москве действовал философский кружок, так называемое «общество Любомудрия» (1823–1825). Его главой был В.Ф. Одоевский, секретарем Д.В. Веневитинов. Любомудры противопоставляли себя декабристам как сторонники «чистой мысли»; они стремились на основе учений Шеллинга, Фихте и Канта построить новую идеалистическую философскую систему. Общество распалось сразу же после событий 14 декабря из-за страха перед полицейскими репрессиями.

В историю русской поэзии любомудры, в первую очередь Веневитинов, вошли как поэты, поставившие целью соединить поэзию с философией. Многие стихотворения Державина, Жуковского, Пушкина, написанные до любомудров, могли быть

с большим основанием, чем их стихи, причислены к философской лирике. Однако их философский характер далеко не всегда открывался перед читателем. Нужно было выработать общественную установку на поэзию мысли, и эту задачу разрешил Дмитрий Владимирович Веневитинов.

Его творческая деятельность продолжалась весьма недолго, он умер в 1827 г. в возрасте 22 лет. Ранние его стихи идут в русле Жуковского, позднее в отдельных стихах звучат декабристские мотивы («Песнь грека», «Новгород»). Центральное место в поэзии Веневитинова занимают философские стихи.

Круг тем этих стихов – природа и человек, назначение поэта, смысл жизни, их герой не «я», а «мы», человечество как целое. Характерно в этом смысле стихотворение «Жизнь» (1826):

Сначала жизнь пленяет нас:
В ней все тепло, все сердце греет
И, как заманчивый рассказ,
Наш ум причудливый лелеет.
Кой-что страшит издадека, –
Но в этом страхе наслажденье:
Он веселит воображенье,
Как о волшебном приключенье
Ночная повесть старика.
Но кончится обман игривый!
Мы привыкаем к чудесам –
Потом на все глядим лениво,
Потом и жизнь постыла нам:
Ее загадка и завязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.

Веневитинов написал несколько статей в обоснование философского направления в поэзии. Среди них особенно важна статья «О состоянии просвещения в России», где утверждается, что поэт, ставя обобщенно-философские вопросы, одновременно должен стремиться к злободневности, к острой социальной проблематике, вступая «в борьбу с судьбою».

Хотя Веневитинов, как и другие любомудры, испытал воздействие немецкой идеалистической натурфилософии, но ее идеи он воспринимал лишь эстетически. Он выдвигал на первый план человеческие, поэтические переживания, а к философии относился как к простой мифологии природы в модернизированной форме.

VII

Эпоха 1816–1825 гг. – эпоха преобладания поэзии. Трудно найти в истории русской литературы другой такой период, который ознаменовался бы появлением столь большого созвездия новых поэтических имен. По замечанию Гоголя, от Пушкина, точно от «поэтического огня, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты».

Среди них – герой войны 1812 г., один из организаторов партизанского движения на оккупированной неприятелем территории Денис Васильевич Давыдов (1784–1839). Он начинал свой путь как баснописец, но приобрел широкую известность после войны 1812 г., когда в списках стали распространяться его гусарские стихи. В этих стихах, эмоциональных и звонких, раскрывался внутренний мир русского солдата – удалого бывалого гусара, честного человека, неподкупного смелого патриота. Такое сниженное толкование военной темы противопоставляло поэзию Давыдова, в частности, его стихотворения «Гусарский пир», «Песня», официальному «одическому» воспеванию воен-

ной героики. Именно по этой причине Давыдов подвергался служебным преследованиям и не мог напечатать своих гусарских стихов до 1830-х гг. Позднее он перешел к военно-исторической прозе. Выступил с чрезвычайно ценными по фактическому материалу «Военными записками», касающимися эпохи борьбы с Наполеоном.

Яркое имя на поэтическом небосводе конца 1810-х и 1820-х гг. – Петр Андреевич Вяземский (1792–1878). Он тоже участник войны 1812 г., его известность началась оппозиционными и сатирическими стихами «Негодование», «Волнение», «Петербург», «К кораблю». В последнем из них, написанном в 1819 г., Россия изображена как корабль, идущий к берегу, где его ждет

Свобода смелая, народов божество,
Где рабства нет вериг, оков немеют звуки...

Большой резонанс вызвало стихотворное обращение Вяземского к крепостному поэту И. Сибирякову, которого его владелец, помещик Маслов не отпускал без выкупа. Вяземский, обличая крепостничество, восхваляя «простолюдина», рожденного «с возвышенной душой». Он участвовал в составлении записки о необходимости освобождения крестьян, поданной Александру I.

Но пределы его либерализма были ограничены: в том же стихотворении «К кораблю» страж корабля – «орел двуглавый» (символ царского самодержавия). Зная о существовании тайного общества, он не захотел стать его членом.

Все же поэт находился у властей под подозрением, за ним был установлен секретный полицейский надзор.

Вяземский выступал сторонником «поэзии мысли» и не раз подчеркивал, что к выразительным средствам он безразличен.

В результате многие его стихи отличались поэтической небрежностью. Пушкин, разбирая его стихотворение «Нарвский водопад», считал, например, неудачной характеристику водопада как «влаги властелина»: «Вла Вла – звуки музыкальные, – писал он Вяземскому, – но можно ли, например, сказать о молнии властительница небесного огня? Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь». Но из стихотворения Вяземского «Первый снег», отличавшегося пластической зримостью зимнего пейзажа, Пушкин взял эпиграф к «Евгению Онегину»: «И жить торопится, и чувствовать спешит».

Вяземский, друг Пушкина, выступал и как критик. Он написал, в частности, значительные статьи о поэмах Пушкина, о комедии Гоголя «Ревизор».

В 1820-е гг. пользовался большой популярностью поэт Николай Михайлович Языков (1803–1846). Он не был членом декабристских организаций, но идеи декабристов оказали сильное влияние на его творчество. Патриотизм, свобода личности – главные одушевлявшие его темы.

Для нас закон царя не есть закон судьбы,
Прошли те времена – и мы уж не рабы, –

писал он в 1823 г. Языков острее других поэтов чувствовал, что «крепостная Россия забита и неподвижна» (выражение В.И. Ленина). Во многих его стихах, как в стихотворении Пушкина «Свободы сеятель пустынный», звучит горечь по поводу слабости политического протеста, смирения перед силой самодержавия:

Я видел рабскую Россию:
Перед святыней алтаря,

Гремя цепями, склонивши выно,
Она молилась за царя.

Когда восстание было подавлено, Языков летом 1826 г. создал под впечатлением известия о казни Рылеева одно из лучших своих стихотворений, где возник образ грядущей борющейся России:

Не вы ль, убранство наших дней,
Свободы искры огневые –
Рылеев умер, как злодей! –
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

Почти все 1820-е гг. Языков учился в Дерптском университете. Он написал множество задорных вольнолюбивых студенческих песен. До наших дней исполняется одна из его песен, «Нелюдимо наше море» – подлинный гимн мужеству и бесстрашию:

Будет буря, мы поспорим
И помужествуем с ней...

С 1830-х гг. Языков отходит от передового литературного движения. Начинается падение его таланта. В его стихах нарастают религиозные и славянофильские мотивы. Подводя итог его творческой деятельности, выдающийся критик-демократ Н.А. Добролюбов писал: «Языков не мог удержаться сознательно на этой высоте, на которую его поставило непосредственное чувство: у него недоставало для этого зрелых убеждений».

VIII

Период 1816–1825 гг. – период преобладания романтизма. Однако параллельно его бурному развитию шел и другой процесс – становления реалистического метода. В баснях Крылова, в бытовых повестях Нарезного из жизни украинских помещиков «Бурсак» и «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», в комедиях А.А. Шаховского, Н.И. Хмельницкого и молодого А.С. Грибоедова видны приметы этого процесса.

Реализм в русской литературе подготовлен и развитием реализма в европейской литературе, начиная с эпохи Возрождения. Реализм возник в эпоху Возрождения, когда человек впервые осознал свою ценность и суверенность, свое деятельное творческое начало. Освобождение чувств, жажда земных наслаждений, стремление к научному познанию жизни явились основой реализма Шекспира, Сервантеса. Основой трагических и комических коллизий в их произведениях стали реальные жизненные отношения, человеческие страсти, их столкновения и борьба.

Эпоха Просвещения открывает новый этап в развитии реализма. В XVIII веке перед общественной мыслью и художественной литературой со всей остротой стала проблема общественной среды и ее влияния на человека. Художественное воспроизведение среды, изображение зависимости человека от обстоятельств, вызванных его общественным положением – это заслуга западноевропейского, прежде всего английского романа и французской драмы XVIII века. Просветительский реализм с большой силой выдвинул роль разума, мира идей, как особой сферы внутреннего мира человека. «Мнения правят миром», – так думали в эпоху Просвещения.

Начало XIX века – период, когда одной из существенных черт общественного мышления становится историзм. Бурные события конца XVIII – начала XIX веков втянули в свой водо-

ворот миллионы людей. История ощутимо вторглась в частную жизнь, заставила искать ключ к пониманию социальных проблем в объективном ходе общественного развития. Одновременно встал вопрос и о национальном самосознании. Романтики указали, что народность должна сделаться принципом художественного изображения. Хотя они понимали ее абстрактно, под их воздействием укрепляется взгляд, что принципом изображения действительности должна стать национально-историческая точка зрения.

Русский реализм явился также художественным выражением идейных процессов, связанных с общественно-политической ситуацией начала 1820-х гг. К 1823 г. повсеместно в Европе национально-освободительные движения подавлены, свирепствует реакция и в России. Горячо поддерживая основные цели движения декабристов, борьбу против крепостного права и самодержавия, Пушкин и Грибоедов задумываются впервые об оторванности движения от народа. Параллельно они решают вопрос о недостаточности романтического подхода к действительности, а стало быть, романтического метода в литературе.

Пушкин, начавший как поэт-романтик, в феврале 1825 г. издает отдельной книжкой первую главу своего реалистического романа в стихах «Евгений Онегин». В том же 1825 г. он заканчивает работу над первым произведением русского реализма в историческом жанре, над трагедией «Борис Годунов». Грибоедов публикует отрывки из только что законченной своей комедии «Горе от ума», первого произведения русского реализма в драматургии на современную тему, в альманахе «Русская Талия» все в том же 1825 г. Эти три произведения – не только высшие творческие достижения периода, предшествовавшего восстанию на Сенатской площади. С них начинается новая эпоха в истории русской литературы.

ГЛАВА VI. К.Ф. РЫЛЕЕВ (1795–1826)

Я не поэт, а гражданин.

К.Ф. Рылеев.

Рылеев – видный политический деятель, глава Северного тайного общества декабристов. После разгрома восстания ему было предъявлено обвинение в подготовке царевубийства, в приговоре солдат к мятежу, а также в том, что он сочинял и распространял «возмутительные» стихи и песни. Политическое дело было тесно связано у Рылеева с поэтическим словом. В словах «Я не поэт, а гражданин» он подчеркивал, что считал себя в первую очередь политиком. Однако крупнейший среди поэтов декабристского революционного романтизма, он был и поэтом, и гражданином.

I

Кондратий Федорович Рылеев происходил из обедневшего дворянского рода, его отец был офицером. Рылеев в 1814 г. окончил военное учебное заведение, кадетский корпус, и принял участие в заграничных походах русской армии, сражавшейся против Наполеона. В 1819 г. он вышел в отставку, стал заседателем палаты уголовного суда.

С детства Рылеев писал стихи. Интерес к литературе привел его в 1821 г. в Вольное общество любителей российской словесности – литературный центр декабристов. Свободолюбивые речи, звучавшие на заседаниях, нашли у Рылеева горячий отклик. Осенью 1823 г. он стал членом Северного тайного общества. В Обществе в эту пору происходила борьба между умеренным крылом (его возглавлял Никита Муравьев) и радикально настроенными последователями руководителя Южного общества Павла Пестеля. Рылеев выступил страстным поборником

последних. Его энтузиазм, ораторский дар, организаторский талант обеспечили ему видное положение в Северном обществе. С ноября 1825 г. он стал его главой. 14 декабря он руководил действиями восставших воинских частей на Сенатской площади.

Через день после этого Рылеев был арестован и заключен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. В числе пяти наиболее видных декабристов 13 июля 1826 г. повешен.

II

Рылеев впервые выступил в печати со стихами в 1820 г., и одно из первых его опубликованных произведений сразу же приобрело широкую известность. Это сатира «К временщику» с подзаголовком «Подражание Персией сатире «К Рубелию»»:

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!

Читатели с первых же строк вспоминали всемогущего царского любимца, организатора военных поселений Аракчеева. Молодой поэт смело прославлял тиранубийство:

Тиран, вострепещи! родиться может он!
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон.

Аракчеев не был прямо назван Рылеевым, и это спасло поэта от расправы. Н. Бестужев вспоминал: «Нельзя представить себе изумления, ужаса, даже можно сказать оцепенения, каким были поражены жители столицы при сих неслыханных звуках

правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему: но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире. Он постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо».

Рылеев быстро рос как поэт. Излюбленный его жанр – послание, однако под его пером этот традиционный для романтиков жанр видоизменяется, приобретает оппозиционную политическую окраску. Стихотворение «Пустыня» (1821) представляет собой вариацию на тему «моих пенатов» Батюшкова. Но воспев в традиционной манере деревенскую идиллию, Рылеев вместо описания тайного ночного свидания с возлюбленной переходит к изображению приемной «надутого вельможи»:

С главою преклоненной
Меж челядью златой
И чинно, и смиренно
Я должен буду ждать
Судьбы своей решенья
От глупого сужденья,
Которое мне дать
Из милости рассудит
Ленивый полуцарь,
Когда его разбудит
В полудни секретарь.

В послании к герою войны 1812 г. генералу А.П. Ермолову (1821) Рылеев призывает его добиться помощи восставшей Греции. В оде «Гражданское мужество» (1823) воспевает адмирала Н.С. Мордвинова, находившегося в оппозиции престолу, стоявшего за реформу государственного строя. Ода «Видение» (1823),

посвященная юному наследнику, содержит программу срочно необходимых для страны преобразований:

Дай просвещения уставы,
Свободу в мысли и словах.
.....
И рабства дух неблагородный –
Неправосудье истреби.

Вскоре, однако, поэт откажется от надежд на преобразования сверху, перейдет на республиканские позиции. Совместно со своим другом А. Бестужевым Рылеев незадолго до восстания создает цикл агитационных песен на популярные в ту пору мотивы. Переработав популярный любовный романс «Ах! скучно мне...», Рылеев и Бестужев пишут песню «Ах, тошно мне...» (1824), где решительно выступают против крепостного права, против произвола и несправедливостей:

Уж так худо на Руси,
Что и боже упаси!

В замечательной песне «Уж как шел кузнец...» (1824) речь идет о народном восстании, о трех ножах, которые будут направлены сначала «на бояр, на вельмож», затем «на попов, на святош», и наконец,

А молитву сотворя,
Третий нож на царя.
Слава!

Взамен романтического кинжала, орудия мстителя-одиночки, Рылеев и Бестужев воспевают нож – народное оружие. Они

как бы предвосхищают революционный призыв 1860-х гг.: «В топоры зовите Русь!» Песни – самые ранние рассчитанные на массовую аудиторию революционные произведения во всей русской литературе. В них свидетельство искреннего стремления декабристов преодолеть трагический разрыв с народом.

Самое значительное произведение Рылеева 1825 г. – стихотворение «Гражданин». В нем звучат патетика и гнев: Рылеев осуждает колеблющихся и нерешительных, тех, кто боится вооруженной борьбы, он смело зовет к восстанию:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?

«Гражданин» распространялся в тысячах нелегальных списков как прокламация, зовущая к борьбе за свободу.

III

С 1821 до начала 1823 г. Рылеев работал над стихотворным сборником «Думы». Думами на Украине называли народные песни исторического характера. Рылеев тоже рисует героев прошлого, но не стремится их достоверно воплотить. Его цель – воспитание гражданских чувств у читателя, и во имя этой цели он отступает от фактов, произвольно модернизирует историю. Он настаивает на праве субъективной трактовки национально-исторической темы. Задачи дня для него всего важнее.

Две главных страсти поэта запечатлены в «думах», любовь к родине и любовь к свободе. Вещий Олег, Дмитрий Донской, Ермак, Богдан Хмельницкий даны как страстные патриоты, Артамон Матвеев, Яков Долгорукий – как борцы с несправед-

ливостью. Даже мстительного беспринципного вельможу XVIII века Волынского Рылеев изображает как борца против тирании. Он вкладывает в его уста собственные мысли:

Но тот, кто с сильными в борьбе
За край родной и за свободу,
Забывши вовсе о себе,
Готов всем жертвовать народу,
Против тиранов лютых тверд,
Он будет и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в чувствах благороден.

Борис Годунов, по Рылееву, в борьбе за престол пошел на преступление лишь для того, чтобы улучшить положение народа:

Я мнил – взойду на трон, и реки благ
Пролью с высот его к народу.

Но сам народ в «думах» изображен как безликая масса, способная лишь следовать за героем. Богдан Хмельницкий, например, едва выйдя из тюрьмы, с удивительной легкостью поднимает казаков на восстание:

Герой вскочил, веселья полный,
Летит – и зрит поля отцов,
И вокруг его, как моря волны,
Рои толпятся казаков.

В то же время народным мнением Рылеев поверяет героя: только народ, считает он, может дать герою верную нравствен-

ную оценку, и через века народная память пронесла прозвища, которые повторяет поэт: вещий Олег, окаянный Святополк.

Рылеев создал в «думах» сильные и цельные женские характеры. Его Глинская жертвует благополучием ради слепого отца, Наталья Долгорукова отправляется в Сибирь за ссыльным мужем.

Свой идеал поэта Рылеев определяет в «думе», посвященной Державину. Поэт, в представлении Рылеева, это высший образец преданности родине и народу. Он гражданин, не ведающий страха перед богатыми и сильными,

Везде певец народных благ,
Везде гонимых оборона
И зла непримиримый враг.

Рылеев выступает глашатаем революционных идей, поэтом-трибуном, стремящимся зажечь энтузиазм у своей аудитории. Риторическими вопросами, повторами, эмоциональными эпитетами он укрепляет в читателе жажду борьбы за справедливость. Но «думы» Рылеева уязвимы с позиций реализма. Пушкин критиковал Рылеева за нарушение исторической правды и однообразность композиции «дум»: «Все они на один покрой. Описание места действия, речь героя и нравоучение». Он сочувственно отозвался только о «думе» «Иван Сусанин», сообщив Рылееву в письме, что по ней «начал подозревать» в Рылееве истинный талант.

В самом деле, в этой «думе» чувствуются реалистические тенденции. Вместо патетического монолога здесь эпическое повествование о подвиге русского крестьянина, который завел в болото, на верную гибель вражеский отряд. Удачны языковые характеристики. На смену условному пейзажу пришло звонкое конкретное описание среднерусской природы:

Сусанин ведет их. Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло;
То скроется быстро, то ярко блеснет,
То тускло засветит, то вновь пропадет.
Стоят, не шелохнясь, и дуб и береза:
Лишь снег под ногами скрипит от мороза.

К «думе» «Иван Сусанин» примыкает «Смерть Ермака», которая стала народной песней.

IV

Завершив цикл «дум», Рылеев принялся за большую поэму на историческом материале. В 1825 г. эта поэма – «Войнаровский» – была опубликована. Ее герой, племянник украинского гетмана Мазепы, участник заговора Мазепы против Петра I. Время действия поэмы 1730-е гг. Она построена как рассказ Войнаровского, сосланного в Сибирь за измену, о своей судьбе.

В «думах» Рылеев в споре монарха с непокорным подданным всегда выступал на стороне последнего. В «Войнаровском» Мазепа тоже заявлен вначале как отважный борец против самодержавия, он говорит:

Уж близок час, борьба близка,
Борьба свободы с самовластьем.

На деле Мазепа, ложный доносчик, клеветник, в борьбе против Петра отнюдь не защищал «свободу родины своей», он домогался лишь личных выгод, и неумное честолюбие привело его к измене.

Но сквозь идеализированный облик борца за свободу в герое Рылеева проступают черты исторического Мазепы. Он умирает

не как герой, принимающий смерть за правое дело, а как терзаемый муками совести преступник. Для Войнаровского личность Мазепы остается неясной:

Не знаю я, хотел ли он
От бед спасти народ Украины,
Иль в ней себе упрочить трон, –
Мне гетман не открыл сей тайны.

Сам Войнаровский изображен в поэме как патриот, выступающий за «свободные права», против «ига самовластья», как рупор идей автора. Главная ценность поэмы заключена в тех ее частях, где Рылеев, не считаясь с историческим характером сюжета, выражает собственные мысли о свободе. Поэтому и Пушкин, понимавший, что в образе Мазепы Рылеев допустил «своевольное искажение исторического лица», тем не менее писал: «Войнаровский полон жизни».

«Войнаровский» свидетельствует о дальнейшем нарастании реалистических тенденций у Рылеева. В поэме отсутствуют традиционные для романтиков разрывы и перестановки в сюжете, точно выдержан местный колорит, язык естествен, рассказ быстр.

Рылеев не успел завершить работу над поэмой «Наливайко» (1824–1825) – о борьбе украинского народа с панской Польшей за независимость.

Ее герой является руководителем народного восстания XVI века. В отличие от «Войнаровского», здесь события изображены не глазами одного героя. Помимо монологов Наливайки в поэму должны были войти эпические сцены народной борьбы. До нас дошло десять отрывков из поэмы, из которых наибольший

интерес представляет «Исповедь Наливайки», написанная незадолго до восстания на Сенатской площади.

Здесь Рылеев выражает свои собственные тогдашние мысли и настроения:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа –
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,
– Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Эти строки производили на современников сильное воздействие. На протяжении всего XIX века многие стихи Рылеева относились к числу любимейших у революционной молодежи. Их перепечатывали в нелегальных изданиях, их клали на музыку и пели. Герцен вспоминал: «Стих Рылеева звал на бой и гибель, как зовут на пир». Известно, что «думу» «Иван Сусанин» декламировал Александр Ульянов.

Уже после ареста, в одиночной камере Петропавловской крепости Рылеев нацарапал на оловянной тарелке четыре строки – своего рода поэтическое завещание:

Тюрьма мне в честь, не в укоризну –
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за отчизну?

ГЛАВА VII. А. С. ГРИБОЕДОВ (1795–1829)

*Ум и дела твои бессмертны
в памяти русской.*
(Надпись на могильном
памятнике Грибоедова
в Тбилиси).

Автор комедии «Горе от ума» Грибоедов вошел в историю русской литературы как один из основателей реалистического метода, как критик крепостнического общества, как непревзойденный мастер стихотворной драматургии.

Александр Сергеевич Грибоедов родился в Москве. Он происходил из старинного дворянского рода и с детства отличался исключительными способностями: одиннадцати лет он был принят в Московский университет, к семнадцати годам прошел программу трех факультетов /словесного, юридического и физико-математического/, он владел шестью иностранными языками, профессионально играл на рояле, сочинял музыку.

В 1812 г. Грибоедов поступил добровольцем в армию. К этому времени уже обнаружилась главная страсть его жизни – драматургия, театр. Первую свою пьесу, комедию «Молодые супруги» (1814) он написал еще на военной службе. Затем, выйдя в отставку, в 1817–1818 гг. написал еще ряд комедий: «Студент» (совместно с Катениным), «Своя семья, или Замужняя невеста» (с Шаховским и Хмельницким), «Притворная неверность» (вольный перевод с французского комедии Барта, с Жандром), «Проба интермедии». К этому циклу примыкает написанная позднее, в 1823 г. с Вяземским комедия «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом». Многие из них с успехом ставились на сцене, но ни одна не выдержала испытание временем. По преимуществу это комедии из светской жизни, простые по сюжету,

с небольшим количеством действующих лиц, с легким диалогом, веселыми обманами, мистификациями, переодеваниями. «Студент» дает представление о литературных воззрениях раннего Грибоедова: в пьесе пародируются жеманный язык и слезливая мечтательность произведений элегического романтизма. Герой пьесы, провинциальный студент, бездарный стихотворец Беневольский изображен подражателем Жуковского. Молодой Грибоедов проявил хорошее знание законов сцены, драматургических приемов классицизма, требовавшего, чтобы в комедии были четко обозначены завязка и развязка, чтобы действие развивалось быстро, без отклонений в сторону.

В 1818 г. жизнь Грибоедова резко изменяется: он направлен секретарем русской миссии в Персию. На дипломатической службе на Востоке он пробыл, с двумя перерывами, более десяти лет. Масштаб его литературной деятельности сократился, но она обрела новую глубину.

Неизвестно, когда Грибоедов начал работу над крупнейшим своим созданием «Горе от ума». Разные исследователи относят начало работы к 1811, 1816, 1821 гг. Но точно установлено, что, приехав в длительный отпуск в Москву в марте 1823 г., Грибоедов привез рукопись двух первых актов пьесы. Работу над нею он продолжал, по крайней мере, еще полтора года. В альманахе «Русская Талия» на 1825 г. были напечатаны (с цензурными купюрами) I и III акты комедии. Комедия стала распространяться в множестве рукописных списков. Вокруг нее накануне 14 декабря 1825 г. происходила горячая журнальная полемика.

Сам Грибоедов в ней не участвовал. Летом 1825 г. он отправляется путешествовать по Крыму и Кавказу, новые литературные замыслы волновали его. Он мечтал написать трагедию.

После разгрома восстания декабристов Грибоедов был арестован и обвинен в принадлежности к тайному обществу. По своим политическим взглядам он был близок декабристам, он

разделял их мысль о необходимости скорейшей ликвидации крепостничества и самодержавной власти. Он находился в близких дружеских отношениях с А. Бестужевым, А. Одоевским, Кюхельбекером, был знаком с Рылеевым, Трубецким, Каховским. Говоря его же словами,

По духу времени и вкусу
Он ненавидел слово «раб»...

Вместе с тем, писателю был свойствен скептицизм в отношении успеха чисто военного заговора. Он не раз будто бы повторял: «Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России...»

Грибоедов был оправдан и выпущен на свободу. Он вернулся к дипломатической деятельности. При его участии был заключен важный Туркманчайский договор с Персией, затем он был назначен министром-резидентом (послом) при персидском шахе.

В конце 1820-х гг. Грибоедов работает над несколькими трагедиями: «1812 год», «Грузинская ночь», «Родамист и Зенобия». Ни одна из них не была закончена. Представляет особый интерес план трагедии «1812 год», где положительным героем избран крепостной крестьянин, герой Отечественной войны, который после победы вынужден вернуться «под палку господина», и, придя в отчаяние, кончает самоубийством. Будь этот замысел осуществлен, в русской литературе появилась бы первая трагедия о крепостной неволе. План свидетельствует о глубине исторического мышления Грибоедова.

В августе 1828 г. Грибоедов женится на юной Н.А. Чавчавадзе, дочери классика грузинской литературы А.Г. Чавчавадзе. Оставив жену в Тавризе, Грибоедов выехал со сложным дипломатическим поручением в Тегеран. При подстрекательстве пер-

сидских чиновников и религиозных фанатиков толпа персиян 30 января 1829 г. разгромила русское посольство. Грибоедов был убит.

II

Грибоедов вошел в историю русской классики преимущественно одним произведением. Остальные, каждое из которых могло бы создать ему репутацию хорошего драматурга, лишь дополнительные штрихи к портрету автора «Горя от ума». Поражает обширность замысла комедии: в ней широкая картина общественной борьбы в канун восстания декабристов, целая галерея ярких социально обусловленных типов, в ней убедительно изображен положительный герой. И все это вмещено в рамки четырехактной пьесы, действие которой происходит в течение одного дня в одном доме.

В письме Катенину Грибоедов раскрывает свой план и композиционные принципы: «Девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека): и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих... Кто-то со злости выдумал о нем, что он сумасшедший, никто не поверил и все повторяют, голос общего недоброхотства и до него доходит, притом и нелюбовь к нему той девушки, для которой единственно он явился в Москву, ему совершенно объясняется, он ей и всем наплевал в глаза и был таков».

Из этого плана уже видно, что герой пьесы Чацкий переживает двойную драму – он отвергнут обществом, он отвергнут Софьей. Обе линии слиты в стройном, стремительно развивающемся сюжете. Любовная интрига служит первой сюжетной пружиной и придает действию быстрый, легкий темп, казалось

бы, не соответствующий глубине темы. Но темп этот органичен для комедии.

Грибоедов широко использует драматургическую технику классицизма. Сигналом классицистской комедии должно было стать для зрителя или читателя уже афористическое нравоучение, содержащееся в названии «Горе от ума». Многим героям даны фамилии-характеристики. Соблюдаются традиционные три единства. Однако присмотримся пристальнее. В классицистском театре действие комедии бывает основано на бытовой или любовной интриге, у Грибоедова в его основе общественная коллизия. Вместо столкновения героев на почве разных характеров, вкусов или возрастов – столкновение на идейной почве.

Сюжетные функции персонажей ограничены рамками традиционной системы комедийных ампул: Фамусов – озабоченный замужеством дочери отец, которого все обманывают, Молчалин – удачливый хитрец-любовник, Софья – балованная девица, мечтающая о романтической любви. Но в ходе действия обнаруживаются сложные, многогранные характеры персонажей: Фамусов и бездушный крепостник, и гостеприимный хлебосол, и деловитый хозяин дома, и льстец перед сильными мира, и заигрывающий с горничной старец. В Молчалине, лице подчиненном, а не властвующем, особенно подчеркнут общественный аморализм: следование чужому авторитету, угодливость, беспринципная безнравственность, отказ от собственного мнения:

Мне завещал отец:

Во-первых, угождать всем людям без изъятья –

Хозяину, где доведется жить,

Начальнику, с кем буду я служить,

Слуге его, который чистит платье,

Швейцару, дворнику, для избежанья зла,

Собаке дворника, чтоб ласкова была.

Грибоедов основал свою комедию, как в классицистском театре, на недоразумении, которому суждено разрешиться по ходу действия: Чацкий приходит в дом любимой, убежденный в ее чувстве, он узнает, что она его не любит, лишь в конце пьесы, когда и Софья, убежденная в обожании робкого Молчалина, понимает, что ее избранник равнодушен к ней. Однако и здесь традиционная симметричная схема переименована Грибоедовым: уже в третьем акте очевидно одиночество отвергнутого Чацкого, и на смену первоначальной любовной пружине действия приходит иная, связанная со слухом о безумии героя.

В классицистской комедии всегда бывало нечетное количество актов, как правило, пять. В последнем, пятом акте происходило развязывание всех сюжетных узлов, утверждалось торжество добра и наказание порока. В пьесе Грибоедова четыре акта, и торжества добра, наказания порока в развязке нет. Грибоедов и сам не знал, как распорядится история с его свободомыслящим героем, и поэтому, изобразив острый конфликт между Чацким и миром Фамусовых, вынужден был поставить точку. История еще не подсказала разрешения выбранному им конфликту.

Узкие рамки классицистской комедии оказались слишком тесны для Грибоедова. И он со смелостью великого художника разрушил их.

III

Как герой комедии Чацкий смешон своей недогадливостью, неосмотрительностью, полнейшим неумением скрывать чувства и мысли. Всегда готовый к острому словцу, к эпиграмме, он произносит в пьесе ряд эмоциональных монологов. В этих монологах проявляет себя гуманистом, вольнолюбцем, рвущимся к разумной и полезной деятельности, врагом невежества, ханжества, лицемерия. Герцен замечает: «Образ Чацкого, меланхолический, ушедший в свою иронию, трепещущий от негодования

и полный мечтательных идеалов, появляется в последний момент царствования Александра I, накануне восстания на Исаакиевской площади: это – декабрист.

Пушкин, дав «Горю от ума» чрезвычайно высокую оценку, считал, однако, монологи Чацкого выпадающими из художественной ткани пьесы: «Все, что говорит он, – очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подобными». Но монологи Чацкого – не холодные рассуждения резонера, поучающего других персонажей. Чацкий в духе романтического героя горячо, торопливо высказывает самому себе и каждому встречному открывшиеся перед ним истины. Психологически достоверно Грибоедов подчеркивает в своем герое юношескую доверчивость к людям, страстность молодого искателя истины. Драматург при этом воплощает характерную примету эпохи: устав декабристского Союза благоденствия призывал своих членов, а те всех сочувствующих, к распространению во всех сословиях, особенно среди дворян, передовых воззрений «относительно веры, ближнего, отечества и существующих властей».

Вспомним также, что автор аттестовал своего героя как «здравомыслящего человека», «немного повыше прочих». Для такого слишком глубоки и оригинальны рассуждения о реформах Петра, о разьединении дворянства с «бодрым, умным» народом. Сквозь голос героя властно пробивается голос мудрого и наблюдательного автора. Это явление – характерный признак поэтики романтизма.

Хотя герой пьесы в одиночку сражается против всех остальных персонажей, Грибоедов отнюдь не представляет его как оторванного от жизни идеалиста. Он заставляет Чацкого го-

ворить от имени целого поколения, противопоставляет в пьесе «век нынешний и век минувший». Неслучайно в монологе Чацкого «А судьбы кто?» постоянно звучит не «я», а «мы»:

Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?

Пламенные, страстные речи Чацкого перемежаются то взволнованными лирическими обращениями, то словами, полными меланхолии и тоски. Настроение горечи по ходу действия нарастает, и монолог Чацкого, заканчивающий третий акт, «В той комнате незначаящая встреча...» кладет конец комедийно-сатирическому его отношению к миру Фамусовых. В четвертом акте романтик-Чацкий, еще недавно собиравшийся стать зятем Фамусова, проклинает свою былую слепоту, бросает в лицо «мучителям»:

Вы правы: из огня тот выйдет невредим,
Кто с вами день пробить успеет,
Подышит воздухом одним
И в нем рассудок уцелеет.

Тирада Чацкого напоминает высокую патетику декабристских поэтов. Неудачник, не сломленный, но и не одержавший победы, трагически одинокий – необычная фигура главного героя комедии. Театр той поры знал лишь два жанровых обозначения, «трагедия» и «комедия». Назвав свою пьесу «комедией», Грибоедов, как мы видим, далеко отступал от канонов жанра.

IV

«Я как живу, так и пишу свободно и свободно», – отмечал он в письме к Катенину. Это стремление к творческой свободе зако-

номерно приводило Грибоедова к реализму. Источником пьесы явилась жизнь, писатель воплощал живые подлинные характеры, типизирующие основное содержание эпохи. Противостояние между миром Фамусова и Чацким воплощает борьбу двух лагерей, реакционного, крепостнического с революционным, антикрепостническим. Декабрист И.Д. Якушкин вспоминал позднее, что в канун событий 14 декабря 1825 г. происходили открытые столкновения между передовой дворянской молодежью, выросшей в годы «великих событий», войны с Наполеоном, и «стариками, выхваляющими все старое и порицающими всякое движение вперед».

В выборе жизненного конфликта проявился реализм Грибоедова. Он воплотил этот конфликт не в условной или аллегорической форме (как классицисты, как романтики), а в формах реальной жизни, воссоздав и типические характеры эпохи и типические обстоятельства. Характеры связаны в пьесе с общественной средой, нравы фамусовского общества даны как во многом специфические московские дворянские нравы. Реализм автора «Горя от ума» был критическим реализмом, под обстрел бралось основное зло эпохи – крепостное право. Когда Фамусов раздраженно кричит швейцару Фильке: «В работу вас, на поселенье вас», – имеется в виду: в каторжную работу, на поселенье в Сибирь. Помещики имели право сдавать своих крепостных для отправки на каторжные работы, на поселение в Сибирь без суда и следствия. Когда Чацкий в монологе «А судьи кто?» клеймит барина-театрала, у которого крепостные артисты «распроданы поодиночке», речь идет о подтвержденном законом праве помещиков продавать крестьян поодиночке, разлучая родных.

В пьесе остро задевались чиновничество, офицерство, даже высшие придворные круги. Грибоедов построил пьесу как столкновение общественных групп, взгляды, убеждения, жизненные принципы которых совершенно противоположны, и не может

быть никакого взаимопонимания между ними. То, что для Чацкого умное, честное, благородное – вольнолюбие, независимость суждений, любовь к просвещению – кажется его оппонентам не просто даже глупым, а безумным. Грибоедов изображает героя как активного борца с общественным злом, и в этом отношении существенно дополняет Пушкина, который своего Онегина трактует только как «доброе малое», из тех, что хотели бы сбросить бремя «условий света», но неспособны к борьбе.

Не случайно так горячо приняли комедию «Горе от ума» декабристы – они увидели в ней произведение исключительной агитационной силы. На квартире декабриста А.И. Одоевского ее переписывали под диктовку. О ней восторженно отзывались прогрессивные критики А. Бестужев, О. Сомов, подчеркивая, что Грибоедов первым в русской литературе создал на современном материале героический характер.

В воспоминаниях Бестужева читаем: «Вольность русского разговорного языка, пронзительное остроумие, оригинальность характеров и это благородное негодование ко всему низкому, эта гордая смелость в лице Чацкого проникла в меня до глубины души. Нет, – сказал я сам себе, – тот, кто написал эти строки, не может и не мог быть иначе, как благородное существо».

V

Грибоедов вспоминал, что на первом этапе работы над «Горем от ума» он хотел создать не пьесу для театральной сцены, а «сценическую поэму» – философское произведение, очевидно, на манер «Фауста» Гете, которым он так восхищался. Затем на смену «сценической поэме» пришла «драматическая картина» с четко обозначенными завязкой, развязкой, движением сюжета и характеров. Узкие рамки «драматической картины» побудили писателя воплотить свои идеи в максимально лаконичной, афористической форме. Грибоедов пользовался выражением

«хитрости ремесла», когда говорил об использованных им сценических приемах, делавших действие быстрым и энергичным, действие нарастает и по ходу каждого акта и по ходу пьесы в целом. Первый акт начинается с довольно пространный рассказа горничной о своих господах. Грибоедов учитывает, что в театре его эпохи свет в зале гасили долго, внимание зрителей сосредоточивалось не сразу, поэтому начинает издали, с экспозиции. Затем появятся главные герои, и зритель сразу же узнает, что Софья не ждет и не любит Чацкого. Однако действие осложнено множеством неожиданных перипетий, и зрительский интерес все время искусно поддерживается драматургом.

Он сталкивает мерное бормотание Фамусова и людей его круга с экспрессивной, сатирической манерой выразиться Чацкого. Антагонисты Чацкого, нервничая, как бы невольно переживают его речевую манеру, но в азарте возражений ему свои похвалы «веку минувшему» порой превращают в карикатуру. Фамусов хотел представить в выгодном свете историю придворной карьеры своего дяди Максима Петровича, но невольно выдал, ценой какого унижения тот достиг почета (второй акт).

Помимо Максима Петровича в «Горе от ума» есть еще целый ряд персонажей, не участвующих в действии, не появляющихся на сцене, но воссоздаваемых в монологах и диалогах. При сравнительно малом количестве действующих лиц Грибоедов достигает возможности нарисовать широкую картину общественной жизни.

Он проявляет себя глубоким психологом, знатоком тончайших движений человеческой души. В начале третьего акта Чацкий, узнав, что он отвергнут Софьей, что она предпочитает Молчалина, бросает в монологе мимоходом: «От сумасшествия могу я остеречься». Софья из всего монолога услышала только эту фразу: «Вот нехотя с ума свела!» Во время бала на вопрос о Чацком одного из гостей Софья повторяет: «Он не в своем

уме». Эти слова еще можно воспринять в переносном смысле, и собеседник выпытывает: «Ужли с ума сошел?» Поставленная перед выбором героиня решает проучить Чацкого и, «помолчавши», по ремарке, бросает: «Не то, чтобы совсем...» С этого момента начинает ползти сплетня о безумии Чацкого. Ее зарождение Грибоедов показал тонко и достоверно.

Пьеса рассчитана на вдумчивого и внимательного зрителя. В мировой драматургии не раз бывало, что возвышенная драматическая ситуация по ходу действия затем снижается, пародируется. Грибоедов меняет местами этот порядок. Он вводит в пьесу фрондера-болтуна Репетилова, своего рода Чацкого в кривом зеркале. Репетилов уезжает с бала со словами, обращенными к лакею:

Куда теперь направить путь?
А дело уж идет к рассвету.
Поди, сажай меня в карету,
Вези куда-нибудь.

Затем после нескольких напряженных сцен уезжает и Чацкий. Снова звучит «Карету», но в ином, драматическом ключе:

Вон из Москвы! Сюда я больше не езду.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок!..
Карету мне, карету!

Важнейшая особенность «Горя от ума» – стихотворная форма комедии. Впервые в высокой комедии Грибоедов употребил не традиционный александрийский стих (шестистопный ямб), а вольный стих, разностопные ямбы, от шестистопного до одно-стопного. Возможности вольного стиха драматург использует

для того, чтобы резче обозначить конфликт персонажей, столкновение идей, переходы от комедийного к трагическому. Стих Грибоедова восходит прежде всего к Крылову. «О стихах я не говорю, половина – должны войти в пословицу», – писал Пушкин о «Горе от ума». Подобно афористическим заключениям крыловских басен, и на деле стали пословицами многие стихи-афоризмы из комедии Грибоедова. Афоризмы – мерило «ума» каждого из персонажей. Характер Молчалина раскрыт, например, в его словах:

В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.

Многие моральные основы «века минувшего», лживые «ходячие истины» воплощены в афоризмах Фамусова: «Кто беден, тот тебе не пара», «Ну как не порадеть родному человеку». Особенно важны в пьесе иронические афоризмы Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Дома новы, но предрассудки стары» и др.

Новаторство Грибоедова заключалось также в том, что он совместил разговорный язык, дворянское просторечие с языком мысли. Каждый из персонажей получил индивидуальную речевую характеристику. Многогранна речевая характеристика Чацкого, то влюбленного, то размышляющего, то иронизирующего. Язык Фамусова – язык уверенного в себе патриархального барина. Молчалин, Скалозуб подчеркивают авторскую мысль, что живая русская речь скудеет в чиновной и офицерской среде. Сцена съезда гостей у Фамусова – подтверждение мысли Чацкого, что в барской Москве начинает торжествовать безличное

смешенье языков
Французского с нижегородским.

* * *

Определяя место «Горя от ума» в истории русской литературы, Белинский подчеркивал, что это «благороднейшее гуманистическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности». Он отметил, что подобно «Онегину» Пушкина «Горе от ума» «было первым образцом поэтического изображения действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школой, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

А.С. ПУШКИН. (1799–1837)

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Н.В. Гоголь

Не только великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков, гений европейский, слава всемирная.

В.Г. Белинский

*Он первый поднял звание литератора
на высоту, до него недостижимую: в его
глазах поэт – выразитель всех чувств и
дум народа, он призван понять и
изобразить все явления жизни.*

А.М. Горький

Пушкин – солнце русской поэзии, величайший художник слова, его именем обозначена целая эпоха в истории русской культуры.

Деятельность его была необыкновенно многогранна. Почти во всех родах литературы, во всех жанрах он создал шедевры. Он установил и закрепил самую норму русского литературного языка. Он первым создал реалистический роман. Выступил смелым новатором в драматургии. В его лирике самые простые, будничные явления жизни превращались в золото поэзии. Пушкин – писатель беспрецедентной, единственной в своем роде гениальной одаренности.

В.И. Ленин так характеризовал историческую эпоху, в которую работал Пушкин: «Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли разбудить народ». Пушкин принадлежал к этим лучшим людям. Его творчество поднялось на гребне волны декабристского освободительного движения.

Пушкин – основоположник реализма в русской литературе. Первым среди русских писателей он стал изображать типические характеры в типических обстоятельствах. Под его пером русский человек вошел в искусство в исторической, национальной, социальной конкретности. Его герои многогранные, сложные, духовно богатые натуры. Они воплощают в себе «русский дух».

Горячий патриот, Пушкин был страстным интернационалистом. Он запечатлел картины жизни многих народов России и других стран. Дружба народов была одной из заветных его идей. Он твердо верил, что наступит время,

Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

После трагедии 14 декабря 1825 г. творчество Пушкина продолжало оставаться источником свободолюбия – его гуманистический пафос, уважение к личности, прославление разума были отрицанием России Николая I. Поэт задумывался над судьбой народных движений протеста. Герцен, характеризуя обстановку в России 1830-х гг., писал: «Одни... возлагали свои надежды не на будущее, а на возврат к прошедшему. Другие видели в будущем только несчастье... Одна лишь звонкая и широкая песня Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее».

Удивительная гармония отличала художественную форму произведений Пушкина. Белинский писал о ней: «У Пушкина никогда не бывает ничего лишнего, ничего недостающего, но все в меру, все на своем месте, конец гармонирует с началом, – и, прочитав его пьесу, чувствуешь, что от нее нечего убавить и к ней нечего прибавить».

ГЛАВА I. ДЕТСТВО. ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ (ДО 1817 г.)

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая (6 июня, по новому стилю) 1799 г. в старинной дворянской се-

мье. Его дядя Василий Львович был известным поэтом, писал стихи и отец, Сергей Львович. В гостях у Пушкиных бывали Карамзин, Дмитриев, Жуковский.

Воспитанием детей в доме занимались часто менявшиеся гувернеры-иностранцы, преимущественно французы. Любовь к русской народной поэзии в Пушкине пробудила его няня, крепостная крестьянка Арина Родионовна, замечательная сказочница и певунья.

В 1811 г. Пушкин поступил в открывшийся в Царском Селе под Петербургом Лицей – дворянское закрытое учебное заведение, где в течение шести лет воспитанникам давалось образование, равное университетскому. Проект Лицея был разработан Сперанским, который стремился быстрее подготовить помощников в проведении предполагавшихся им реформ. Среди преподавателей выделялся талантливым профессор политических наук Куницын – убежденный противник крепостного права. Пушкин и его друзья Дельвиг, Кюхельбекер, Пущин с ранних лет проникались духом вольномыслия, читали Радищева, французских просветителей.

Пребывание Пушкина в Лицее совпало с Отечественной войной. События 1812 г. содействовали пробуждению у него патриотизма, связи с современностью.

Пушкин рано начинает писать стихи. В 1814 г. он впервые выступает в печати: в журнале «Вестник Европы» публикуется его стихотворение «К другу стихотворцу». Уже лицейские стихи Пушкина по точности картин реального быта, по художественному уровню не уступают произведениям признанных тогда мастеров. Так, его «Городок», навеянный посланием Батюшкова «Мои пенаты», содержит написанную живыми и сочными красками картину жизни Царского Села – маленького городка, противопоставляемого суетной столице. Тут, например,

описание вечера у «добренькой старушки», которая рассказывает поэту свежие сплетни:

Со всех она сторон
 Все сведает, узнает:
 Кто умер, кто влюблен,
 Кого жена по моде
 Рогами убрала,
 В котором огороде
 Капуста цвет дала,
 Фома свою хозяйку
 Не за что наказал,
 Антошка балалайку
 Играя разломал...

В этих стихах Пушкина заметны реалистические тенденции: правдиво воспроизводятся переживания, достоверны детали.

В 1815 г. на экзамене Пушкин в присутствии престарелого Державина прочитал свое стихотворение «Воспоминание в Царском Селе». Он вспоминал позднее, что Державин «дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец, вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять... Меня искали, но не нашли».

В «Воспоминаниях в Царском Селе» Пушкин впервые попытался дать развернутую картину патриотического одушевления народной войны и дал выражение не только личному чувству, но и чувствам своих соотечественников:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны...

Пушкин подчеркивал, что русский народ не злопамятен, что он

...несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.

В том же 1815 г. Пушкин создает свое первое политическое стихотворение «Лицинию», которое стало и одним из первых произведений вольнолюбивой лирики декабристского типа. Построенное как монолог древнеримского гражданина, оно вместе с тем было непосредственно связано с русской современностью. Несомненно, тогдашнюю действительность, арачьевщину подразумевали строки, обличавшие страх «льстецов, сенаторов» перед временщиком. Содержание стихотворения обобщалось афористической заключительной строкой: «Свободой Рим возрос, а рабством погублён».

Пушкин становится главой литературного движения в Лицее. Товарищи видят в нем будущую славу Лицея. Дельвиг прощает ему бессмертие:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.
(«Пушкину»)

Известность Пушкина выходит за пределы Лицея. Юный поэт сближается с Жуковским, Батюшковым, Вяземским. Им заинтересовался Карамзин и напутствовал его: «Пари, как орел, но не останавливайся в полете». Пушкин становится членом «Арзамаса».

В лицейские годы Пушкин является почти исключительно лириком. Он пишет дружеские послания, оды, сатиры, элегии, романсы. Хотя его жанры традиционны, литературная позиция самостоятельна. Он считает себя вправе ответить Батюшкову на его советы: «Бреду своим путем».

В лицейских стихах Пушкина заложены истоки его будущей поэзии: ясность мысли, пластичность формы, гуманное и гармоническое восприятие жизни. У него складывается поэтический культ дружбы, который он сохранит на протяжении всей жизни. В лицейскую годовщину 1825 г. ссыльный поэт обратился из далекого села Михайловского к товарищам детства:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
.....
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

ГЛАВА II». В ПЕТЕРБУРГЕ (1817–1820)

I

В 1817 г. Пушкин закончил Лицей и был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. В Петербурге он сблизился со свободолюбивой дворянской молодежью, стал посещать за-

седания декабристского литературного объединения «Зеленая лампа». Вяземский свидетельствует: «Хоть он и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере».

Под ее воздействием Пушкин создает ряд так называемых «вольных стихов», проводивших декабристскую идеологию. В конце 1817 г. он пишет оду «Вольность», по образцу одноименной оды Радищева. Пушкин декларирует в ней, что и над царями и над народами возвышается Закон. Осудив народную расправу над Людовиком XVI во время французской революции как нарушение Закона, поэт переходит к центральной своей теме: нарушителями Закона чаще всего выступают цари. Они становятся деспотами, а деспотизм Пушкин решительно отвергает. Он пишет о Наполеоне:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу...

Патетика пушкинских строк захватывала читателя. Хотя в знаменитом обращении

Тираны мира! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы! –

слово «восстаньте» было употреблено в значении «воспряньте», читатели видели в нем революционный лозунг.

Летом 1819 г. появляется стихотворение Пушкина «Деревня» – резкий выпад против крепостничества, «барства дикого», которое насильственно присвоило себе «и труд, и собствен-

ность, и время земледельца». Поэт полагает, подобно многим декабристам, что «рабство» может быть отменено царским указом. Но в «вольных стихах» Пушкина сказалось и обаяние декабристской революционности: восторженная убежденность в скорой «святой вольности», патриотический пыл, взволнованная страсть. Особенно ярко они проявились в послании Пушкина к его другу Чаадаеву (1818):

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

В этих стихотворениях видна самостоятельность Пушкина от поэтики Жуковского и Батюшкова. В «Вольности» и «Деревне» – образцах высокой гражданской лирики – Пушкин использует формы и стиль обличительной классицистской поэзии. В послании «К Чаадаеву» достигает «высокости» в формах простых и прозрачных.

Пушкин оттачивает перо, создавая множество эпиграмм. Бесстрашный поэт направляет острие своей сатиры непосредственно в Зимний дворец. В «Noele» («Сказке») его герой – Александр I, ораторствующий перед голодным, изможденным крепостной неволей народом: «О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен...» В другой эпиграмме изображен Аракчеев: «Всей России притеснитель..., а царю он друг и брат».

«Вольные стихи» принесли Пушкину чрезвычайно широкую славу. Они распространялись в списках, заучивались наизусть. Их знала вся молодежь. С них, по существу, началась политическая лирика декабристов.

Александр I, раздраженный «вольными стихами», решил сослать смелого поэта в Сибирь. Благодаря хлопотам Чаадаева, Жуковского и Карамзина эта суровая кара была заменена более легкой – ссылкой на южную окраину России. Пушкин покинул Петербург в мае 1820 г.

II

Полутора месяцами ранее, в марте 1820 г. он завершил работу над первой своей поэмой «Руслан и Людмила», начатой еще в Лицее. Ее значение для русской литературы тоже было чрезвычайно велико. Один возмущенный поэмой критик-шишковист сравнивал впечатление от поэмы с тем, как «если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю, – писал он, – невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: «Здорово, ребята!»

Такое впечатление от «Руслана и Людмилы» сложилось у критика-старовера из-за того, что Пушкин смело рвал с традиционной классицистской поэтикой. Его поэму нельзя было назвать ни героической, ни ироикомиической. В ней свободно монтировались сказочные образы с литературными реминисценциями. Впервые в русской литературе юный поэт создал романтическую поэму на отечественном материале (баллады и поэмы Жуковского восходили к иноязычным источникам). Новой являлась и стихотворная форма поэмы: поэма написана четырехстопным ямбом, который прежде применялся лишь в лирических жанрах.

«Руслан и Людмила» – сказка, где все дышит здоровьем и молодостью. Психологические мотивировки намечены еще бег-

ло. Руслан, только что потерявший при загадочных обстоятельствах жену, минуту назад размышлявший о «траве забвенья», вдруг переходит к молодецкой похвальбе: «Еду, еду, не свищу, а наеду – не спущу». Действие напоминает игру, в которой страшное не страшит, а печальное не печалит: страх превращается в смех, а печаль в радость. Вспомним, например, сцену схватки Людмилы с карликом Черномором:

Седого карла за колпак
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащий занесла кулак
И в страхе завизжала так,
Что всех арапов оглушила.

Такой легкий, изящный стиль повествования был для русской поэмы нов. Хотя действие «Руслана и Людмилы» происходило в древние времена, витязь напоминал романтического героя, совершавшего подвиги во имя возлюбленной. Рассказывая сказочную историю, поэт сохранял ироничную интонацию. Он пародировал балладу Жуковского «Двенадцать спящих дев» с ее «скорбью о неизвестном» и привидениями.

У Жуковского сцена исчезновения неведомой «младой девы» трактовалась мистически:

И вместе с девою пропал
Старик в одежде белой...
Вадим проснулся, день сиял,
А в вышине... звенело.

У Пушкина, несмотря на сказочную фантастику, все житейски просто, и героиня похищена из страстных объятий молодого мужа.

Среди множества восторженных поклонников «Руслана и Людмилы» был и Жуковский, который подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя».

Впоследствии, готовя поэму к переизданию в 1828 г., Пушкин присоединил к ней пролог «У лукоморья дуб зеленый...», дающий поэтический свод сказочных русских мотивов.

ГЛАВА III. ЮЖНАЯ ССЫЛКА (1820–1824)

I

До того, как прибыть к месту своего поселения в Кишинев, Пушкин совершил четырехмесячную поездку по Кавказу и Крыму. При переезде из Феодосии в Гурзуф он написал один из первых своих лирических шедевров, элегию «Погасло дневное светило». Ее подзаголовок «Подражание Байрону». Мятёжный дух английского поэта-романтика был близок Пушкину. Увлечение Байроном способствовало развитию романтизма в его творчестве.

В Кишиневе у Пушкина возникают дружеские связи с членами тайного Южного общества декабристов. Он сближается с поэтом-декабристом В.Ф. Раевским, имеет долгую беседу с главой общества П.И. Пестелем и потом записывает в дневнике: «Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и пр. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

В поэзии Пушкина романтически отражается общественный подъем. В его стихотворении «Кинжал» (1821) прославлен «свободы тайный страж, карающий кинжал». Декабристы восприняли это стихотворение как призыв к царевубийству. Пуш-

кинский «Кинжал» читали вслух, рассуждая о возможности покушения на Александра I. В послании к «В.Л. Давыдову» (1821) поэт мечтает о близкой революции:

...мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся.

Вольнолюбивые надежды во многих стихотворениях Пушкина, написанных в Кишиневе, окрашены в личные тона – поэт томится ссылкой, рвется к друзьям в столицу. Характерно в этом смысле стихотворение «Узник» (1822): в нем звучит горячий призыв к свободе;

«Давай, улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!»

Пушкин продолжает писать эпиграммы на царя и придворных. Прямой вызов великосветскому религиозному ханжеству его поэма «Гавриилиада» (1822), высмеивающая миф о непорочном зачатии.

Поэт все больше интересовался политикой. Он пристально следил за революционной борьбой в зарубежных странах. С восторгом приветствовал восстание в Греции, ожидая от него важных последствий и для России.

Откликами на греческие события явились его стихотворения «Война» (1821), «Гречанка верная! не плачь...» (1821).

Однако в Европе стала побеждать реакция. Короли, объединившиеся по призыву Александра I в «Священный союз»,

загасили на время все революционные вспышки. В России усилились полицейские репрессии. Власти в 1822 г. разгромили кишиневскую ячейку тайного общества, был арестован друг Пушкина В.Ф. Раевский. В стихотворном послании Раевскому в крепость («Ты прав, мой друг...», 1822) впервые у Пушкина звучат ноты разочарования, скептицизма. Они получают развитие в стихотворении «Демон» (1823).

По хлопотам петербургских друзей Пушкин летом 1823 г. был переведен из Кишинева в Одессу, в канцелярию генерал-губернатора графа Воронцова. Друзья надеялись, что положение ссыльного поэта в Одессе будет лучшим, но напрасно. «Придворный хам» Воронцов сперва ждал от Пушкина посвящений и од в свою честь, а затем стал относиться к нему как к мелкому чиновнику.

Пушкиным в эту пору владеют глубокие раздумья над современностью. Все яснее открывается перед ним трагизм положения дворянского революционера, готового отдать жизнь за народную свободу, но в то же время оторванного от народа, лишённого народной поддержки. Не менее трагична и оторванность забитого и угнетённого народа от освободительного движения. В стихотворении Пушкина «Свободы сеятель пустынный...» (1823) звучит горькое чувство преждевременности («Я вышел рано, до звезды») и потому бесполезности вольнолюбивых призывов: «мирные народы» не способны пока еще пробудиться к сознательной исторической деятельности:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Эти строки исполнены трагической горечи. Но чувство, нашедшее в них выражение, было непосредственным толчком к разработке Пушкиным важной и актуальной вплоть до Великого Октября проблемы: роли народных масс в освободительном движении.

Сперва Пушкин склонен видеть причину крушения современных ему революций в покорности и безропотности «народов». В ряде его набросков и стихотворений периода южной ссылки звучит романтический культ героя-одиночки, противопоставляемого «легковерным» народам.

Затем Пушкин углубляет свой взгляд. Он проявляет интерес к теме народного протеста. Об исконной – разбойной – форме такого протеста пишет поэму. До нас дошел из нее небольшой отрывок «Братья-разбойники», где действуют новые для литературы того времени герои – крестьяне, которые ушли в лес, «наскуча барскою сохой».

Поэт впервые задумывается над вопросами русской истории. Он определяет свое отношение к труду Карамзина «История государства Российского». Этот труд кладет начало систематическому изучению русской истории, чрезвычайно богат фактическим материалом, прекрасно написан, и Пушкин высоко оценивает его новаторское значение. Вместе с тем, поэт не может принять историко-политическую концепцию Карамзина, которая сводится к тому, что Россия обязана «величием своим счастливому ведению монархической власти». Пушкин создает язвительную эпиграмму:

В его истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

В заметках по русской истории Пушкин доказывает, что успехи просвещения неминуемо должны привести к ликвидации крепостничества. Как и декабристы, Пушкин рассматривает уничтожение крепостного права как неотложную общенациональную задачу: «Политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла».

Взросший интерес Пушкина к русской истории отразился в его написанной великолепным чеканным стихом «Песне о вещем Олеге» (1822). Здесь воспроизведено старинное предание о смерти князя Олега, но звучат и актуальные мотивы. Устами мудрого старца-волхва автор заявляет о своей независимости от сильных мира:

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.

В южной ссылке Пушкин создает и ряд прекраснейших стихов о любви: «Нереида» (1820), «Адели» (1822), «Ночь» («Мой голос для тебя и ласковый и томный...»), «Простишь ли мне ревнивые мечты...» (1823). В этих стихах Пушкин отступает от романтического изображения действительности. В них нет «украшательства», все полно гармонии и пластичности. По мнению Белинского, «простота и обаяние красоты» этих стихов свидетельствуют о непревзойденной художественности поэтической натуры Пушкина.

II

Помимо большого количества стихотворений Пушкин создает и ряд эпических поэм, в которых проявляет себя самым

ярким писателем прогрессивного романтизма в русской литературе. Первая из них – «Кавказский пленник» (1821).

После сказочного, условного мира «Руслана и Людмилы» здесь нарисован реальный современный мир. В письме брату Пушкин так описывал свои впечатления от кавказских гор: «Жалею, мой друг, что ты со мной вместе не видал великолепную цепь этих гор: ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижимыми». В «Кавказском пленнике» этот же образ превращается под пером Пушкина в жемчужину поэзии:

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов.
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков.

В красочных и точных описаниях кавказской природы, быта горцев Пушкин был среди русских поэтов первооткрывателем. Один из его современников подчеркивал: «Описания в «Кавказском пленнике» превосходны не только по совершенству стихов, но потому особенно, что подобных им нельзя составить, не видев собственными глазами картин природы». Эти описания тоже предвещали движение Пушкина к реализму.

Но сюжет поэмы и характеры ее героев тесно связаны с романтической традицией. Юноша, который рано разочаровался в «свете», нашел в себе силы бежать, но оказалось, что к иной жизни неприспособлен, – таков Пленник. Пленника захватывают горцы-черкесы, с помощью молодой черкешенки, в него влюбленной, он спасается. Пушкин предпринимает попытку набросать движение характера. Радующийся буре, отважный Пленник в некоторых эпизодах предстает как меланхолический

любовник. Но в целом характер выдержан в одном ключе, и его главная нота – жажда свободы:

Свобода! Он одной тебя
Еще искал в подлунном мире.

В то же время к своему романтическому герою Пушкин относился как реалист. Об этом свидетельствует его замечание в письме к П.А. Вяземскому от 6 февраля 1823 г.: «Другим досадно, что Пленник не кинулся в воду вытаскивать мою черкешенку – да сунься-ка; я плавал в кавказских реках – тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь; мой Пленник умный человек, расудительный, он не влюблен в черкешенку – он прав, что не утопился».

Через несколько лет, перечитав поэму, Пушкин отозвался о ней как о первом «неудачном опыте характера», с которым он «насилу сладил». Он не достиг глубокого психологического проникновения в образ современника – этому мешала форма романтической поэмы. Но Пушкин наносил удар по одряхлевшему классицизму, впервые в своем творчестве воплощал современного героя.

III

Следующим крупным произведением Пушкина периода южной ссылки стала поэма «Бахчисарайский фонтан» (1823). Ее сюжет заимствован из крымского предания XVIII века о роковой любви бахчисарайского хана к польской княжне, им похищенной. Белинский считал, что в основе поэмы «мысль великая и глубокая»: в дикаре, «пресыщенном гаремною любовью, вдруг вспыхивает более человеческое и высокое чувство к женщине. Мысль поэмы – перерождение (если не просветление) дикой души через высокое чувство любви».

Но эта мысль оказалась слишком сложной для романтической поэмы. У Пушкина любви его героя к чистой Марии мешает ревнивая Зарема. Действие развивается не без мелодраматических эффектов, композиция отрывочна, роковая развязка недосказана, – все в духе традиционных для романтизма литературных приемов. Историю, происшедшую, по преданию, в бахчисарайском дворце, будто бы рассказала поэту возлюбленная, и воспоминания о ней, взволнованные лирические монологи перемежаются сценами с участием Гирея и двух соперниц.

«Бахчисарайский фонтан» отмечает наибольшее приближение Пушкина к романтизму. Но в разгар работы над поэмой, 9 мая 1823 г., он создает первые строфы следующего своего произведения, задуманного уже в ином, реалистическом ключе. Он начинает свой шедевр – роман в стихах «Евгений Онегин». Работа над «Онегиным» длилась почти целое десятилетие.

«Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» пользовались огромным, исключительным успехом у современников. Читатели подставляли себя на место романтических героев и были покорены магией пушкинского стиха. Эти две поэмы упрочили славу Пушкина как ведущего поэта эпохи.

IV

Последняя из южных поэм Пушкина – «Цыганы» (1824). И сюжет и герои напоминают «Кавказского пленника». Алеко, герой «Цыган», подобно Пленнику, бежал от света, так же как Пленник ищет свободы, и опять безуспешно. Гордая цыганка Земфира сродни отважной черкешенке. Но есть и большие отличия между двумя поэмами.

Свободолюбие Пленника было обрисовано лишь общим образом. Негодование Алеко имеет социальную окраску. Он вспоминает «неволю душных городов», там люди

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.

Рельефнее обрисована и антитеза: цыганская община, где не знают недвижимой собственности, где господствуют природное равенство и природная свобода.

Исконная черкесская вольность обернулась для Пленника рабством – его заковали в цепи. Алеко не брали в плен, он сам добровольно пришел в табор, и никто его свободе не препятствует. Хотя Старый цыган замечает, что «не всегда мила свобода тому, кто к неге приручен», Алеко искренне стремится приобщиться к кочевой бездомной бедной жизни. Но в нем, в его характере заложена нравственная порча, которая толкает действие к трагической развязке. Вначале о ней сказано лишь в общем виде:

Но боже! Как играли страсти
Его послушною душой!

В дальнейшем страсти выплескиваются наружу. Земфира, возлюбленная Алеко, которая была ему верной «подругой» два года, разлюбила его:

Его любовь постыла мне,
Мне скучно, сердце воли просит.

Алеко – плоть от плоти того самого «света», бремя условий которого он хотел с себя сбросить. Он не признает за женщиной, к тому же дикой цыганкой, не ровней себе, права на новое чувство. Он сам хотел бы распоряжаться ее судьбой. Алеко рев-

нует, ненавидит соперника. Он идет на страшное преступление: закалывает ножом сперва «хищника», затем Земфиру.

Его вольнолюбивые тирады забыты. «Ты для себя лишь хочешь воли», – проницательно замечает Старый цыган. Пушкин подчеркивает отличие героя поэмы от вольнолюбцев подлинных, искавших свободы не только для себя, а для всех.

Происходит развенчание, снижение героя-индивидуалиста. Во второй главе «Онегина», законченной Пушкиным за месяц до начала работы над «Цыганами», можно было найти горькое осмеяние этого характерного типа:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...

Этот тип, как справедливо отметил Пушкин несколько ниже, в третьей главе «Евгения Онегина», восходил к Байрону:

Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

«Цыган», как «Кавказского пленника» и «Бахчисарайский фонтан», современники относили к байронической традиции. Но справедливее было бы сказать, что Пушкин, пережив страстное увлечение Байроном, начал спорить с ним. Пушкин сочувствовал, симпатизировал гордости, вольнолюбию его героев. Но он законно поставил вопрос об ограниченности индивидуалистического протеста.

И вот заключительный эпизод «Цыган». После того, как Земфиру и ее молодого возлюбленного похоронили в общей

могиле, старик-отец отлучает Алеко от табора. Цыгане «не терзают, не казнят» Алеко, но и не хотят жить с убийцей. Табор снимается «с долины страшного ночлега», Алеко остается один.

Поэма заканчивается горьким итогом. Руссоистская идея о возможности убежать от века, от просвещения утопична: в себе самом человек несет приметы своей эпохи, он сформирован как личность воспитанием, средой. Бежать пушкинскому Алеко нужно было бы не от света, а от самого себя:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет. ..

В этих строках принципиально новая трактовка распространенной во всей европейской литературе начала XIX века темы противоречия между природой и цивилизацией.

Философской глубиной и верностью жизненных наблюдений поэма «Цыганы» далеко выходила за рамки романтической традиции. В творчестве Пушкина она стала главной вехой, отметившей его движение к реализму. Реалистический метод вызревал у Пушкина, как мы видели, постепенно. В «Цыганах» характеристика героев уже связана с общественной средой. Идея различия культур, заявленная в «Бахчисарайском фонтане», проведена более углубленно. Описание местных нравов убедительнее, чем в «Кавказском пленнике»: детали быта даны в связи с развитием сюжета. Романтический Алеко становится непосредственным предшественником реалистического Евгения Онегина. «Цыганы» обозначили преодоление Пушкиным романтического понимания жизни. Однако такие черты прогрессивного романтизма, как неприятие общественной несправедливости, лирическое одушевление, стремление к народности, стали частью его реализма.

«Цыганы» – первая из поэм Пушкина, где характеры не описываются, а раскрываются в драматическом действии. Это дало поэту возможность достичь поразительного лаконизма. «Цыганы» примерно в пять раз короче «Руслана и Людмилы», но каждый эпитет, каждая метафора несут огромную нагрузку. Описание внешности персонажей, занимавшее большое место еще в «Бахчисарайском фонтане», в «Цыганах» отсутствует. Нет и прямого психологического анализа, но герои раскрываются в своих речах и поступках. Большая часть поэмы облечена в форму диалога (в этом тоже находит выражение скрытая полемика Пушкина с поэтикой Байрона, строившего поэмы как развернутый лирический монолог), и диалоги из «Цыган» предвещают художественные открытия Пушкина-драматурга.

В центральной сцене «Цыган», возле колыбели, в которой покоится младенец, плод любви Алеко и Земфиры, Земфира поет песню:

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня,
Я другого люблю...

В песне раскрывается томление Земфиры. Песня в то же время будит дремавшие было «страсти» в душе Алеко. Злобно, подчеркивая свое превосходство, он прерывает Земфиру:

Алеко
Молчи, мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.
Земфира
Не любишь? Мне какое дело!
Я песню для себя пою.

«Для себя» звучит как утверждение права героини на независимость. Алеко, который «для себя лишь хочет воли», не признает такого права за возлюбленной. Но Земфира не подчиняется ему, продолжает петь. Алеко прерывает ее снова, и тогда Земфира неожиданно бросает ему, что песня о нем самом:

Алеко

Молчи, Земфира! я доволен...

Земфира

Так понял песню ты мою?

Алеко

Земфира!

Земфира

Ты сердиться волен,

Я песню про тебя пою.

(Уходит и поет: «Старый муж...»)

Это единственная сцена ссоры Алеко и Земфиры в поэме. Она насыщена внутренним драматическим движением и энергично направляет действие к развязке. В ней и мнимое чувство превосходства героя над героиней, и зародившаяся в женщине к нему неприязнь. В ней невозможность взаимопонимания двух людей разных культур, в ней, наконец, мотив «воли» для каждого. И все это вмещено Пушкиным только лишь в восемь стихотворных строк диалога.

Песня, которую поет в этой сцене Земфира, становится лейтмотивом образа. Земфира умирает со словами, почти точно ее повторяющими. В то же время это подлинная цыганская плясовая, переведенная Пушкиным на русский язык. В «Цыганах» поэт обнаруживает свой дар проникать в сущность других культур, других эпох.

Современники не оценили новаторства Пушкина в «Цыганах». Вяземский, Рылеев упрекали его за снижение романтического героя. Однако они оба почувствовали, что Пушкин идет «шагами великана» (Рылеев), что он «далеко за собою оставил берега и сверстников своих; но все еще предстоят ему новые испытания... он может еще плыть далее в глущь и полноводье» (Вяземский).

ГЛАВА IV. ССЫЛКА В МИХАЙЛОВСКОМ (1824–1826)

I

«Цыганы», начатые Пушкиным в Одессе, были закончены в селе Михайловском, новом месте его ссылки. В связи с продолжавшимся ухудшением отношений с «придворным хамом» Воронцовым, Пушкин из Одессы подал в июне 1824 г. рапорт с просьбой об отставке. Со своей стороны Воронцов тоже добивался удаления ненавистного ему поэта. Одновременно полиция перехватила письмо Пушкина к Кюхельбекеру с атеистическими суждениями (атеизм считался государственным преступлением). О письме доложили Александру I. В июле 1824 г. Пушкин «за дурное поведение» был уволен со службы и отправлен в имение матери под Псковом, глухое село Михайловское, под надзор полиции и церкви. Он прибыл в Михайловское 9 августа 1824 г. и пробыл там безвыездно более двух лет.

Последнее произведение, начатое Пушкиным на юге и законченное в Михайловском, – элегия «К морю» (1824). Она появилась через два года после упоминавшейся нами выше элегии Жуковского «Море». У Жуковского море одухотворено, имеет человеческие черты. Море Пушкина реально-материально, обладает стихийной мощью и в то же время очарованием:

Прощай, свободная стихия!
 В последний раз передо мной
 Ты катишь волны голубые
 И блещешь гордою красой.

Прекрасно звучание этих строк, аллитерации (переключки «р» и «л») и рядом шипящие «ш» и «щ» словно напоминают шум прибора. Пушкин прощается не только со свободной стихией моря, он расстается с романтизмом, оплакивая двух незадолго перед тем скончавшихся героев романтического века: таких разных – Наполеона и Байрона.

В михайловской ссылке в художественном творчестве Пушкина окончательно утверждается реализм.

II

В письме к одному из одесских приятелей Пушкин рассказывал о своей жизни в Михайловском: «Уединение мое совершенно – праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко – целый день верхом – вечером слушаю сказки моей няни...» В деревне, общаясь с Ариной Родионовной, с крестьянами, Пушкин особенно глубоко ощутил свою связь с землей, с народом, приобщился к поэтическому миру народного творчества. В стихотворении «Зимний вечер» он писал:

Наша ветхая лачужка
 И печальна, и темна,
 Что же ты, моя старушка,
 Приумолкла у окна?
 Или бури завываньем
 Ты, мой друг, утомлена,

Или дремлешь под жужжаньем
 Своего веретена?
 Выпьем, добрая подружка
 Бедной юности моей.
 Выпьем с горя; где же кружка?
 Сердцу будет веселей.
 Спой мне песню, как синица
 Тихо за морем жила;
 Спой мне песню, как девица
 За водой поутру шла.

«Совершенное уединение» михайловской ссылки оказалось исключительно плодотворным для поэта. Он живет насыщенной творческой жизнью, много и систематически читает, много пишет в разных жанрах – от эпиграммы до романа в стихах, от интимного посвящения до исторической трагедии.

Достигает новой глубины его поэзия; в ней выражается личность автора. Стихотворения «Сожженное письмо», «Желание славы», «Я помню чудное мгновенье...», «Если жизнь тебя обманет...» (1825) – своеобразный лирический дневник, где каждая строка – шедевр, запечатлевший для потомков смену переживаний и настроений гения.

В Михайловском Пушкин размышляет о «болезни века» – эгоистической нравственной опустошенности. Эта тема, впервые заявленная им в южной ссылке, получает теперь новую глубокую разработку в «Сцене из Фауста». У Пушкина не пересказ Гете, а совершенно самостоятельное произведение, в котором Фауст осовременен. В «Сцене» дан его диалог с Мефистофелем через 16 лет после подписания договора, заключенного на 24 года: Мефистофель должен выполнять все желания Фауста, а Фауст должен по окончании срока договора отдать свою душу. Фауст пошел

на этот договор ради знаний и наслаждений, но в первой же его реплике в «Сцене» звучит: «Мне скучно, бес!» Знания, наслаждения – все только для себя. Скука ведет его к презрению к людям, но он стыдится признаться в своем цинизме, тешится иллюзией, что был хотя бы счастлив с Гретхен. Его обрывает Мефистофель, напоминает ему сокровенные тайные мысли:

На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем...

В короткой сцене намечено развитие характера Фауста: переход от скуки к мизантропии. Мефистофель стремится выполнять все новые его желания, но у Фауста уже нет желаний, а жить ему, по договору, еще восемь лет. И вот концовка «Сцены»: увидев на горизонте корабль, Фауст приказывает: «Все утопить». Такова логика индивидуализма.

Но постигнув «болезнь века», Пушкин остался оптимистом. Оптимизм поэта основывался на его вере в исторический прогресс, в человеческий разум. Ссылный автор «Вольности» и «Деревни» умел подняться в своем творчестве над личными невзгодами и создавал подлинные гимны радости:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
(«Вакхическая песня», 1825).

Усиливается интерес Пушкина к народному творчеству. Сказки, услышанные от няни, он записывает в особую тетрадь и в эту же тетрадь в качестве эпиграфа вписывает первые строки будущего пролога к «Руслану и Людмиле»:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи крутом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит...

Приемы народно-песенной поэтики Пушкин широко использует в песне дворовых девушек («Девицы, красавицы, душеньки, подруженьки...»), которую он пишет для третьей главы «Евгения Онегина».

Баллада «Жених» (1825) первоначально имела подзаголовок «простонародная сказка» – и Белинский вполне справедливо ее противопоставлял балладам Жуковского, замечая: «Эта баллада и со стороны формы и со стороны содержания насквозь проникнута русским духом». Пушкин много размышляет в Михайловском о народности литературы, понимая ее прежде всего как идейность, разработку писателем важных культурных, философских и политических вопросов.

Стремление постичь «русский дух» дополняется у Пушкина обращением и к зарубежным культурам. Он создает цикл «Подражания Корану» (1824), где раскрывает для русского читателя, говоря словом того же Белинского, «красоты арабской поэзии». Пушкин доказывает, что, разрабатывая иноземную тематику, можно оставаться национальным поэтом. В стихотворении «Андрей Шенье» (1825) повествование ведется от лица французского поэта, изображена французская революция, но Пуш-

кин проводит актуальный для России тезис о неизбежности торжества свободы. Поэт отказывается от пессимизма своей притчи о сеятеле:

Умолкни, ропот малодушный,
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет.

III

Каково назначение поэзии, каково место поэта в современном мире? Эти вопросы впервые широко поставлены у Пушкина в одном из первых написанных им в михайловской ссылке стихотворений «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824). Здесь противопоставлены два мироощущения, два героя – романтически-восторженный поэт и цинический книгопродавец, представитель буржуазного века. Для первого поэзия – непосредственное выражение творческого порыва, он и думать не хочет об общественном назначении искусства. Пушкин вложил ему в уста великолепные строки о вдохновении:

Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.

Но романтические тирады поэтически поэтизирующего поэта снижены ироническими репликами книгопродавца. Для книгопродавца искусство лишь средство заработка: для него не существует «чудных грез», к «стишкам», как он их называет, он относится равнодушно, презрительно. Вот иное дело – деньги. Он пытается убедить поэта, что за деньги можно купить славу, успех и женщин. Тем не менее на вопрос книгопродавца «Что ж изберете вы?», поэт кратко и без колебаний отвечает: «Свободу». И тогда книгопродавец произносит тираду об основном законе века:

Наш век торгаши; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца.

Веря в искренность поэта, который может отказаться продавать вдохновение даже ради свободы, книгопродавец выдвигает последний свой аргумент:

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.

Поэт уступает, но в этот момент умолкает Поэзия, и он вынужденно переходит на деловой практический язык, на прозу. Стихотворение (редкий случай в истории литературы!) заканчивается его прозаической репликой: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». Об этом сказать стихами было нельзя.

В пору южной ссылки два метода, романтизм и реализм, в творчестве Пушкина сосуществовали. Начиная с «Разговора книгопродавца с поэтом», «поэзия действительности» стала у него решительно преобладать.

В «Разговоре...» есть важный автобиографический мотив. Пушкин был первым среди русских писателей, кто, благодаря успеху своих произведений у читающей публики, смог сделать писательский труд главным своим занятием, жить на литературный гонорар. Это означало независимость от придворных меценатов. Но в ту пору существовал устойчивый предрассудок, что продавать стихи непристойно и слова

Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать

стали для него формулой, определявшей положение писателя-профессионала: не предосудительно жить на литературный заработок, если «не продается вдохновенье».

Пушкин придавал своему стихотворению программный характер, он предпослал его публикации первой главы «Евгения Онегина». После выхода первой главы «Онегина» из печати Рылеев и Бестужев упрекнули его за прозаичность героя. Но Пушкин, предпослав «Разговор книгопродавца с поэтом» знаменитой строке

Мой дядя самых честных правил,

подчеркивал, что выражает теперь в поэзии свой новый, трезвый и углубленный взгляд на вещи.

IV

Этот же новый взгляд Пушкина на вещи проявился в его шутивно-сатирической поэме «Граф Нулин». Позднее он рас-

сказывал о возникновении замысла: «В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию?

Быть может, это охладило б его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить? – Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть».

Однако пародирование Шекспира явилось для Пушкина только первым творческим импульсом. Главным в этой повести в стихах стали для него полемически заостренный против романтических трафаретов выбор сюжета, художественное воспроизведение будничной жизни глухой провинции.

Герои набросаны яркими, сочными штрихами. Скучный барин-крепостник – он грубо самоуверен, готов «затравить псами» обидчика, превыше всего ставит охоту. Юная кокетливая его жена – она воспитывалась у француженки-эмигрантки, не умеет вести домашнее хозяйство, томится в сельской «глуши», ищет приключений. Наконец, неудачливый герой-любовник граф Нулин, недавно приехавший из Парижа с набором модных вещей:

С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков à жоиг,
С ужасной книжкою Гизота,

С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер Скотта.

Интрижка, закончившаяся пощечиной, развивается на фоне картин сугубо прозаического характера, вроде «драки козла с дворовой собакой». Эти, с точки зрения романтика, «презренно-прозаические» картины нарисованы Пушкиным с протокольной точностью:

Кругом мальчишки хохотали.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом.
Три утки полоскались в луже.
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже...

Когда поэма была опубликована (1828), критик Н.И. Надеждин выступил в журнале «Вестник Европы» с возмущенной статьей, осуждающей Пушкина за «ничтожность предмета». «Неужели в широкой раме черного барского двора, – издевался критик, – не уместились бы две-три хавроньи?.. Почему поэт, представляя бабу, идущую развешивать белье через грязный двор, уклонился несколько от верности, забыв изобразить, как она, со всем деревенским жеманством, приподнимала выстроченный подол».

Эти обвинения сродни тем, которые раздавались после появления «Руслана и Людмилы». Критик опять требовал для поэмы возвышенного предмета. Пушкин «Нулиным» объявлял борьбу жеманству и условности языка и сюжета, доказывал, что любые взятые из жизни темы могут вдохновлять художника.

Белинский справедливо заметил об этой поэме: «Только один Пушкин умел так легко и ярко набрасывать картины, столь глубоко верные действительности».

V

Крупнейшее произведение, созданное Пушкиным в михайловской ссылке, – историческая трагедия «Борис Годунов» (1824–1825). Здесь воплотилось уже намечившееся у Пушкина прежде (в диалогах из «Цыган», в «Разговоре книгопродавца с поэтом») тяготение к драматургической форме.

Представляют несомненный интерес размышления Пушкина об исторических и теоретических проблемах драматургии. Создатель «Годунова» выступил против устойчивых театральных канонов своего времени. Он первый в России поставил вопрос, что эстетика классицистской трагедии устарела, что единство времени и места ведет к несообразностям: «Заговоры, изъяснения любовные, государственные совещания, празднества – все происходит в одной комнате! – Непомерная быстрота и стесненность происшествий...»

Романтическая драматургия Байрона Пушкину тоже чужда: «В конце концов он (Байрон. – А.Ч.) постиг, создал, описал единый характер (именно свой), все, кроме некоторых сатирических выходов, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию – то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных».

Пушкин решительно выступает в защиту шекспировского метода «вольного и широкого изображения характеров, небрежного и простого составления типов». Его привлекает, что

английский драматург «не боится скомпрометировать своего героя, он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и в надлежащих обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру». «Народные законы драмы Шекспировой» Пушкину представляются более плодотворными, чем принципы «придворной трагедии» Расина. Основу шекспировой драматической системы Пушкин видел в том, что характеры героев раскрываются под воздействием окружающих обстоятельств: «Лица, созданные Шекспиром, не суть как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры».

Однако Пушкина отделяли от Шекспира два столетия: сама действительность стала более сложной. Шекспир (например, в трилогии о Генрихе VI) в соответствии с духом своей эпохи видел в историческом процессе прежде всего борьбу сильных одаренных личностей. Пушкин в период работы над «Борисом Годуновым», в канун восстания декабристов задумывается о роли в истории народных масс и дает мудрую сжатую формулу: «Что развивается в трагедии? Какова ее цель? – Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная».

Эта формула замечательна во многих отношениях. В ней поставлен важнейший вопрос реалистической эстетики, связанный с проблемой типизации. В ней резкое отталкивание от исторической концепции Карамзина, утверждавшей «необходимость самовластья» для России. В ней и отражение недавней полемики Пушкина с Рылеевым, который произвольно модернизировал историю в «Думах» и не стремился к подлинному историзму.

Нетрудно заметить, что, размышляя о драматургии, Пушкин широко разрабатывает общие принципы эстетики реализма. Драматургия представляется ему наиболее условным и потому наиболее сложным для писателя родом искусства: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах – вот чего требует наш ум». Основное требование Пушкина к историческому драматургу – «воскресить минувший век во всей его истине».

VI

В работе над пьесой Пушкин стремился практически воплотить свои драматургические концепции. Важной проблемой для него стал выбор принципа построения драмы. В «Горе от ума» Грибоедова большинство событий, обусловивших драму, предшествует действию, пьеса дает лишь развязку ситуации. Пушкин избрал иной путь: большинство основных событий происходит на глазах у зрителя, напряжение нарастает постепенно, заканчиваясь закономерной развязкой. Вместо предписанных поэтикой классицизма двадцати четырех часов, действие «Бориса Годунова» охватывает семилетний период.

В стремлении обновить театральную форму Пушкин разделил пьесу не на акты, а на 23 отдельные сцены. Действие свободно переносится из дворца на площадь, из покоев патриарха на поле боя, из России в Польшу. Единство места, таким образом, как и единство времени, полностью упразднено. Автор достигает возможности рассмотреть различные социальные пласты исторической трагедии.

Нарушено и единство действия – развитие действия вокруг одного сюжетного стержня с одним центральным героем. В «Годунове» количество персонажей очень велико, свыше шестидесяти, и они относятся ко всем без исключения слоям тогдашнего общества. Трагедия, названная именем царя Бориса, не кончат-

ся его смертью. Борис Годунов действует лишь в шести сценах, в то время, как Самозванцу уделено восемь. Пушкинская трагедия доказывала возможность построить действие не на личной судьбе героев, а на судьбе народа и государства.

В канун декабрьского восстания Пушкин настойчиво ищет логику исторических событий. Интерес к давней эпохе мятежей был связан с его стремлением осмыслить настоящее и будущее России.

Пушкин не раз задумывался об огромной роли русского народа в развитии Европы. Россия, считал он, дважды спасла Европу от порабощения. В первый раз (приведем высказывание поэта, относящееся к 1824 г.), «ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Образующееся Просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией». Во второй раз русский народ освободил Европу от Наполеона и выполнил тем высокую историческую миссию. Изображение событий прошлого России в пьесе призвано было содействовать росту национального самосознания.

Пушкин стремился воплотить в «Борисе Годунове» свои историко-философские идеи: идею неизбежности переворотов в общественной жизни, мысль о «связи времен», о воздействии среды на личность, о закономерностях исторического процесса. Исторические события, изображенные Пушкиным, – царствование Годунова и воцарение Самозванца – были описаны в X и XI томах «Истории» Карамзина, вышедших в 1824 г. Кроме того, поэт обратился к старинным летописям, и летописи помогли ему, по его признанию, «угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени».

Единство слога – неписанное четвертое единство классицистской трагедии – тоже взрывалось Пушкиным. Слог героев

патетичен там, где этого требуют обстоятельства, просторечен в домашней бытовой обстановке. Традиционный для трагедии александрийский стих заменен пятистопным белым с прозаическими вставками. В юности Пушкин был противником белого стиха и опыты в этом роде Жуковского встретил пародией:

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль

(эти строки из стихотворения Жуковского «Тленность»),
что, если это проза,
Да и дурная?

В «Годунове» Пушкин открывает для себя белый стих с его подчеркнутой прозаичностью и эпическим складом. Новым явилось и широкое введение в художественную ткань трагедии комических и обыденных сцен – по традиции, «классическая» трагедия могла включать в себя только возвышенное. Особенно важна для развития жанра широкая разработка Пушкиным многогранных и одновременно цельных характеров.

Поэт сознательно почти полностью исключил из трагедии любовную интригу. «Но, – признавался он, – не говоря уже о том, что любовь весьма подходит к романтическому и страстному характеру моего авантюриста, я заставил Димитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер». Как главную, преобладающую черту образа Марины Мнишек Пушкин выделил честолюбие. Однако его героиня – не героиня одной черты. Ее поведение даже может показаться противоречивым. Хотя Марина действует только в одной сцене, движение характера намечено выпукло.

...Героиня назначила свидание у фонтана в саду Димитрию-самозванцу не для любовных объяснений. Он ей вновь и вновь

пылко говорит о своем чувстве, а она в ответ стремится внушить ему мысль энергично добиваться царского престола. Когда ослепленный страстью Дмитрий проговаривается, признается, что он самозванец и не имеет законных прав на корону, тон Марины сразу меняется, становится презрительно-надменным. В дальнейшем «гордая полячка» убеждается, что Дмитрий энергичен и смел, а стало быть, может все-таки захватить престол. Когда она слышит его решительные слова

Довольно. Стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться.
Царевич я,

то ее презрение к авантюристу-самозванцу отступает перед главной страстью, честолюбием:

Постой, царевич. Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.
С тобою, князь, она меня мирит.
Безумный твой порыв я забываю
И вижу вновь Дмитрия. Но – слушай:
Пора, пора! проснись, не медли боле;
Веди полки скорее на Москву –
Очисти Кремль, садись на трон московский,
Тогда за мной шли брачного посла.

VII

Самозванец у Пушкина влюбчив и болтлив, легкомыслен и беспринципен, он готов то опереться на «мнение народное», то воспользоваться против родины «польской подмогой». По ходу действия он превращается из монаха в бродягу, затем в воина и претендента на царскую корону. Но в разном обличье

он остается прежним. «Всякий был годен, чтобы разыграть эту роль», – читаем в черновой заметке Пушкина,

Несравненно сложнее образ его антагониста Бориса Годунова. Действие начинается с избрания Годунова на престол. Незаурядный, одаренный Борис всю жизнь стремился к власти, со ступеньки на ступеньку поднимался к трону и вот, наконец, «высшей власти» достиг.

Но на пути к власти он совершил преступление – по его приказу был убит малолетний царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного. Пушкин здесь следует за недоказанной версией, содержащейся в «Истории» Карамзина. У Карамзина заимствована и концепция личной трагедии Годунова – трагедии запятнанной совести, страха перед возмездием, которое в конце концов, подобно античному року, настигает его самого и его сына-наследника. Метания Годунова между жестокостью и добротой, обусловленные его больной совестью, нарисованы Пушкиным с поистине шекспировской силой.

Однако Карамзин толковал трагедию Бориса Годунова только как личную трагедию. Пушкин ставит вопрос шире, рассматривает историческую трагедию – отрыв царской власти от народа. Царь Борис свысока смотрит на народ, видит в нем неразумную чернь, презирает его и его страшится. Он рассуждает так:

Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо;
Грабь и казни – тебе не будет хуже.

Эта логика приводит Бориса, по Пушкину, к отмене старинной привилегии, так называемого «Юрьева дня». Прежде в конце ноября каждого года крестьяне имели право беспрепятственно переходить от одного помещика к другому. Отмена Юрьева дня означала окончательное закрепощение крестьян и привела к резкому народному недовольству. Оно отразилось и в дошедшей до наших дней поговорке: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Пушкин, по его собственному признанию, смотрел на Бориса с политической точки зрения.

VIII

Трагедия «Борис Годунов», законченная Пушкиным за месяц с небольшим до восстания декабристов, стала первой в русской литературе народной трагедией. Поэт проводит мысль, что государственная власть зависит от народной поддержки. Борису не страшен Самозванец сам по себе:

Кто на меня? Пустое имя, тень –
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?

Но «тень» обретает плоть, когда «звук» находит отклик в «мнении народном». В уста своего предка-однофамильца Гаврилы Пушкина поэт вложил собственные раздумья на эту тему:

Знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою подмогой,
А мнением; да! – мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города?

Другой предок Пушкина, Афанасий, также выведенный в трагедии, связывает временное торжество Самозванца с отменой Юрьева дня, с надеждой народа на раскрепощение. По этому поводу рецензент, дававший отзыв о «Борисе Годунове» царю, писал: «Во-первых, царская власть представлена в ужасном виде; во-вторых, явно говорится, что кто только будет обещать свободу крестьянам, тот взбунтует их». Пушкин, ни в какой мере не модернизируя истории, достигал созвучия современности. Поставленные им проблемы – царская власть и народ, нравственность и политика – вызывали общий интерес. Тема запятнанной совести царя Бориса заставляла вспомнить и о возможной причастности Александра I к убийству Павла. Мысль о решающей роли народного мнения обгоняла свою эпоху: декабристы, как мы помним, были от народа «страшно далеки» (В.И. Ленин).

Тема народа центральная с первых строк первой сцены трагедии (диалог бояр Шуйского и Воротынского). Во второй и третьей сценах народ уже действующее лицо. Вторая сцена, события которой происходят на Красной площади, изображает общую скорбь и растерянность в связи с продолжающимся отказом Бориса «принять венец». Поначалу кажется, что концепция народа у Пушкина не противоречит официальной: народ – опора царской власти. Но это впечатление быстро рассеивается, когда в следующей сцене, на Девичьем поле, та же тема разрабатывается в другом ключе: народ уговаривает Бориса принять венец, но на первый план Пушкин выдвигает персонажа, который мажет глаза слюной, чтобы казалось, будто он от волнения плачет. Затем сцена в кремлевских палатах – известие об избрании царя. Снова звучит та же тема:

Да правлю я во славе свой народ, –

говорит Борис. Пятая сцена, по контрасту с предыдущей торжественной, переносит зрителя в темную монастырскую келью. Здесь Пушкин углубленно разрабатывает характер героя из народа. Его летописец Пимен поднимается до значительных обобщений, и суровые слова старого Пимена о Борисе

Владыкою себе царевубийцу
Мы нарекли, –

воспринимаются как отзвук подлинного отношения народа к царю. «Характер Пимена не есть мое изобретение, – писал Пушкин. – В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях».

Сцена в келье Пимена заканчивает своеобразный пролог трагедии Бориса Годунова. В ней впервые появляется будущий Самозванец. В дальнейшем две линии, Самозванца и Бориса, сблизятся, стяннутся в единый узел, и этот узел будет развязан только смертью Бориса. Но ликвидация конфликта «Борис – Самозванец» еще не знаменует конца трагедии: в центре внимания Пушкина не трагедия борьбы отдельных людей за власть, а трагедия народная.

И вот двадцать вторая, предпоследняя сцена трагедии, «Лобное место». Уже нет в живых Бориса, распалась вся его государственная система. Не тот стал и народ: он развился, вырос под влиянием событий. Прежде безропотный, он теперь выдвигает из своей массы глашатая-мужика. С высоты церковного амвона раздается мятежный его клич, определяя судьбу династии Годуновых:

Народ! народ! в Кремль! в царские палаты!
Ступай! вязать Борисова щенка!

Последняя сцена, у Борисова дома в Кремле, подводит итог событиям. Буря, разразившаяся в предыдущей сцене, стихла. По-прежнему народ терпеливо стоит у дворца, по-прежнему нищий выпрашивает милостыню. Народ победил, но не смог воспользоваться плодами своей победы. Уже после 14 декабря 1825 г. Пушкин приписал ставшую впоследствии знаменитой заключительную фразу трагедии:

«Народ безмолвствует».

В ней многослойный смысл. В безмолвии народа, его отказе приветствовать Самозванца на престоле – скорая и неизбежная гибель Самозванца. В этой фразе и напоминание читателю, что русский народ не всегда безмолвствовал: действие трагедии заканчивается 1605 годом, а уже в 1606 г. вспыхнуло грандиозное крестьянское восстание под предводительством Болотникова. В этой фразе и горькие раздумья современника событий на Сенатской площади над их смыслом и значением.

Показав решающую роль народа в историческом процессе, Пушкин совершил не только литературный подвиг – его пьеса стала важной вехой в истории русской освободительной мысли. Пьеса Пушкина своеобразно дополнила «Горе от ума» Грибоедова, где горячий гнев против старого строя сливался с горьким признанием несоразмерности слабых еще оппозиционных сил могучей твердыне самодержавия.

А между тем оппозиционный смысл «Бориса Годунова» был тщательно скрыт ссыльным поэтом от бдительных цензорских глаз, и Пушкин постоянно подчеркивал, будто в своей трактовке событий всего лишь следовал за Карамзиным. Лишь в частной переписке он доверительно признавался о трагедии: «Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!»

IX

В своем огромном по охвату событий и судеб полотне, трагедии-эпопее Пушкин достиг удивительной внутренней гармонии. Каждая из двадцати трех сцен – необходимое и закономерное звено в цепи единого действия. Между ними не только хронологическая последовательность, но и органическая художественная связь. Пушкин часто использует контрасты и параллели между героями, между сценами, принцип симметрии. Самозванец, например, впервые появляется в пятой сцене, в последний раз – в пятой сцене от конца. В первой из них он вначале спит, затем просыпается, во второй наоборот – сначала бодрствует, затем с наступлением ночи засыпает. В последней сцене он засыпает спокойно и беззаботно, хотя войско его разбито. Легкомысленный Самозванец не печалится, его радует романтика приключений. В первом своем появлении, напротив, будущий Самозванец просыпается после страшного, тревожного сна:

Мне снилось, что лестница крутая
 Меня вела на башню; с высоты
 Мне виделась Москва, что муравейник;
 Внизу народ на площади кипел
 И на меня указывал со смехом,
 И стыдно мне и страшно становилось –
 И, падая стремглав, я пробуждался.

История Самозванца, из скромного монаха ставшего московским царем, напоминает сказочный сон. Его сон имеет и сюжетную функцию, предвещая развязку судьбы героя, не показанную в пьесе: как известно, Самозванец погиб, когда выбросился из окна своего дворца, пытаясь спастись от убийц. Сон дает ключ к характеру, раскрывая глубоко затаенную мечту героя о возвышении.

Пятая сцена трагедии («Ночь. Келья в Чудовом монастыре») параллельна первой сцене («Кремлевские палаты»). Как в первой сцене боярин Шуйский рассказывает о преступлении Бориса Воротынского, так в пятой летописец Пимен открывает его «кровавый грех» молодому монаху, будущему Самозванцу. Но Воротынский слушал собеседника равнодушно, а молодой монах сразу же задает очевидно давно волновавший его вопрос:

Каких был лет царевич убиенный?

И услышав ответ:

Он был бы твой ровесник
 И царствовал...

сразу же принимает роковое решение. Сцену заканчивают его слова, что Борису не уйти от суда – и божьего и мирского. О плане выдать себя за убитого царевича он не говорит, но уже ясно, что план созрел, и герой ищет своему самозванству оправдание в мысли о справедливости возмездия Борису.

Эта сцена – еще один пример того, как Пушкин буквально в нескольких строках умеет нарисовать выпуклые образы, показать движение характеров, создать драматическое напряжение.

* * *

Пушкин начал добиваться публикации трагедии в 1826 г., но через шефа жандармов Бенкендорфа получил невежественный отзыв царя Николая I: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта». Пушкин от этого решительно отказался: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».

После долгих цензурных мытарств и проволочек, письменных разъяснений Пушкина такого, например, типа: «Драма-

тический писатель не может нести ответственности за слова, которые он влагает в уста исторических личностей», трагедия была опубликована с купюрами в конце 1830 г.

Современные критики не оценили ее в должной мере. Даже Белинский, давший ей чрезвычайно высокую оценку, принципиальных отличий Пушкина от Карамзина не разглядел. Менее проницательные критики ограничивались суждениями, будто «она не драма отнюдь, а кусок истории, разбитый на мелкие куски, в разговорах» (П. Катенин), будто «все отличие ее от классической драмы состоит в бессвязной пестроте явлений и прыжках от одного предмета к другому» (Н. Полевой). Подобные недалёковидные оценки «Годунова» современниками объясняются в первую очередь тем, что исторические и эстетические концепции Пушкина далеко обгоняли свое время. На сцену трагедия впервые попала лишь в 1870 г.

Х

Восстание 14 декабря 1825 г., его разгром и последовавшие за этим события – суд, казнь пятерых, каторга ста двадцати «друзей, товарищей, братьев» (среди них были Пущин и Кюхельбекер) – все это произвело на Пушкина потрясающее впечатление. «Я... был в связи с большей частью нынешних заговорщиков» – прямо писал он Жуковскому. Резко сократился объем его творческой деятельности. О подавленном душевном состоянии поэта говорит такой эпизод. Получив стихотворение Вяземского, воспевавшее море как символ свободы, Пушкин сразу же вспомнил недавний слух, будто морем везут на расправу в Петербург находившегося во время восстания за границей декабриста Н.И. Тургенева. Он написал Вяземскому мрачное послание:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник,
На всех стихиях человек –
Тиран, предатель или узник.

В этом перечне не нашлось даже места для обманутого, но порядочного человека. Пушкин в «гнусный век» исключает возможность подобного.

В том же 1826 г., что послание к Вяземскому, поэт создает три «Песни о Стеньке Разине» – знаменитом руководителе крестьянской войны. Разин впервые в русской литературе изображен Пушкиным с очевидной симпатией. Пушкин пишет о нем как о «единственном поэтическом лице русской истории». Знаменательно, что интерес к теме народного протеста у поэта вновь возрастает.

Осенью 1826 г. Пушкин предпринимает первую попытку поэтически осмыслить свое новое положение в обществе, когда он лишился единомышленников, остался, по существу, одиноким. Он создает торжественно-архаизированного «Пророка». Восходящий к Библии образ пророка, обличителя общественного зла, смело вещающего истину, нередко встречался в поэзии декабристов. Вслед за ними уподобляя поэта пророку, Пушкин демонстративно подчеркивает верность друзьям. Но стихотворение «Пророк» имеет широкий обобщающий смысл, оно связано с раздумьями Пушкина о вдохновении и утверждает стремление создателя «Годунова» в горький для него жизненный момент найти опору в литературном призвании. Недаром

пророк наделен мудростью змеи, пылающим сердцем. Свое высокое предназначение он выполняет, идя к людям:

И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

«Глаголом жги сердца людей» – эти возвышенные слова утверждали общественное назначение поэта.

ГЛАВА V. ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ССЫЛКИ (1826–1830)

I

Следствие по делу декабристов хотя и подтвердило агитационное воздействие политических стихов Пушкина, в то же время установило его непричастность к декабристским тайным обществам. Новый царь Николай I осенью 1826 г. вызвал опального поэта из ссылки. Он рассчитывал этим и успокоить общественное мнение и привлечь на свою сторону Пушкина, чей авторитет был громаден. Он имел с поэтом долгий разговор и объявил, что впредь будет его цензором. Пушкину предлагалось поддерживать постоянную связь с доверенным лицом Николая, шефом жандармов Бенкендорфом.

Но положение Пушкина оставалось шатким. Одно за другим против него возбуждались следственные дела – то о распространявшемся в списках отрывке из стихотворения «Андрей Шень», то о «безбожной» поэме «Гавриилиада».

Поэта тяготила и мрачная общественная обстановка, сложившаяся в России после подавления движения декабристов.

В его рукописях 1826–1828 гг. несколько раз встречаются рисунки, изображающие виселицу с качающимися телами.

Вторую половину 1820-х гг. Пушкин живет преимущественно в Москве и в Петербурге, ездит в Михайловское. На короткое время он сблизается с Веневитиновым и его кружком, затем с польским поэтом Адамом Мицкевичем. Но, в общем, Пушкин в эту пору «всеобщего уныния», как ее позднее характеризовал Герцен, ощущает глубокое духовное одиночество.

II

Он продолжает работу над «Евгением Онегиным», пишет большое количество стихов. Многие его стихи связаны, как и прежде, с гражданской политической темой. Едва ли не самое известное среди них послание «Во глубине сибирских руд...» (1827). Слова утешения друзьям, томящимся в Сибири, шли из глубины сердца поэта. Пушкин был убежден, что развитие просвещения в конце концов неминуемо приведет к народной свободе. Послание в Сибирь проникнуто оптимистической уверенностью в завтрашнем дне, оно продолжало лучшие традиции прежней «вольной» лирики.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

На свое послание Пушкин получил из Сибири ответ. Ссылный декабрист А.И. Одоевский во взволнованных строках развивал пушкинскую мысль:

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя...

Много лет спустя эту строчку Одоевского взял эпиграфом для газеты «Искра» В.И. Ленин. А в статье «Памяти Герцена» он прямо обратился к формуле Пушкина о декабристах: «Их дело не пропало...»

Пушкин подчеркивает свою верность декабристским идеалам и в стихотворении «Арион» (1827) – монологе поэта-пловца, уцелевшего после кораблекрушения, – где заявляет: «Я гимны прежние пою». Одновременно он пытается облегчить участь ссыльных. Стихотворение «Стансы» (1828) построено в духе поучения молодому царю – поэт призывает его подражать великому «пращуру», Петру I. Пушкин рисует вдохновенный образ Петра – преобразователя России, и как поэт-гражданин, как государственный деятель убеждает Николая, подобно Петру, быть «памятью незабным» к политическим оппонентам.

«Стансы», однако, не оправдав надежд поэта, вызвали негодование даже у его друзей, поэта Языкова, критика Катенина и др.: его обвиняли в подлаживании к царю. Но Пушкин все еще продолжает верить в возможность оказать на Николая положительное воздействие. Он пишет стихотворный ответ «Друзьям» (1828) с весьма многозначительным окончанием:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

«Стансы» и «Друзьям» свидетельствуют об иллюзиях Пушкина в отношении Николая I. Надежды поэта на преобразования «по манию царя» вновь, как в юности его, не осуществились. И, тем не менее, то, что поэт призывал царскую милость к ссыльным декабристам, было в трудной политической обстановке второй половины 1820-х гг. самоотверженно и смело.

Важным является и аллегорическое стихотворение Пушкина «Анчар» (1828). В первых строфах в нем впечатляюще воссоздан образ легендарного ядовитого «дерева смерти», способного убивать все живое даже на расстоянии:

К нему и птица не летит
И тигр нейдет...

От описания поэт переходит к повествованию:

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек,
И к утру возвратился с ядом.

Горькая ирония звучит в первой из этих четырех строк. Природное равенство людей уничтожено отношениями власти и подчинения, один человек взглядом посылает другого на верную смерть, человек не равен человеку. Ниже в тексте стихотворения слово «человек» не упоминается, его вытесняют социальные определения:

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Раб и владыка. Пушкин создает справедливую для многих веков модель отношений социальной несправедливости. В эпитете «бедный» есть тень сочувствия, но есть и осуждение в слове «раб». «Анчар» – историко-философская дума о злых, непознанных силах природы, о злых общественных силах. Это свое стихотворение Пушкин опубликовал, минуя цензуру царя, и был в резкой форме взыскан Бенкендорфом.

Отметим существенное изменение акцента в лирике Пушкина в последекабрьскую эпоху: на смену непосредственному пафосу освободительной борьбы приходит углубленный социальный критицизм, стремление утвердить свою независимость от царя и «черни».

III

Тема «поэт и общество» занимает в творчестве Пушкина после декабрьской эпохи одно из центральных мест. В эту трудную для России пору никакая явная оппозиционность не могла иметь места, напротив, Пушкину все труднее было противоборствовать постоянному давлению властей, стремившихся приспособить его талант к официальной верноподданности.

С другой стороны, в конце 1820-х гг. наступает период охлаждения современников к творчеству Пушкина. Его интерес к обыденной, «низкой» действительности непонятен романтически настроенным критикам и читателям-почитателям.

Его новые произведения они воспринимают чуть ли не как измену и уже безусловно как падение таланта. Читатели привыкли, по инерции, подставлять себя на место литературных героев. Каждому лестно и увлекательно было вообразить себя Пленником, но кого могло воодушевить уподобление графу Нунлину или Самозванцу? Возникло отчуждение между поэтом и его аудиторией. О закономерности такого отчуждения Пушкин писал в заметках о поэте Баратынском: «Но лета идут – юный талант мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для самого себя и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность...»

В цикле стихов, написанных во второй половине 1820-х гг., Пушкин демонстративно подчеркивает свою литературную не-

зависимость от «условий света». Стихотворение «Поэт» (1827), как и предшествовавшее ему «Пророк», связано с темой вдохновения. По мысли Пушкина, в каждодневной жизни разницы между поэтом и обычными людьми нет, более того,

И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но в моменты вдохновения, когда его зовет Аполлон «к священной жертве», он становится внутренне совершенно независим, в своем творчестве он не следует ни за чьим вкусом,

К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы,

он сам себе самый строгий судья.

Наиболее воинственное, страстное в пушкинском цикле стихотворение «Чернь» («Поэт и толпа», 1828). Рассказывают, что Пушкин впервые его прочел в аристократическом петербургском литературном салоне «в досаде» в ответ на просьбу что-нибудь прочесть, и кончив, с сердцем сказал: «В другой раз не будут просить».

Пушкин под «черню» понимал не только великосветских дилетантов. Его гнев был направлен шире, против потребительского подхода к литературе, против бездуховности, против читателя-обывателя, который считает себя вправе судить поэта, но не стремится его понять: «О чем бренчит?» «Чернь» требует от искусства элементарной назидательности:

Сердца собратьев исправляй...
Гнездятся клубом в нас пороки.

...Ты можешь, ближнего любя,
 Давать нам смелые уроки,
 А мы слушаем тебя.

Между тем, задачи искусства не могут, по Пушкину, быть сведены к морализаторству. Поэт – пророк, и по одной этой причине он независим от требований «черни». Наивно было бы ждать, что услышав стихи, обличающие пороки, «чернь» исправилась бы. Поэтому:

Подите прочь – какое дело
 Поэту мирному до вас!
 В разврате каменейте смело,
 Не оживит вас лиры глас!

Заключительные строки, в которых говорится, что поэты

рождены для вдохновенья,
 Для звуков сладких и молитв,

полемиически заострены против утилитаризма и требования дидактики.

Изъяв эти строки из контекста стихотворения и, шире, из контекста всего пушкинского творчества, теоретики «искусства для искусства» после смерти Пушкина сделали их своим знаменем, а Пушкина провозгласили своим предшественником.

Свидетельство аристократического пренебрежения к народу увидел в этих строках критик-демократ Д.И. Писарев. Ошибочность, неисторичность его концепции вскрыл позднее Г.В. Плеханов, который показал, что под понятиями «чернь», «толпа», «народ» Пушкин отнюдь не имел в виду простой народ. Самой сутью своего творчества, проникнутого гуманизмом, содержа-

тельностью, идейностью, Пушкин концепции «чистого искусства» прямо противостоял.

Своеобразное напутствие самому себе – сонет Пушкина «Поэту» (1830):

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
 Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
 Ты царь: живи один. Дорогою свободной
 Иди, куда влечет тебя свободный ум,
 Усовершенствуя плоды любимых дум,
 Не требуя наград за подвиг благородный.

Снова речь шла здесь о независимости художника как необходимом условии творчества. Теме поэта, добровольно идущего на отказ от жизненных радостей, на одиночество во имя выполнения своей высшей жизненной задачи, соответствовала намеренно стесненная, трудная для художника форма сонета, которую Пушкин избирает одним из первых в русской литературе. Эту форму он слегка видоизменяет по сравнению со сложившейся традицией: разнообразит схему рифмовки, пишет не пяти – а шестистопным ямбом. Одновременно Пушкин создает и еще один сонет, где прослеживает родословную этой стихотворной формы: «Суровый Дант не презирал сонета...»

Последовательное утверждение независимости художника от властей и от «черни», проходящее через весь последекабрьский цикл Пушкина о поэте, важно и знаменательно. Это было единственно возможной в ту пору принципиальной позицией. Автор «Пророка» жестоко издевался над теми стихотворцами, которые писали стихи по заказу. Пушкин отказывается выражать идеи властей, наставлять читателя следовать этим идеям. Он не может писать стихи по темам и фразеологии такие, какие писал в юности. Тем более он не станет писать таких стихов,

каких от него требуют. Спор о поэзии становился спором о вольности. Независимость искусства от «толпы» утверждалась Пушкиным во имя высоких и благородных идеалов, во имя народа.

IV

Неслучайно в последекабрьский период Пушкин проявляет большой интерес к проблеме народности литературы. В 1828 г. он работает над статьей, где требует в поэзии «благородной простоты», выступает против напыщенности и «условных выражений» стихотворства. «В зрелой словесности, – заявляет Пушкин, – приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному».

Пушкин к этому времени и сам проделал путь от условной, романтической народности к поэзии действительности. Об особенностях этого пути размышлял позднее выдающийся критик-демократ Н.А. Добролюбов: «Пушкин, – отметил он, – умел постигнуть истинные потребности и истинный характер народного быта. Он присмотрелся к русской природе и жизни и нашел, что в них есть много истинно хорошего и поэтического. Очарованный сам этим открытием, он принялся за изображение действительности». Добролюбов продолжает: «И в этом-то заключается великое значение поэзии Пушкина: она обратила мысль народа на те предметы, которые именно должны занимать его, и отвлекла от всего туманного, призрачного, болезненно-мечтательного, в чем прежде поэты находили идеал красоты и всякого совершенства. Поэтому не должно казаться странным, что очарование нашим бедным миром так сильно у Пушкина, что он так мало смущается его несовершенствами.

В то время нужно было еще показать то, что есть хорошего на земле, чтобы заставить людей спуститься на землю из их воздушных замков».

Мир образов народной жизни, захвативший Пушкина в Михайловском, после его возвращения из ссылки обогатился новыми красками. «Благородной простотой» отмечена его новая баллада «Утопленник» (1828), которая, как и предыдущая «Жених», была им названа «простонародной сказкой». Ритмы старинной народной песни, фольклорные образы чувствуются в написанных нерифмованным стихом набросках «Всем красны боярские конюшни...» (1827), «Еще дуют холодные ветры...» (1828). Фольклорное начало проникает в интимную лирику, например, в «Зимнюю дорогу» (1826), в пейзажные зарисовки «Зимнее утро», «Зима. Что делать нам в деревне?» (1829), где образы русской природы конкретны, лишены всякой поэтической условности. Пушкину чужды любые украшения, архаизмы и местные выражения. По замечанию Горького, он дает урок последующим поколениям писателей: как использовать народный речевой материал.

V

Среди написанного Пушкиным в последекабрьскую эпоху особое место занимают философские стихи – размышления о жизни, о смерти, о своей жизни, о своей смерти. В них отчетливо проявляется зрелость гения.

Горькие думы подсказывает ему современность. Даже в кругу прежних своих друзей он часто испытывает одиночество. Элегически звучит его стихотворный отклик на безвременную смерть Веневитинова «Три ключа» (1827). В день своего рождения в 1828 г. Пушкин создает стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...», где с грустью признается:

Цели нет передо мною;
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Эти глубоко личные, выстраданные строки по-своему отражают трудную для Пушкина пору жизни. Но они раскрывают перед нами поистине богатырскую фигуру поэта, который даже свою продолжавшуюся работу над «Евгением Онегиным» и ту не считал достаточной целью.

Характерно для Пушкина, что рядом со скорбными, подчас трагическими строками на бумагу у него ложатся строки, исполненные мудрого оптимизма. Элегия «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829), начатая раздумьями об ожидании смертного часа, о смерти как всеобщем законе, заканчивается светлой альтруистической мыслью о смене поколений, о всегда торжествующей молодости:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Та же мысль повторяется в строках второй главы «Евгения Онегина», которые восхищали Белинского:

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя

Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!
Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнью, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

Так мысль о смерти совмещается у Пушкина с представлением о бесконечном процессе жизни. Поэт поднимается над страхом перед личным уничтожением, раздумывает о том, как оставить по себе память людям, тем, кто будет жить позже. Удивительная гармония отличает его мироощущение. Его оптимизм выстраданный, но неподдельный и глубокий.

VI

В пушкинской поэзии конца 1820-х гг. большое место занимает любовная тема. Современники сохранили для нас свидетельства о многих любовных увлечениях Пушкина этих лет, но все они оказывались кратковременными. Все же они вдохновля-

ли его на создание таких произведений, как «Талисман» (1827), «Что в имени тебе моем?» (1830). Пушкин сватается к молодой московской красавице Наталье Гончаровой и получает вначале неопределенный ответ. Вновь встретившись с нею после долгой разлуки, он создает в 1829 г. проникновеннейшее стихотворение:

Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил: безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренне, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Приглядитесь к строю этого стихотворения, к его словесному материалу. Он очень прост, этот словесный материал. Ни громов, ни бурь, а только самые обиходные слова: «быть может», «не совсем», «не хочу печалить», «дай вам бог». Но при всем том бездна поэзии, и поэзии в высшем смысле этого слова – высокой, человеческой, сдержанно-одухотворенной.

В этом стихотворении и во многих других, написанных Пушкиным во второй половине 1820-х гг., звучит мотив воспоминаний о прошлом: «Воспоминание», «Цветок», «Не пой, красавица, при мне...» (1828). Этот мотив своеобразно дополняет раздумья поэта о будущем. В «Воспоминании» требовательность художника к самому себе, суровая переоценка пережитого. Два других стихотворения в элегическом ключе, но совершенно лишены манерной чувствительности. О стихотворении «Цветок» оставил важное наблюдение Белинский: «Предмет здесь не имеет цены сам по себе, но все зависит от того, какое значение дает

ему субъект, все зависит от того веяния, от того духа, которыми проникается предмет фантазией и ощущением. Что, например, за предмет – засохший цветок, найденный поэтом в книге? – но он внушил Пушкину одно из лучших, одно из благоуханных, музыкальнейших его лирических произведений».

В 1829 г. Пушкин совершил поездку на Кавказ, на фронт военных действий с Турцией. Поездка подсказала ему темы для стихотворений «Кавказ», «Обвал» и др., а также для новой кавказской поэмы, которая осталась незаконченной и печатается в наши дни под условным названием «Тазит». В сравнении с «Кавказским пленником», «Тазит» гораздо больше связан с реальным бытом горцев. Герой поэмы, подобно Пленнику, личность исключительная. Но в отличие от Пленника, он уроженец Кавказа, поднявшийся до протеста против кровавых старых обычаев. Конфликт Тазита с отцом перерастает в конфликт с обществом. Во время своей кавказской поездки Пушкин вел дневник, и его записи легли в основу серии очерков «Путешествие в Арзрум», написанных, по-видимому, в 1835 г.

VII

Два крупнейшие произведения Пушкина, созданные им во второй половине 1820-х гг., неоконченный роман «Арап Петра Великого» (1827) и поэма «Полтава» (1828) связаны с властно подсказанной ему жизнью темой Петра I.

Сразу же после 14 декабря 1825 г. реакционные круги стали постоянно вспоминать Петра I и именем его оправдывать самодержавный строй. 14 июля 1826 г. был отслужен государственный молебен около памятника Петру на той самой Сенатской площади, где лишь несколько месяцев назад произошло восстание декабристов.

Отношение Пушкина к Петру было двойственным. Наиболее отчетливо он его сформулировал в 1835 г., отметив «раз-

ность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего, вторые вырывались у нетерпеливого, самовластного помещика». По смыслу аналогичен и отзыв Пушкина о Петре, датированный 1822 г. Отношение поэта к Петру как к великому преобразователю России и одновременно «самовластному помещику» с годами не менялось, но в его художественном творчестве выходили на первый план в разные годы разные стороны образа.

Произведения Пушкина о Петре, созданные в конце 1820-х гг., преследовали цель дать предметный урок молодому императору Николаю I, подчеркнуть в Петре реформатора, просветителя, а не самодержца. Такая трактовка образа впервые дана в «Стансах»:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

VIII

«Арап Петра Великого» – первое произведение Пушкина в прозе. Интерес к прозе у него возник, однако, раньше; в 1822 г. он дал ставшее классическим определение: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат». В 1824 г. в третьей главе «Евгения Онегина» он говорил:

Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,

В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы...

В шестой главе, написанной в 1826 г., эта же мысль выражена категоричнее:

Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят.

В прозе, как и в драматургии, Пушкин начинает с разработки исторической темы. Историзм был основой метода Пушкина-реалиста, роман представлялся ему наилучшей возможностью раскрыть для читателя «историческую эпоху, развитую на вымышленном материале».

Впрочем, он старался сократить пределы вымысла: и главный герой – реально существовавшая личность, и фабула, как полагал Пушкин, восходила к подлинному событию. Арап (негр) Ибрагим Ганнибал – прадед писателя. Привезенный в Россию ребенком, он был воспитан при дворе Петра I, получил образование в Париже, затем вернулся в Россию, был близок Петру, служил в армии. Умер в преклонном возрасте в чине генерала. Обращаясь вновь, как в «Годунове», к жизнеописанию своего предка, Пушкин проявляет последовательность. В той же рабочей тетради, где находятся черновики «Арапа», есть такая запись: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

Пушкин написал лишь первые главы романа, связанные с возвращением Ибрагима из Франции. На немногих страницах дал широкую панораму петровской эпохи. После праздной и легкомысленной Франции «Россия представлялась Ибрагиму огромною мастерскою, где движутся одни машины, где каждый

работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом».

Много места в этих первых главах уделено изображению противоречий между устойчивым традиционным укладом и новыми порядками, вводимыми Петром. Выразительная и комичная картина петровской ассамблеи показывала, с каким трудом бояре и дворяне усваивали чуждые им обычаи. Петр создавал вокруг себя новую интеллигенцию, готовую честно и активно работать, лишённую холопских замашек – и одним из этого круга, по Пушкину, был арап Ибрагим. Но среди тех, кого посылали во Францию учиться, немало было и таких, кто увлекался внешним лоском светского Парижа и возвращался домой, научившись лишь подражать моде, – таков в романе Корсаков. По страницам книги Пушкин проводит Ибрагима и Корсакова рядом, подчеркивая контраст их обликов и характеров. От петровских реформ, утверждал он, берет начало не только просвещенное дворянство, выдвинувшее из своей среды активных деятелей, вплоть до декабристов, но и полупросвещенная аристократия, к которой относится граф Нулин.

В нескольких эпизодах действует Петр, и его изображение совершенно лишено ореола божественности, которым он всегда был окружен в классицистских «петриадах». Впервые Петр появляется на страницах романа, когда он встречает Ибрагима, возвращающегося из Парижа: «Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим?» – закричал он, вставая с лавки». Взамен ходульного исторического пафоса Пушкин рисует Петра в высшей степени просто, «домашним образом», и эта простота лишь подчеркивала в его герое величие. Избранные Пушкиным в качестве

эпиграфа строки Н. Языкова «Железной волею Петра преобразованная Россия» утверждали его мысль о необходимости преобразований «сверху». Образ Ибрагима, «не раба, а наперсника» Петра, рисовался поэту, как пример той роли смелого и откровенного советника царя, о которой он помышлял для себя в эти годы.

«Арап Петра Великого» остался незаконченным. При жизни Пушкина из него было опубликовано два отрывка. Белинский сожалел: «Будь этот роман кончен так же хорошо, как начат, мы имели бы превосходный исторический русский роман, изображающий нравы величайшей эпохи».

С «Арапа Петра Великого» начинается история классической русской прозы.

IX

О «Полтаве» Пушкин говорил: «Это сочинение оригинальное, а мы из того и бьемся». Оригинальность поэмы в постепенном расширении рамок сюжета: она начинается как лирико-драматическое произведение, а заканчивается как героико-патетическое. Создавая первую свою историческую поэму, Пушкин стремился в ней объединить изображение подлинных характеров и обычаев петровской эпохи с поэтическим описанием одного из выдающихся событий этой эпохи – Полтавской битвы.

В начале «Полтавы» история трагической любви юной Марии Кочубей: она полюбила недостойного, подлого человека – друга своего отца, старика-гетмана Мазепу. Соблазнив Марию, Мазепа добивается казни Кочубея.

В основе этой истории подлинное происшествие, мельком упомянутое в поэме Рылеева «Войнаровский». В «Войнаровском», однако, вопреки правде истории, Мазепа был изображен как «прямой гражданин», поборник «свободы родины своей»,

а его мятеж против Петра расценивался как «борьба свободы с самовластьем». Пушкин в соответствии с историческими фактами рисует Мазепу иначе: «Какой отвратительный предмет! ни одного доброго благосклонного чувства! Ни одной утешительной черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость».

В «Полтаве» дана глубокая психологическая разработка характера. Мазепа не штампованный мелодраматический злодей, он знает и угрызения совести, и глубокую печаль, и томительную тоску. В одной из сцен Мазепа не в силах смотреть на спящую Марию, которая наутро должна узнать о казни отца. Он выходит из дома. Перед ним безмятежная украинская ночь.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Прозрачных тополей листы.

Но под воздействием всего, что происходит в душе Мазепы, пейзаж преображается. Звезды «как обвинительные очи за ним насмешливо глядят», тополи «как судьбы шепчут меж собою». Это едва ли не самое сильное описание мук нечистой совести в русской поэзии.

Расширение рамок сюжета в «Полтаве» связано с психологически достоверным мотивом двойного злодейства Мазепы. Злодей в любви, он становится злодеем в политической жизни: Мазепа предает Петра и своих соотечественников, он вступает в преступный сговор со шведским королем, вынашивает подлый план расчленения русского государства. Осуществится ли этот план или, напротив, Россия утвердит себя как великая независимая страна – решалось во время Полтавской битвы.

Изображение грандиозной победы русских войск над шведами – кульминация поэмы. «Полтавская битва, – подчеркивал Пушкин в предисловии, – есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское владычество на юге; обеспечила новые заведения на севере и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем». В сцене Полтавской битвы появляется Петр – национальный герой, олицетворение «молодой» России. Его сила, стремительность, энергия переданы Пушкиным короткими динамичными фразами:

...Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.

Карл XII, король Швеции, который вел несправедливую, захватническую войну далеко от своих границ, дан, по контрасту с Петром, в развернутом многословном описании, создающем настроение медлительности, неуверенности:

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.

Историческое значение дела Петра, осуществленного им под Полтавой, подчеркивается приравнением его к труду пахаря, возделывающего землю.

Приведем пронизательный отзыв о «Полтаве» современно-го Пушкину критика Ксенофонта Полевого: «Пушкин оживил в «Полтаве» событие из русской истории. Доселе подобные события представлены были в поэзии нашей совершенно романтическим образом, то есть затемненные восклицаниями, увеличениями, небывалым геройством, поддельными характерами. Этого нет в «Полтаве»... Что же составляет поэзию сей поэмы? Это невидимая сила духа русского, которою поэт оживил каждое положение, каждую речь действующих лиц. Одним словом, это совершенно новый род поэзии, извлекаемый из русского взгляда поэта на предметы».

ГЛАВА VI. БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ (1830)

I

Для устройства дел в связи с предстоящей женитьбой на Наталии Гончаровой Пушкин в сентябре 1830 г. отправился в отцовское имение Болдино под Нижним Новгородом. Карантин, связанный с эпидемией холеры, обрек Пушкина на трехмесячное вынужденное одиночество.

Болдинские месяцы были золотыми в творческой биографии поэта. За короткий срок Пушкин написал около тридцати стихотворений, поэму «Домик в Коломне», «Сказку о попе и о работнике его Балде», последние главы «Евгения Онегина», цикл «Повести Белкина» и примыкающую к нему «Историю села Горюхина», четыре «Маленькие трагедии», ряд критических заметок. Он работал почти одновременно в самых разных жанрах. Его героями были испанские рыцари, турецкие янычары, лондонцы, застигнутые чумой. Он рисовал петербургский «свет» и коломенское захолустье.

Осень – любимое время Пушкина, пора подъема его душевных сил. «Очей очарование», – так он однажды звучно сказал об осени. Болдинская осень 1830 г. стала для него горным перевалом, порой подведения итогов, определением новых рубежей. В главе «Онегина», посвященной путешествиям героя, Пушкин так наметил свой путь к простоте в поэзии:

Иные нужны мне картины:
Люблю печальный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи...

II

В небольших стихотворениях, в несколько строк или в несколько десятков строк, вмещались у Пушкина и картины действительности, и оценки актуальных событий, и «вечные» вопросы, и исповедь. У зрелого Пушкина нет, как правило, описания чувств, есть раскрытие движения чувства. Каждый образ, каждое стихотворение многопланово.

В «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...») поэт вспоминает о пережитом, задумывается над будущим – и не строит себе иллюзий:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но следующие строки «Элегии» – утверждение торжества жизни. В черновике сначала значилось: «Я жить хочу, чтоб мыслить и мечтать», но затем вместо слова «мечтать» было вписано другое, которое придало строке ее выразительность: «страдать».

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

«Мыслить» для Пушкина значило трезво смотреть на вещи, стало быть, непременно страдать. Но не только страдать – постигать гармонию, радость творчества, счастье любви. «Элегия» печальна, но светла.

В стихотворении «Румяный критик мой» насмешливое обращение к толстопузому критику-оптимисту сменяется суровой картиной убогого деревенского быта. В отличие от ранней его «Деревни», здесь нет патетики, но картина крестьянского горя глубоко прочувствована, предвосхищает Некрасова. Грусть и сарказм сливаются воедино.

«Бесы» – прежде всего точная и выразительная зарисовка метели, в которой кружит заблудившийся путник. Переложенная на язык прозы, она будет повторена Пушкиным в «Капитанской дочке». Но в «Бесах» и раздумье о современной России

Сбились мы. Что делать нам!

и даже о собственной судьбе, и скрытые реминисценции из «Ада» Данте.

М. Цветаева в книге «Мой Пушкин» так передает свое читательское ощущение «Бесов»: «Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луною, ез-

доком, шарахающимся конем, и – о, сладкое обмирание – ими! Ибо нет читателя, который одновременно не сидел бы в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом ты – летишь».

В этих выразительной лепки словах поэтессы стихотворение названо состоянием. И впрямь, стихия пушкинского слова в «Бесах» такова, что слово и обволакивает, и проникает в душу, становится собственным состоянием читателя.

Вновь в болдинской лирике проявляется уникальный дар Пушкина перевоплощаться в людей разного века, разной национальности.

Как еще одно воспоминание о Данте: звучат его мерные терцины «В начале жизни школу помню я...» Под впечатлением от перевода «Илиады», выполненного Гнедичем, Пушкин обращается к гекзаметру в стихотворениях «Труд», «Царскосельская статуя», «Отрок».

Последнее из них особенно характерно. В «Отроке» речь идет о русском гении Ломоносове. Ломоносов – сын рыбака, ставший «помощником царям» – сродни великанам Гомера, и в стихотворении, ему посвященном, эстетически оправданы гомеровские гекзаметры с их простотой и торжественностью. Пушкин пишет в Болдине «испанские», «английские», «турецкие» стихи – но во всех случаях остается национальным русским поэтом.

Он продолжает дальнейшую разработку русских фольклорных мотивов, начатую им в Михайловском. В Болдине создана первая из цикла «Сказок», относящегося к 1830-м гг., «Сказка о попе и о работнике его Балде». Поп – исконный объект народной сатиры, однако у Пушкина образ повернут неожиданной стороной: проповедник нравственности и самоотречения изображен как наглый эксплуататор. Мужичок, хоть и назван

Балдой, на деле оказывается умным и сметливым. Сказка звучит гимном народной мощи: чтобы покончить со злодеем-эксплуататором, достаточно лишь «трех щелчков» мужичка. Написанная народным стихом, раешником, сказка была предназначена для самой широкой аудитории. Но напечатать в ту пору сатиру на священнослужителя оказалось невозможным. Полный текст «Сказки о попе и о работнике его Балде» был опубликован лишь через 50 лет после смерти Пушкина.

Характер поэтической декларации имело последнее написанное Пушкиным в Болдине стихотворение «Моя родословная». Здесь дано издевательское изображение «новой» аристократической знати, поэт гордится своей непричастностью к ней:

Не торговал мой дед блинами,
 Не ваксил царских сапогов,
 Не пел с придворными дьячками,
 В князья не прыгал из хохлов.

Каждому тогдашнему читателю было ясно, что поэт имеет в виду придворную карьеру графов Кутайсовых и Разумовских, князей Меньшиковых и Безбородко. Главным в стихотворении является рефрен «я мещанин», который повторяется в конце каждой строфы. Слово «мещанин» употреблено здесь не в распространенном сегодня смысле «обыватель». Пушкин имеет в виду мещанство как социальный разряд – городские низы, зарабатывающие себе на жизнь трудом. Объявляя себя мещанином, Пушкин утверждает свое достоинство и независимость, общественный смысл дела своей жизни:

Я грамотей и стихотворец,
 Я Пушкин просто, не Мусин,
 Я не богач, не царедворец,
 Я сам большой: я мещанин.

Вполне справедливо Горький так расценивал эти строки: «Здесь звучит нечто новое по тем временам – именно: звучит уверенность человека в его праве «чтить самого себя» не только по заслугам предков, но за свои личные заслуги перед обществом».

Жизнь городских низов подсказала Пушкину тему для болдинской шуточной поэмы «Домик в Коломне». Как и в «Графе Нулине», в этой поэме сюжет анекдотичен: он связан с разоблачением незадачливого любовника, который, чтобы быть ближе к своей Параше, переделался женщиной и нанялся к Парашинной матери кухаркой. Старая вдова застаёт неожиданную картину:

Пред зеркалом Параша чинно сядя,
 Кухарка брилась...

Пушкин использует комическое несоответствие между «низким» предметом стихотворной повести и «высокой» формой октавы. Он добродушно иронизирует над героями, большое место уделяет бытовым зарисовкам. Сюжет, собственно, и не так важен: гораздо важнее, что Пушкин вновь смело вводит в поэму бытовой жизненный материал, доказывает, что «самый ничтожный предмет может быть избран стихотворцем (дело в том, как он его обработает)». По сравнению с «Нулиным», социальная обстановка в новой поэме демократичнее: действие происходит на бедной окраине.

Висмеивая тех, кто ищет в поэзии назидания, Пушкин закончил «Домик» пародийным нравоучением:

Вот вам мораль: по мнению моему,
 Кухарку даром нанимать опасно...

«Домик в Коломне» вызвал множество подражаний. Среди них поэмы «Сашка» и «Сказка для детей» Лермонтова, «Пара-

ша» Тургенева. Стилль «Домика в Коломне» оказал влияние на молодого Гоголя.

III

С «Домиком в Коломне» гармонируют созданные в то же время «Повести Белкина». Цикл состоит из пяти повестей, приписанных условному автору, простодушному провинциальному помещику Ивану Петровичу Белкину. Белкин, по Пушкину, записывал то, что слышал от разных людей – подлинные происшествия, эпизоды реальной жизни и сохранял своеобразие манеры речи каждого из них. За маской Белкина, однако, проглядывает лицо подлинного автора, Пушкина, чувствуется его ироничная, а порой грустная улыбка.

Первые две повести, «Выстрел» и «Метель», рисуют романтические увлечения дворянской молодежи. В «Выстреле» темой является дуэль, в «Метели» тайный брак. Герой «Выстрела» Сильвио умный несчастливеец, который истратил молодость в буйстве, в дуэлях. Целью его жизни стала месть знатному обидчику, графу. Все свои зрелые годы, до 35 лет, Сильвио отдал подготовке к мести. Но когда наконец он собирается в присутствии молодой жены графа совершить роковой выстрел, рука его в последний момент останаавливается. Почему? Быть может, он не решился оставить юную женщину вдовой? Или пожалел постаревшего своего врага? А возможно, с его глаз вдруг спала романтическая пелена и в нем проснулась человечность? Пушкин допускает разные ответы на этот вопрос. Но бескровная развязка показывает его стремление пробудить добрые чувства в читателе.

В «Выстреле» была изображена офицерская среда, а в «Метели» Пушкин с мягкой иронией нарисовал помещичью усадьбу. Здесь юная героиня, начитавшаяся романтических книг, ее возлюбленный, армейский прапорщик, клятвы вечной верности и

тайный побег из родительского дома. Но в ироничной этой картине есть и серьезная нота: в жизнь героев входит война с Наполеоном. Повествование на какой-то момент становится патетическим: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сладко билось русское сердце при слове “отчество!”» Сложные сюжетные перипетии, драматические ситуации в «Метели» и «Выстреле» заканчиваются земной, счастливой развязкой.

Наиболее значительны в цикле следующие две повести, «Гробовщик» и «Станционный смотритель». В них впервые в русской прозе реалистически изображен мир простого человека. В «Гробовщике» это мир ремесленников. Пушкин не идеализирует своего героя гробовщика, напротив, подчеркивает специфическую сторону его профессии: для него смерть людей источник дохода. Повести в целом свойственна юмористическая окраска. Загробный мир, воскресшие мертвецы – одна из излюбленных тем элегического романтизма. Вводя подобные мотивы в сюжет, Пушкин дает им в конце повести неожиданную реалистическую мотивировку: оказывается, загробные гости всего лишь снились герою.

В «Станционном смотрителе» окраска иная, трагическая. Здесь герой «маленький человек», мелкий чиновник, «сущий мученик четырнадцатого класса», не защищенный своим чином даже от побоев знатных проезжих. У станционного смотрителя Самсона Вырина проезжий гусар украл, увез дочь. Вырин, опасаясь, что она погибнет, отправляется в Петербург на розыски. Происходит нечто неожиданное. Когда-то гусар Минский, получив ответ, что нет лошадей, замахнулся на старика-смотрителя нагайкой. Теперь же он держится смиренно, просит у старика прощения, обещает жениться на его Дуне. В конце повести богатой барыней «в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами, и с кормилицей, и с черною москвой» Дуня приезжает на могилу отца.

В такой развязке много художественного такта. Если бы в повести Минский бросил Дуню, то получилась бы новая жалостная история о безнравственном соблазнителе и его жертве, вроде «Бедной Лизы» Карамзина. Но дав повести счастливую, казалось бы, развязку, Пушкин затронул более глубокий пласт жизненных явлений. Он пишет о трагизме социального неравенства. Станционный смотритель знает, что за Минским богатство и знатность, и поэтому разговаривает с похитителем своей дочери униженно. Дуня, войдя в этот мир привилегий, сразу же порывает все связи с отцом. «Зачем тебе она? – удивляется гусар. – Она отвыкла от прежнего своего состояния». В «Станционном смотрителе» «маленький» человек дан жертвой несправедливого миропорядка, и к этой повести восходят «Шинель» Гоголя, «Бедные люди» Достоевского.

Но Пушкин закончил свой цикл на мажорной ноте. Последняя, пятая повесть «Барышня-крестьянка», подобно «Метели», переносит читателя в дворянскую усадьбу. По сюжету эта повесть подобна водевилю с переодеванием. Но есть в ней своеобразная прелесть, состоящая в раскрытии русского характера. Барышня Лиза, переодевшись крестьянкой, обретает ту народную грацию, которая была скрыта в ней за модными туалетами и английскими манерами. Пушкин размышляет об облагораживающем влиянии «низов» на «верхи».

К циклу «Повестей Белкина» примыкает незавершенная и Пушкиным не публиковавшаяся «История села Горюхина». Ее мнимым сочинителем тоже выступает Белкин. История села, рассказанная нарочито простодушно, наивно, сведена Пушкиным к растущему разорению и притеснениям крестьян со стороны властей. Приводится, например, следующая запись из помещичьего календаря: «4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 – корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 – погода яс-

ная. 9 – дождь и снег. Тришка бит по погоде». Представление о полном содержании повести дает план, намечающий контуры дальнейших событий. План этот заканчивается знаменательным словом «бунт».

Цикл «Повести Белкина» представлял русское общество «в разрезе», рисовал различные социальные этажи. Пушкин доказывал, что в подлинной современной жизни может быть больше интересного для читателя, чем в любых романтических фантазиях. Своей важной задачей Пушкин считает достичь занимательности, остроты сюжета. Один из знакомых Пушкина, В.И. Миллер вспоминал, что на его вопрос: «Кто этот Белкин?» Пушкин ответил: «Кто бы он там ни был, а писать повести нужно вот этак: просто, коротко и ясно».

Витиеватый, напыщенный слог романтической прозы Пушкину с ранних лет казался смешным. Он в 1822 г. замечал: «Но что сказать о наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру – а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба – ах, как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее».

Приведем образец пушкинского диалога из «Повестей Белкина»:

- «– А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?
- Покойницы? Да разве она умерла?
- Эка дура. Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?
- Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще не прошел?

– Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца – воротился пьян, завалился в постелю да и спал до сего часа, как уж к обедне отблагостили.

– Ой ли! – сказал обрадованный гробовщик.

– Вестимо так, – отвечала работница.

– Ну, коли так, давай скорее чаю да позови дочерей».

(«Гробовщик»).

Здесь Пушкин для характеристики среды использует простонародные слова и выражения: «вестимо так», «завалился в постелю», «не с ума ли спятил». Он достигает такой живости интонации, которая позволяет зрительно представить себе мимику и движения говорящего. Взамен сколько-нибудь развернутого психологического анализа Пушкин раскрывает облик персонажей через их поступки и речи. Разгадка сна не названа автором (как у Жуковского в «Светлане»), а раскрыта в диалоге. Быстрота действия достигается и от того, что в повести почти нет статических элементов: описания коротки, количество деталей невелико. Но каждая деталь – сжатое выражение целого ряда подробностей. «Повести Белкина» можно назвать миниатюрами в прозе. При кратчайшем объеме они отличаются многослойной глубиной.

IV

В болдинскую осень 1830 г. Пушкин осуществил свой восходивший к 1826 г. замысел создать цикл коротких драматургических произведений из жизни разных эпох и народов с малым числом героев и углубленной разработкой их внутреннего мира. В «Борисе Годунове» главным было раскрытие «судьбы народной». В «Маленьких трагедиях» целью поэта стало исследование сильных человеческих страстей.

Первые две пьесы из четырех, составляющих цикл, изображают страсти, уродующие человека.

Сын с нетерпением ждет смерти отца, отец боится, ненавидит сына, вызванный отцом на поединок сын становится виновником его смерти. Таков сюжетный ход трагедии «Скупой рыцарь». Время действия – позднее Средневековье. Традиционный рыцарский уклад рушится, подрывается капиталистическими отношениями. Пушкин избирает героем парадоксально противоречивую, возможную только в эту эпоху фигуру – рыцаря, который в то же время олицетворение скупости. Одна из трех сцен целиком состоит из монолога главного героя Барона и происходит в подвале замка, куда он прячет свои сокровища. Здесь во глубине «верных подвалов» скупец, влачащий жалкое существование днем, чувствует себя по ночам владыкой:

Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастье, в ней честь моя и слава!
Я царствую!

Барон создает некую философскую концепцию, оправдывающую страсть к золоту. Он презирает людей, ему кажется, что золото – единственная реальная ценность на земле. Лишь одна мысль тяготит героя: когда он умрет, не пустит ли сын по ветру его состояние?

То самое «злато», которое призывал копить циничный буржуа-книгопродавец («Разговор книгопродавца с поэтом»), как показывает Пушкин, связано с муками людей, делает их несчастными. Об этом знает даже Барон:

Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп.

Мысль об «извращающей силе денег» не раз встречается в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Они подчеркивали, что крупные писатели-реалисты способны показывать в своем творчестве общественную жизнь с такой точностью и глубиной, что превосходят даже специалистов-ученых. Тема власти золота над человеком была подсказана Пушкину жизнью. Пушкин заканчивает своего «Скупого рыцаря» обобщающей репликой Герцога:

Ужасный век, ужасные сердца!

...«Моцарт и Сальери» – трагедия зависти. В ее основу Пушкин положил распространенный слух, будто венский композитор Сальери из зависти отравил Моцарта. Моцарт умер в 1791 г. тридцати пяти лет и перед смертью говорил, что его отравили. Сальери, который был несколько старше Моцарта и дожил до глубокой старости, в последние годы жизни страдал душевным расстройством и каялся, что убил Моцарта. Общие знакомые двух композиторов и многие историки музыки решительно отрицали возможность преступления, но спор вокруг этой темы продолжается и в наши дни.

Пушкин считал факт отравления Моцарта его другом Сальери установленным и психологически вероятным. Он писал: «В первое представление «Дон-Жуана», в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы – в бешенстве, снедаемый завистью... Завистник, который мог освистать «Дон-Жуана», мог отравить его творца».

Пушкинский Сальери, как и его Скупой рыцарь, – человек сильной воли, ума, дарования, и все это тоже направлено на

одну страсть. Свое мастерство Сальери выстрадал подвижническим трудом:

Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музы́ке, были
Постылы мне; упорно и надменно
От них отрекся я...

Но овладев ремеслом, Сальери так и не познал вдохновения. Влюбленный в музыку, он убил ее в себе, чтобы лучше постичь ее законы:

Перстам
Придал послушную сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию.

Ремесленнику-аскету Сальери казалось, будто художественная ценность произведения искусства зависит лишь от количества труда, вложенного в его создание. Он забыл о таланте! Живым отрицанием его мрачной философии явился беспечный, беззаботный Моцарт, который, как бы шутя, создает шедевры. Сальери негодует на судьбу, на бога за такую несправедливость:

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше.

По пронзительному замечанию Белинского, зависть Сальери обладает субъективной «справедливостью, парадоксальной в отношении к истине». Зависть толкает его на путь преступления.

Моцарт не знает о вероломном плане своего друга. Но каждое слово Моцарта Сальери воспринимает сквозь призму этого плана. То Моцарт вспоминает о черном человеке, который заказал ему Реквием, то вдруг ему на память приходят слухи, «что Бомарше кого-то отравил?»

Сальери верен себе. Он убежден, что «смешной» Бомарше был слишком мелок для преступления, ему кажется, что готовность пойти на преступление свидетельствует о величии духа. А Моцарт, напротив, доказывает, что Бомарше не мог быть преступником, так как он гений,

А гений и злодейство –
Две вещи несовместные.

Того не подозревая, Моцарт наносит страшное оскорбление собеседнику. Если гений и злодейство несовместны, стало быть он, Сальери, не гений! Гневную, ироническую реплику он сопровождает роковым поступком: «Ты думаешь? (Бросает яд в стакан Моцарта.) Ну, пей же!»

Читатели почувствовали за, казалось бы, совершенно не несущим социальной нагрузки сюжетом актуальную мысль и глубокое выражение личности художника. «Страшные последствия человеческой речи в России по необходимости придают ей особенную силу, – писал Герцен. – Когда Пушкин начинает одно из лучших своих творений этими страшными словами:

Все говорят: нет правды на земле,
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма, –

не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы сквозь это видимое спокойствие разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию?»

V

В двух других маленьких трагедиях Пушкина, «Каменный гость» и «Пир во время чумы», заимствованные литературные образы получают оригинальную трактовку, акцент сделан на чувствах, возвышающих человека, герои вызывают авторскую симпатию.

В «Каменном госте» разрабатывается характер человека, сделавшего любовную страсть содержанием своей жизни. Образ Дон Гуана у Пушкина не похож на его предшественников в мировой литературе. Дон Жуан Мольера – однолинейная сатирическая фигура. Дон Жуан Гофмана – романтический герой. Дон Гуан Пушкина – многогранный сложный человек эпохи Возрождения. Снова, как в «Скупом рыцаре», Пушкин подчеркивает связь характера героя с эпохой. Его Дон Гуан смел и лишен предрассудков, бросает вызов самой судьбе. Вместо нелепого традиционного приглашения статуи на ужин, он обращается к статуе убитого им Командора как счастливый соперник:

Я, Командор, прошу тебя прийти
К твоей вдове, где завтра буду я,
И стать на стороже в дверях. Что? будешь?

Прежние Дон Жуаны относились ко всем женщинам одинаково. У Дон Гуана Пушкина находятся свои слова для каждой – для бедной Инезы, для веселой Лауры, для единственной настоящей своей любви Доны Анны. Дон Гуан мечтает переродиться. Но его соединение с Доной Анной не может осуществиться. Является приглашенная им статуя – неумолимая, непреклонная судьба – и он гибнет. Перечеркнуть, уничтожить прошлое нельзя, рано или поздно приходит возмездие.

Связана с темой «человек перед лицом смерти» и трагедия «Пир во время чумы». Пушкин воспользовался материалом драматической поэмы английского романтика Дж. Вильсона «Чумной город», где изображалась лондонская эпидемия чумы 1666 г. Интерес Пушкина к этой теме был связан с личными переживаниями: он стремился прорваться через холерный карантин в Москву к невесте. Пушкин перевел отрывок, добавил от себя две вставные песни, изменил несколько реплик – в результате получилось самостоятельное произведение, значительно превосходящее первоисточник.

Свой страх перед чумой, перед неизбежной гибелью пирующие хотят забыть за застольным весельем. Священник считает их пир «безбожным» и предлагает им религиозный путь преодоления страха – разойтись по домам, вверив свою судьбу богу. Еще один путь преодоления страха олицетворяет председатель пира Вальсингам, он выражает свои чувства в песне, целиком сочиненной Пушкиным. Вальсингам не хочет отворачиваться от опасности, опасность дает человеку проявить мужество:

Есть упоение в бою
И мрачной бездны на краю...

Эта его позиция подвергается в пьесе испытанию: священник, напоминая ему о недавно погибших матери и жене, расстраивает его душевные раны. Но Вальсингам не уходит за священником. По последней ремарке, тоже сочиненной Пушкиным, он «остается погружен в глубокую задумчивость».

Своеобразным дополнением к «Пиру во время чумы» является одновременно написанное Пушкиным стихотворение «Герой», где лучшей страницей жизни Наполеона назван эпизод, когда он пришел в солдатский чумный барак ободрить умирающих. Подобный, самый достойный путь преодоления личного страха не обсуждается в «Пире во время чумы», и это по-своему

знаменательно. Пушкин, не раз выступавший против плоского морализирования, нравочений в искусстве, предпочитает оставить героев пьесы на распутье.

Изображая ужасное в жизни человека, изображая смерть, Пушкин никогда не путает своего читателя. Напротив, ставя перед ним сложнейшие философские проблемы, поэт подсказывает гуманный путь размышлений. Трагедии проникнуты любовью к бытию. Коротким описанием ночи в «Каменном госте» Пушкин создает яркое, неизгладимое впечатление Испании, юга:

Приди – открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной...

Драматический конфликт во всех четырех маленьких трагедиях дан лишь в момент его разрешения. В момент взрыва чувств сразу же определяются характеры.

Не знающая себе равных сжатость, философская и психологическая глубина создали, однако, специфические трудности для воплощения маленьких трагедий на сцене. Эти пьесы не имели большой сценической истории, но оказали огромное воздействие на развитие реалистического метода, на углубление психологической разработки человеческого характера в русской литературе.

ГЛАВА VII . «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

I

С весны 1823 до осени 1831 г. Пушкин работал над крупнейшим своим произведением, романом «Евгений Онегин». В сен-

тябре 1830 г. в Болдине он составил план текста романа с обозначением, где и когда были написаны отдельные главы.

ОНЕГИН

Часть первая. Предисловие.

1. Хандра. Кишинев, Одесса.
2. Поэт. Одесса, 1824.
3. Барышня. Одесса, Михайловское, 1824.

Часть вторая

4. Деревня. Михайловское, 1825.
5. Именины. Михайловское, 1825, 1826.
6. Посидинок. Михайловское, 1826.

Часть третья

7. Москва. Михайловское, Петербург, Малинники, 1827, 1828
8. Странствие. Москва, Павловское. 1829, Болдино.
9. Большой, свет. Болдино.

Закончив 25 сентября 1830 г. девятую, последнюю главу, Пушкин написал стихотворение «Труд», начинавшееся выразительными строками:

Миг вождеденный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Он попытался продолжать «Онегина», писать десятую главу, связанную с историей освободительного движения в России 1805–1825 гг., с темой восстания декабристов. Но даже хранить такую рукопись было опасно. В день лицейской годовщины, 19 октября 1830 г. Пушкин ее сжег, сохранив, однако, материал или его часть в зашифрованном виде. Один листок был расшифрован в начале XX века.

Летом 1831 г. Пушкин принял решение исключить из романа восьмую главу, посвященную путешествию Онегина. Несколько строф, объясняющих его трехлетнее отсутствие, были перенесены в следующую, девятую главу, которая теперь стала восьмой, кроме того, были дописаны несколько строф. 5 октября того же года художник нанес на свое полотно окончательный штрих: было написано письмо Онегина Татьяне, и этим, наконец, восьмилетняя работа над романом завершилась.

I

Еще в период южной ссылки Пушкин ощутил непреодолимые трудности в создании в романтической поэме сложного характера современника. Во время работы над «Кавказским пленником» он признавал: «Характер главного лица... приличен более роману, нежели поэме».

Романтические поэмы наметили возможность изображения человеческих чувств, но только роман мог дать всестороннее изображение характера в его внутренних противоречиях, в связях со средой. Знаменательно еще одно соображение Пушкина, относящееся к самому началу работы над «Онегиным»: «Я пишу теперь не роман, а роман в стихах – дьявольская разница!» И в самом деле, стихотворная форма придала роману особые черты: действие включило в себя лирическое одушевление автора, стихотворная форма окрасила повествование элегической музыкальностью.

Для романа в стихах Пушкин изобрел особую строфу, которую назвали «онегинской». Она состоит из четырнадцати строк четырехстопного ямба. Каждая строфа построена так: первое четверостишие написано с перекрестными рифмами, второе со смежными и третье с опоясывающими, замыкает строфу двестише мужского окончания (Аб Аб ВВгг ДееД жж). Этой сложной формой Пушкин пользуется с величайшим искусством, она

дает ему возможность незаметно переходить от темы к теме, от описания к диалогу. Заключительное двустопное нередко афористически заканчивает строфу, например:

Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.

Или:

Но полно, полно; перестань.
Ты заплатил безумству дань.

«Онегинская» строфа не соблюдается лишь в письмах Татьяны и Онегина и в песне девушек в конце третьей главы.

Специфический характер придает «Евгению Онегину» и постоянное участие в действии самого автора: Пушкин встречается с Онегиным в Петербурге и Одессе, хранит письмо Татьяны, прерывая повествование о судьбе героев, рассказывает о собственной судьбе, вводит в текст лирические отступления.

«Евгений Онегин» был первым русским романом, охватившим эпоху в общественном развитии. Пушкин и сам подводил читателя к выводу о его жанровом новаторстве. В седьмой главе он писал о современных романах,

В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом.
Кипящим в действии пустом.

Здесь сформулирован принцип критического авторского подхода к персонажам и дано понимание современного человека. Раскрывая жизнь его ума и чувств, романист должен отобразить наиболее характерное для века. Герой более важен, чем сюжет, и роман может быть оборван на любой точке действия, как только характер героя выявлен.

Сюжет «Евгения Онегина» прост: Татьяна полюбила Онегина сразу, а он ее полюбил лишь пройдя через долгий путь разочарований. Но герои не могут соединить свои судьбы, над ними, как над Дон Гуаном из «Каменного гостя», довлеет прошлое. Сюжет вписан в четкие композиционные рамки: сначала письмо-признание Татьяны в любви и отказ Онегина, в конце письмо-признание Онегина в любви и отказ Татьяны. Между этими двумя вехами вмещается множество других событий, главные из которых убийство Онегиным на дуэли Ленского и замужество Татьяны. Под пером гения простой по сюжету роман становится «энциклопедией русской жизни», – так охарактеризовал «Евгения Онегина» Белинский.

III

Характер Онегина восходит к Пленнику и Алеко. Образ русского «молодого человека XIX века», вольнолюбивого, тоскующего, разочарованного, Пушкин намечал в романтических поэмах. Но Онегин – полнокровный реалистический тип, обычный человек, не исключительная личность.

Необычно уже начало романа – вместо экспозиции внутренний монолог главного героя на прозаические житейские темы: герой едет к умирающему дяде, который оставил ему наследство. Онегин откровенно рассуждает о предстоящих хлопотах, о том, что он будет

Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?

Далее в коротком отступлении дается предыстория героя: описание его детства («долгами жил его отец, давал три бала ежегодно и промотался наконец») и воспитания («сперва Madam за ним ходила, потом Monsieur ее сменил»). В результате

Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

В том же ироническом тоне Пушкин набрасывает хронику дня светской жизни Онегина: утром чтение записок с приглашениями, потом прогулка по бульвару, обед в ресторане, вечером посещение балета, а после балета Онегин отправляется на бал. Домой он вернется лишь на заре. Пушкин иронизирует над стремлением своего героя во всем подражать то английской, то французской моде.

Но умом и внутренней культурой Онегин выделяется из окружения. Поэт размышляет:

Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм.

В то же время, постоянно упоминая в тексте романа имена передовых людей эпохи – мыслителя Чаадаева, декабриста Каверина, поэт проводит своего героя в отдалении от них. Этим намечаются пределы свободомыслию героя, которое, несомнен-

но, уже свободомыслия грибоедовского Чацкого: для Онегина путь борьбы за справедливость закрыт.

Многостороннее изображение характера и показ его внутренних противоречий в первой главе «Евгения Онегина» совмещены с многогранным описанием столичного быта. И то и другое доказывало, что действительность, реальные люди имеют право быть воссозданными в искусстве. Чтобы оценить новаторство Пушкина, вспомним, что он приступил к работе над «Онегиным» в ту пору, когда писал свой «Бахчисарайский фонтан». «Онегиным» Пушкин смело направлял русскую литературу на сближение с жизнью.

В первой главе черты характера героя лишь декларированы. Онегин еще не показан в действии, во взаимоотношениях с другими персонажами. Глава заканчивается тем, что Онегин, получив, наконец, наследство от дяди, переезжает в деревню, становится помещиком. В деревне он скучает, как в Петербурге:

Хандра ждала его на страже
И бегала за ним она
Как тень иль верная жена.

Эта хандра – следствие невозможности приложить свои силы, отсутствия цели в жизни. Онегин открывает в русской литературе галерею «лишних людей» (термин введен в 1850 г. И.С. Тургеневым). «Лишние люди» – дворянские интеллигенты, ставшие чужими в своей среде, постигшие ее пороки, но не сделавшиеся борцами. «Умными ненужностями» назвал их Герцен.

Последующие главы дорисовывают образ Онегина. Автор показывает его в разной обстановке: в деревне, в путешествии по России, на светском приеме, он проведен через тяжкие нравственные испытания. Зерно характера, данное в начале романа, обогащается новыми подробностями.

Онегин не единственный представитель «молодежи XIX века» в романе. Своеобразное дополнение ему пылкий восторженный романтик Ленский. Обаятельный и неприспособленный к жизни, не знающий ее сложностей, Ленский обрисован во второй главе. Для Пушкина с этим образом до некоторой степени связано преодоление собственного романтического прошлого. Пушкин иронизирует:

Он пел раздуку и печаль,
И нечто и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осмнадцать лет.

Даже в серьезный момент жизни, в канун дуэли Ленский выражает свои чувства в условно-поэтических искусственных образах: «весны моей златые дни», «гробницы сойду в таинственную сень». Пушкин замечает, что эти стихи написаны «темно и вяло» – и этот упрек его относится ко всей поэзии элегического романтизма. Как одну из возможностей развития образа Ленского он намечал такую:

Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.

В черновом варианте Ленскому даже предсказывалась судьба повешенного Рылеева, давалась такая характеристика: «Крикун, мятежник и поэт». В окончательном тексте Ленский цели-

ком в рамках элегического романтизма, и вполне возможно, что его идеалы развеются при столкновении с суровой жизненной прозой, он сделается обывателем:

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился.
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат...

Обе эти возможности не осуществились. Фантазер, мечтатель Ленский погибает на дуэли.

IV

В романе два женских образа. Бегло дана «простодушная» Ольга Ларина, невеста Ленского. Она исчезает из романа сразу же после сцены дуэли: недолго горевав, она выходит замуж за офицера и уезжает с ним в полк.

Гораздо большее значение имеет образ сестры Ольги, Татьяны. Пушкин создает тип простой русской девушки, совершенно лишенной манерной жеманности, романтической позы.

До пушкинской Татьяны женщины в русской литературе изображались условно: коварными изменницами, жестокими красавицами. В «Онегине» раскрыта душа русской женщины – сила характера, верность долгу, глубокая женственность.

Снова Пушкин дает предысторию героини, рассказывает о ее воспитании. Татьяна, выросшая в деревне, глубоко связана с национальной почвой – с миром песен и сказок, слышанных еще в детстве от няни, с «преданиями простонародной стари-

ны». Свои представления о мире она черпала, главным образом, из книг, из романов

И Ричардсона и Руссо.

Потом – «пора пришла, она влюбилась». У нее достало смелости первой сделать важный шаг: она шлет своему избраннику признание. (Характерно, что письмо она пишет по-французски – русский эпистолярный стиль только еще складывался. Пушкин дает письмо в переводе.)

Избранник Татьяны Онегин не отвечает на ее чувство. На глазах у всех на именинах Татьяны он ухаживает за Ольгой, а еще через два дня Татьяна узнает о дуэли. Онегин уезжает из деревни.

Внимательный читатель найдет в этой истории излюбленные пушкинские литературные приемы: контрасты образов и сцен, геометрическую стройность композиции, множество литературных реминисценций. Вновь, как в «Годунове», Пушкин описывает пророческий сон. По-своему закономерен, что сон Татьяны восходит к поэзии Жуковского: Пушкин характеризует героев через круг чтения.

V

Изменялась ситуация в стране, изменялся сам Пушкин. Заканчивая шестую главу в августе 1826 г., Пушкин элегически прощается с молодостью. Наступала зрелость. Поэт нашел в себе нравственные силы несмотря ни на что выстоять, не смириться в «мертвящем упоенье света». Поэт, посвятивший немало сатирических строк роману сановному Петербургу, в седьмой главе находит взволнованные слова для Москвы – символа народной мощи и величия России. Он вспоминает с гордостью, как Москва не пошла к Наполеону с повинной головою». Древний город пробуждает лирические чувства в поэте:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Менялось и отношение поэта к героям. В седьмой главе Онегина нет. Главным здесь стал эпизод посещения Татьяной опустевшего дома Онегина. Она рассматривает книги с его отметками на полях. В этих книгах Байрона и других современных авторов она вдумчиво видит как бы прототипы своего Онегина.

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес.
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

Впервые в русской литературе героиня не только становится ровней по кругозору с героем, она берет себе право его судить. Однако познание приносит горечь, мать спешит выдать Татьяну замуж, а для нее теперь «все были жребии равны» – мечты о счастье разрушены.

Между тем, неверно было бы полагать, что конечная оценка автором или Татьяной Онегина сводится к тому, что он «пародия». Когда в последней, восьмой главе, действие которой происходит тремя годами позднее, Онегин появляется вновь,

Пушкин с уважением пишет о его разочарованности и хандре, о том, что он чувствует себя лишним в столичном свете, что ему только и осталось

...вслед за шумною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

Оценка онегинской хандры изменилась, поскольку изменилась и ее суть в свете событий 14 декабря 1825 г.

В восьмой главе происходит последняя встреча двух героев. Татьяна замужем за генералом, она теперь княгиня, «законодательница зал».

Как изменилася Татьяна!

Изменился и Онегин, прошедший сквозь многотрудные нравственные испытания. Теперь он «как дитя» влюблен в Татьяну. Он ищет в ней родственную душу, но поздно:

Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Татьяна – героиня долга. Ее ответ в русле народных представлений о нравственности, о чести. Ей чужда «постылой жизни мишура», «ветошь маскарада», с тоской вспоминает она ушедшую молодость, плачет.

А счастье было так возможно,
Так близко!..

Есть закономерность в печальной развязке судеб всех трех главных героев – она характеризует эпоху.

VI

Белинский задавался вопросом: «Что случилось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию?» По некоторым данным, поэт рассказывал, что Онегин «должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов».

Материалы десятой, сожженной Пушкиным главы, дошедшие до нас в виде обрывочных фрагментов, рисуют развитие освободительных идей в России под влиянием войны 1812 г., описывают деятельность декабристских, тайных обществ. Но имя Онегина в этих фрагментах не упоминается.

Печатный текст романа заканчивают «Отрывки из путешествия Онегина». По свидетельству П. Катенина, Пушкин изъясил из них «замечания, суждения, выражения», касающиеся аракевских военных поселений, и, очевидно, подобно десятой главе, уничтожил. Можно предположить, что образ Онегина в уничтоженных материалах обогатился бы новыми красками, в нем появились бы черты общественного деятеля.

Но мы обязаны рассматривать как единое целое тот окончательный текст романа, который впервые был издан Пушкиным в 1833 г. Этот текст ответов на вопросы Белинского не дает. Многие произведения позднего Пушкина, кроме «Евгения Онегина», – «История села Горюхина», «Дубровский», «Сцены из рыцарских времен» – как бы обрываются на полуслове. Пуш-

кин художнически точен: развязку нарисованным им конфликтам еще не подсказала история.

Пушкина, однако, влечет мысль расширить границы повествования. В «Отрывках из путешествия» Онегин впервые дан не в частной жизни, а лицом к лицу с Россией. Он посещает Нижний Новгород, Астрахань, ездит по Кавказу, по Крыму. Везде продолжает терзаться прежней мукой:

Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!

Но последние строки романа посвящены не Онегину, а самому поэту. Он рассказывает о месте своей ссылки, Одессе, а за реалистическими описаниями города, порта, театра виден мудрый, глубоко постигший жизнь человек:

И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна вошла.
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит;
Лишь море Черное шумит.
Итак, я жил тогда в Одессе...

* * *

«Евгений Онегин» стал в русской литературе открытием. Характеры, взятые из жизни, многогранные, развивающиеся; широта охвата действительности, изображение провинциального помещичьего быта, московского дворянства, высшего петербургского света; соединение лирики и публицистики, повествований и описаний, патетики и иронии – все это слилось в романе в единую многозвучную симфонию. «Энциклопедия русской жизни» имела явную антикрепостническую направленность. Эта направленность звучала в рассказе няни о печальной

истории ее замужества, в многочисленных деталях крепостного быта, таких, как битье служанок в доме Лариных, принудительное пение девушек во время сбора ягод. Она звучала в критическом отношении автора к социальной обстановке действия.

Трудно переоценить влияние «Евгения Онегина» на последующее развитие русского романа. Персонажи Пушкина стали родоначальниками целых галерей мужских и женских образов в русской литературе XIX века. За 150 лет, прошедших с начала публикации «Евгения Онегина», ему была посвящена огромная критическая литература. Наиболее важными в ней были две статьи Белинского, восьмая и девятая, в его цикле «Сочинения Александра Пушкина».

ГЛАВА VIII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ (1831–1837)

I

18 февраля 1831 г. в Москве состоялась свадьба Пушкина. Вскоре молодые супруги переехали в Петербург. Брак не принес Пушкину счастья. Его жена была принята при дворе, искала светских развлечений. Такой образ жизни требовал больших расходов. Поэту приходилось поддерживать тесную связь с чуждым ему придворным кругом, не скрывавшим своего презрения к «сочинителю». Николай назначил его камер-юнкером (низший придворный чин, обычно дававшийся юношам), и Пушкин это воспринял как оскорбление.

В дневнике 1833–1835 гг. читаем резкие записи поэта о великосветском Петербурге. Например, по поводу балов в голодную зиму 1834 г.: «Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?» Одно из писем Пушкина к жене было вскрыто, затем представлено Николаю, а тот, несколько не стесняясь, выразил поэту свое неудовольствие по поводу его

содержания. Пушкин записал в дневник: «Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться и давать ход интриге...»

Кольцо вокруг поэта сжималось. Все труднее давалась ему литературная работа. Для нее были необходимы покой и уединение. Он мечтает подать в отставку, отказаться от придворной службы, но безуспешно. Сплетни и пересуды, клевета стали связываться с именем его жены: за нею нагло ухаживал Дантес, приемный сын голландского посланника в России Геккерна. Пушкин не мог стерпеть унижения, вызвал его на дуэль. Они стрелялись на Черной речке 27 января 1837 г. Пушкин был тяжело ранен и через два дня скончался.

II

В поэзии Пушкина 1830-х гг. любовная тема исчезает, а личная тема, тема поэта окрашена нередко в мрачные тона. В стихотворениях «Не дай мне бог сойти с ума» (1833), «Пора, мой друг, пора!» (1834) звучит тоска, мечта об уединении, о побеге от суетных забот

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Пушкин называет себя «усталым рабом», пишет, как и в конце 1820-х гг., о своем разрыве с обществом, о том, что творчество обреченного на одиночество поэта – подвиг. Этой теме посвящены стихотворение «Эхо» (1831), незаконченная поэма «Езерский» (1833). В еще одном незавершенном произведении, повести с большими стихотворными вставками «Египетские ночи» (1835) один из героев, поэт, предлагает другому, импровизатору для импровизации такую тему: «Поэт сам избирает

предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением».

Пушкин рассматривает конфликт между поэтом и обществом как универсальный закон своей эпохи, справедливый не только для самодержавно-крепостнической России: поэт не строит никаких иллюзий и в отношении западного буржуазного либерализма.

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова,
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мня в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова¹.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...
(«Из Пиндемонти», 1836).

¹Hamlet. – Прим. А.С. Пушкина.

Осенью 1835 г. Пушкин побывал в прежнем месте своей ссылки, в Михайловском. Он написал там одно из самых душевных своих стихотворений – «Вновь я посетил...» В нем тот же размер, что в «Борисе Годунове» и в «Маленьких трагедиях» – безрифменный пятистопный ямб, удобный для разговорной интонации, для описаний. Пушкин замечал в 1834 г., что рифмы могут исчерпаться: «Со временем мы обратимся к белому стиху». Отказ от рифмы означал отказ от романского стиха в пользу смыслового – прозаическая структура фразы переходит в стих. Начинается стихотворение на печальной ноте – поэт вспоминает «два года незаметных», которые он «изгнанником» провел в Михайловском, вспоминает умершую няню Арину Родионовну. Центральная часть, самая обширная, рисует пейзаж: перед соснами, которые помнил Пушкин по ссылке 1824–1826 гг., выросла молодая поросль. Пейзаж подводит поэта к мысли о вечной смене материи, о том, что жизнь прекрасна в любом своем проявлении, о том, что его будут помнить:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит.

В 1830-е гг. Пушкин продолжает создавать превосходную пейзажную лирику. Великолепна его «Туча» (1835), «Осень»

(1833) – стихотворение о русской природе, о деревенском единении, о творческом процессе. Здесь описания живописны, поэтическая речь свободна и непринужденна. Пушкин отказывается от всякой поэтической условности во имя точности изображения, реалистической конкретности образов. Метафоры, сравнения в его поздней лирике – не декоративные узоры слов, а связь между конкретной картиной и обобщающей мыслью.

В поэзии Пушкина 1830-х гг. звучат и эпические мотивы. В 1831 г. после польского восстания создавалась опасность нового нападения Франции на Россию. Пушкин выступил со стихотворениями «Перед гробницею святой» и «Бородинская годовщина», в которых напоминал тем, кто «анафемой грозит России» о 1812 годе, о славе русского оружия, о гении Кутузова, о том, что Россия всегда готова к отпору иноземным захватчикам:

И что ж? свой бедственный побег
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь –
Хмельна для них славян кровь;
Но тяжело будет им похмелье;
Но долгоден будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье
Под знаменем северных полей!
(«Бородинская годовщина»).

С темой войны 1812 г. связано и стихотворение «Полководец» (1835), где Пушкин рисует образ Барклая де Толли, военачальника русской армии, предшественника Кутузова на посту главнокомандующего. Твердость Барклая, принявшего непопулярное, но единственно разумное решение об отступлении

армий вглубь страны на первом этапе войны, была близка Пушкину:

Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой.

Во всех стихах Пушкина о 1812 г. звучит мотив народного, освободительного характера Отечественной войны, они противостоят официальной тогдашней историографии, утверждавшей, будто война была выиграна самодержавием.

В поздней поэзии Пушкина целый ряд произведений вновь связан с темой народной жизни. В «Песнях западных славян» поэт подчеркивает черты общности славянских народов. Первоисточниками «Песен» были сборник сербских народных песен, составленный Вуком Караджичем (чтобы его прочесть, Пушкин изучал сербский язык), сборник стилизаций Проспера Мериме «Гузла», а три стихотворения, из них два, посвященных сербским героям новейшего времени, Пушкин написал сам. Этот цикл настолько связан с русской фольклорной традицией, что Белинский включил его в ряд произведений Пушкина, образующих «отдельный мир русско-народной поэзии в художественной форме».

Вслед за «Сказкой о попе и о работнике его Балде», написанной в болдинскую осень 1830 г., в 1831–1834 гг. Пушкин создает новые сказки: в соревновании с Жуковским, автором сказок о спящей царевне и царе Берендее, он пишет «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» и «Сказку о царе Салтане». Эти сказки перекликаются с народными песнями, в них присущий Пушкину «русский дух». В двух других сказках, «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Сказке о золотом петушке», интонация сатирическая: лукаво-ироничен подход автора к дворянам, к царям. Сонное царство Дадона в «Сказке о золотом петушке» – символ

косности, когда владыка царствует, «лежа на боку». Не случайно, некоторые стихи из «Золотого петушка» были выкинуты цензурой. Сказки Пушкина входят в круг любимого чтения русских людей, и не только в детстве. Они преодолевают пропасть между литературой и фольклором, существовавшую до Пушкина.

III

В октябре 1833 г. Пушкин написал самую сложную и самую совершенную из своих поэм – «петербургскую повесть» «Медный всадник». В ней слились воедино героический рассказ о Петре – преобразователе России, философское раздумье о смысле самовластья, бытовое повествование о невзгодах мелкого современного чиновника, наконец, взволнованное описание его бунта. Такое сочетание разнородных художественных заданий потребовало от поэта необычного сочетания возвышенно-поэтических и сниженно-прозаических выразительных средств.

Поэма начинается изображением Петра в один из великих и вдохновенных моментов его жизни – когда он задумал построить «на берегу пустынных волн» Невы новую столицу. Этот замысел был, по Пушкину, частью общего плана Петра

В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.

Петербург, возникший «из тьмы лесов, из топи блат» – символ новой, преобразенной России. Создание Петербурга – такой же подвиг Петра, как победа под Полтавой.

Затем – рассказ о современном Пушкину Петербурге. В стихах звучит восхищение поэта великим городом:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,
Береговой ее гранит.

Однако уже во введении заявлено: «Печален будет мой рассказ».

В «Медном всаднике» всего один персонаж, это обедневший дворянин Евгений, «человек обыкновенный» из мелкого петербургского чиновничества, знающий в жизни только труд, лелеющий единственную мечту – о скромном счастье с любимой Парашей. Но счастья не суждено герою, Параша во время наводнения погибает. Самого Евгения наводнение застало на площади Петровой, где

В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Несчастье помutilo рассудок Евгения. Пушкин называет его «безумцем». О себе он писал однажды, что «не намерен безумно противоречить общепринятому порядку». «Безумец» Евгений поднимает бунт.

Год прошел после наводнения. Перед Евгением вдруг возникла та же роковая картина:

И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.
Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли.

Кульминация поэмы – прекрасные, сильные строки:

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
.....
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный!» –
Шепнул он, злобно задрожав, –
Ужо тебе!..»

В этой угрозе грядущая месть самодержавному строю за тысячи искалеченных судеб. Для Евгения Петр – олицетворение самовластья. Способность Евгения к бунту, его слова «Ужо тебе!» пробуждают в читателе уважение к герою. Но одинокий «безумец» не изменит хода вещей, и в символической картине, нарисованной Пушкиным, за бунтом следует возмездие: Евгению чудится, что «по потрясенной мостовой» за ним гонится Медный всадник.

Бунт окончился неудачей, Евгений смирился. Теперь, когда он проходил по Петровой площади, то

Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел стороной.

Бунтарь погибает, но Пушкин подчеркивает превосходство бунта над смирением, уравнивает «безумца» в момент бунта с грозным самодержцем. Поэт заставлял читателя задуматься о противоречиях «общего» и «личного», о жертвах, которых

требует история, и о праве «маленького человека» на счастье. Своей социальной заостренностью «петербургская повесть» Пушкина близка «Петербуржским повестям» Гоголя, начавшим печататься в ту пору.

Необычайно гибок и разнообразен стих Пушкина в «Медном всаднике», то архаизированный и торжественный, то разговорный. Строение образов почти музыкальное: темы дождя, ветра, Невы проходят лейтмотивами через всю поэму, некоторые слова и выражения повторяются в тексте с вариациями.

IV

К последним годам жизни Пушкина относятся две его незавершенные, но очень значительные пьесы. В драме в стихах «Русалка» (1832) сказочный сюжет: это история девушки из крестьянской среды, соблазненной и покинутой князем, она утопилась и стала после этого русалкой. Героиня – характер цельный и глубоко народный. Печальна не только ее участь. Ее отец мельник, который желал счастья для дочери, но стал виновником ее гибели, сходит с ума. Гибнет разлучница-княгиня. Предполагают, что пьеса должна была закончиться гибелью князя, увлеченного русалками на дно реки.

Сюжет «Русалки» прост и безыскусен. Но как в «Маленьких трагедиях», Пушкин здесь затрагивает самые сокровенные глубины человеческой души. Пьеса проникнута гуманизмом, уважением к простому человеку, народностью. Народна и форма «Русалки», в художестве ее ткани широко использованы народные песни, пословицы.

Историко-социальная драма «Сцены из рыцарских времен» (1835, название дано позднейшим издателем) посвящена волновавшей Пушкина теме ломки феодального уклада. Действие происходит в старой Германии, где народный поэт Франц становится во главе вассалов, восставших против рыцарей. Его

заклучают в тюрьму пожизненно, «пока стены замка... не разлетятся». Но в ненаписанном продолжении он должен был выйти на свободу: монах Бертольд в поисках философского камня случайно изобретает порох и взрывает замок. По плану Пушкина, пьеса заканчивалась изобретением книгопечатания, «своего рода артиллерии», знаменующей начало нового времени. Действующие лица типичны для переломной эпохи: наряду с тупыми рыцарями дан деловитый купец. Судьбы героев, вымышленных и взятых из истории, переплетались с судьбами научных изобретений и открытий. Последнему драматургическому замыслу Пушкина, впервые в его творчестве воплощавшемуся целиком в прозе, был свойствен исключительно широкий размах. «Сценам» дал высокую оценку Чернышевский, считавший, что они «должны быть в художественном отношении поставлены не ниже «Бориса Годунова», а, быть может, и выше».

«Русалка» и «Сцены из рыцарских времен» свидетельствуют о напряженных драматургических исканиях Пушкина, продолжавшихся до конца его жизни.

V

В 1830-е гг. Пушкин много пишет в прозе. Отказавшись от малых прозаических жанров, он ищет перехода к крупным полотнам, ставящим фундаментальные исторические и современные проблемы.

В 1830 г. появился роман М. Загоскина «Рославлев, или русские в 1812 г.», где проводилась мысль о «нашей непоколебимой верности к престолу, привязанности к вере предков» как условиях победы в войне. Роман был направлен против декабристской дворянской интеллигенции. Пушкин в 1831 г. начал писать свой роман «Рославлев», где говорил о русском народе как решающей силе событий. Он наметил образ истинной патриотки Полины, которая выступает за равноправие женщин,

задумывается о политике, у нее даже возникает мысль об убийстве Наполеона. Отмечая «необыкновенные качества ее души и мужественную возвышенность ума», Пушкин рисовал свою Полину как предшественницу жен декабристов, отправившихся за своими мужьями на каторгу. Роман не был закончен.

Пушкин разрабатывает тему народа не только на материале Отечественной войны. Его внимание привлекают и другие ситуации, в которых народ проявлял свою силу, в первую очередь массовые движения, бунты. В 1832–1833 гг. он пишет роман «Дубровский», где воссоздает ту сцену, перед которой остановился в «Истории села Горюхина», – сцену крестьянского бунта.

В романе тщательно описан помещико-дворянский быт. В конфликте сталкиваются две семьи – старые дворяне, благородные, но непрактичные и обнищавшие Дубровские и новые, из «ваксивших царские сапоги», Троекуровы. Образ Троекурова сатирически заострен, это злой самодур, у которого дворня живет хуже собак. К той же сатирической палитре Пушкин прибегает, рисуя «чернильное племя» продажных чиновников, с помощью которых Троекуров завладевает помещьем Дубровского. Молодой Владимир Дубровский выступает мстителем за отца. Пушкин делает его организатором крестьянского бунта.

Автор не идеализирует своих персонажей – крепостных, подчеркивает, что у многих социальное мышление неразвито, что они выступают за доброго барина, против злого. Но среди бунтующих крепостных выделена яркая фигура кузнеца Архипа – народного мстителя. Архип запирает своих врагов в подожженном доме, обрекает их на смерть. А потом с опасностью для жизни спасает из огня кошку. Пушкин подчеркивал этой сценой, что жестокость не в характере русского человека, но что русский человек непримирим к врагам.

Бунт перерастает в разбой на больших дорогах, мужики создают разбойничью шайку, наводящую ужас на всю губернию.

Дубровский во главе шайки. Но он, романтический бунтарь-дворянин, чужд мужикам, не может долгое время связывать свою судьбу с их судьбою, две сюжетные линии неминуемо должны разойтись.

Пушкин не закончил романа. В ту пору, когда он описывал бой между шайкой Дубровского и правительственными войсками, он набросал программу нового своего романа «Капитанская дочка», где тема крестьянского бунта выросла в тему крестьянской революции, где во главе восставших был не дворянин Дубровский, а казак Пугачев.

Вновь и вновь мысль Пушкина в 1830-е гг. связана с темой народного возмущения. Интерес поэта к этой теме свидетельствует, что его надежды на преобразования «сверху» теперь отброшены. Он размышляет о том, что в результате разложения крепостного строя может возникнуть революционная ситуация. Главной революционной силой стало бы крестьянство. Но важна и позиция дворянства, Пушкин хотел бы в нем увидеть культурную силу, разум восстания. Без нее, боялся он, восстание выльется в «бунт, бессмысленный и беспощадный». Эти слова вложены в уста Гринева, героя «Капитанской дочки», но отражают и позицию Пушкина. В «Дубровском» и в «Капитанской дочке» герои – дворяне-изгои, покидающие свой класс. Но Владимир Дубровский – вождь и бунтовщик, Петр Гринев – «невольный» изменник. Это уточнение возникло в ходе работы Пушкина над документальным трудом «История Пугачева» (1834), где он пришел к такому выводу относительно пугачевского восстания: «Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны».

Пушкин писал «Историю Пугачева» параллельно с «Капитанской дочкой». Чтобы воплотить свой исторический замысел,

он много работал в архивах, читал десятки книг историков, ездил на Волгу и на Урал, беседовал с очевидцами пугачевского восстания.

Отметим углубление интереса Пушкина к историческим материалам. В 1820-е гг., воссоздавая исторические сюжеты в «Борисе Годунове» и «Полтаве», он опирался в основном на историков-предшественников, хотя давал фактам свое истолкование. В 1830-е гг. его работа как художника над воссозданием прошлого начинается с глубокого изучения фактов и написания исторического труда.

VI

Как и «Евгений Онегин», исторический роман «Капитанская дочка» (1833–1836) потребовал многолетнего труда Пушкина. Небольшой по объему роман вместил целую историческую эпоху. Охват событий последней трети XVIII века широк – из среднерусской патриархальной дворянской усадьбы Гриневых действие переносится в отдаленную военную крепость, из крестьянской избы – штаба Пугачева во дворец императрицы Екатерины II. Широка и портретная галерея романа: здесь представители «старого» и «нового» дворянства, офицерства, крепостных, как покорных, так и бунтарей.

Обобщенные, типические образы исторически достоверны, несут в себе приметы эпохи. В отличие от Вальтер Скотта, вводившего в роман исторический материал внефабульно, Пушкин достигает органической связи между героями и историей. I

«Роман мой основан на предании, – писал Пушкин цензору, – будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги». Первые главы выдержаны в тоне семейной хроники XVIII века. Перед читателями проходят страницы детства симпатичного недо-

росля Петруши Гринева, с рождения записанного в гвардию и мечтающего о веселой жизни столичного офицера; разносторонен образ его отца, наделенного патриархальными понятиями, прямого и честного, но крутого и властного.

Характер Петра Гринева дается в развитии. Диалектика образа впервые заявлена в эпизоде, когда Гринев, следуя на военную службу, хочет во что бы то ни стало утвердить свою независимость и обижает старого слугу Савельича, но потом, почти сразу испытывает раскаяние, мирится с ним. Пушкин показывает Гринева в сложных ситуациях, однако всегда в конечном итоге в герое торжествует доброе начало: он, рискуя жизнью, бросится на выручку тому же Савельичу, захваченному пугачевцами, он благороден и чистосердечен в любви к капитанской дочке Маше Мироновой. Всегда он помнит отцовский наказ: «Береги честь смолоду».

Вместо веселой столицы Гринев оказывается в безвестной маленькой Белогорской крепости. Пушкин изображает скромный армейский быт, рисует солдатского сына капитана Миронова, бедняка, который стал дворянином благодаря офицерскому званию. Впервые в русской литературе Пушкин показывает нравственную самоотверженность «маленького человека», его способность к подвигу. Миронов, его жена, дочь превыше всего ставят долг. Маша Миронова сродни Татьяне, она «русская душой»: сильная в момент опасности, самоотверженная в любви, готовая добиваться справедливости у самой императрицы.

Есть в романе и безусловно отрицательный тип дворянина из столь враждебной Пушкину «новой» знати, это Швабрин. Образ «злодея», в соответствии с пушкинской эстетической концепцией, разработан многогранно, «злодею» дан ряд привлекательных черт. Но главное в нем эгоизм, отсутствие моральных устоев. Переход Швабрина на сторону Пугачева в романе диктуется исключительно корыстными мотивами.

Благородство, убежден Пушкин, не зависит от происхождения.

Он наделяет им Савельича, показывает в крепостном живого и чувствующего человека. Этот характер явился вызовом тем дворянским писателям, которые оправдывали крепостное право рассуждениями о низком моральном уровне крестьян. Пушкина поддержал видный писатель и философ В.Ф. Одоевский, который так отозвался о Савельиче: «Это лицо самое трагическое, то есть которого больше всего жаль в повести».

Еще больший вызов официальной традиции состоял в трактовке Пушкиным Пугачева. «История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самих разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какой адской злобой может преисполниться его сердце», – писал о Пугачеве один из современных Пушкину критиков. Пушкин же, напротив, подчеркивает в Пугачеве внутреннее благородство, широту натуры, чувство справедливости. В уста Гринева он вкладывает официальную трактовку Пугачева – изверг, душегуб. Но в ходе действия показывает его совсем иным – талантливым военачальником, умным человеком. Пугачев не забывает добра (история с заячьим тулупчиком), но к врагам он беспощаден. Пушкин далек и от романтической идеализации Пугачева. Отправляя экземпляр «Истории Пугачева» Денису Давыдову, он написал:

Вот мой Пугач – при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой!
В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

Из этих строк видно, что в научной работе Пушкин стремился к исторической достоверности образа. В романе он достигает и психологической его убедительности.

В первых главах, посвященных Белогорской крепости, отдельные разбросанные штрихи свидетельствуют, как нарастало народное недовольство. Особенно важна глава «Пугачевщина», в которой в ткань повествования введен рассказ о начале восстания и о приближении войска Пугачева. После подробного описания семьи Мироновых, чувства, вспыхнувшего между Гриневым и Машей, поединка его со Швабриным действие вдруг обретает эпически широкий размах, в частную жизнь героев входит История. Меняется и темп повествования: три предшествующие главы охватывали события примерно года, три последующие – события одних суток. Как связующее звено между разнородным материалом Пушкин вновь вводит пророческий сон героя. Мотивы этого сна, мужик, махающий топором, мертвые тела, кровавые лужи, – прообразы дальнейших событий.

Крестьянскую войну Пушкин рассматривает во многих ракурсах. Он описывает массовый характер движения, участие в нем представителей разных национальностей, поддержку, которую оно нашло у солдат, ненависть крестьян к помещикам, слабость дисциплины в рядах восставших, зверства правительственных войск по отношению к побежденным.

Острейшая тема, выбранная Пушкиным, предполагала особую бдительность цензоров. Но поэт умел обойти их препоны. Тема крестьянской революции, заявленная в его произведениях 1830-х гг., оказала влияние на развитие всей русской литературы XIX века и придала ей своеобразную окраску по сравнению с литературами Запада.

VII

Повесть «Пиковая дама» (1833) – единственное законченное произведение Пушкина из светской столичной жизни. Она построена на современном материале, но герои, каждый по-

своему, воплощают исторические силы, направляющие судьбы страны: старуха-графиня, символ уходящей старой знати, «уродливое и необходимое украшение бальной залы»; бедная воспитанница Лиза, привыкшая стойко превозмогать издевательства; хищный стяжатель Германн «с профилем Налалеона, а душой Мефистофеля».

Повесть о судьбе петербургского инженера обретает философский смысл: человек избирает себе жизненную цель, но эта цель подчиняет себе человека, формирует его характер. «Деньги – вот чего алкала его душа!» Ради того, чтобы разбогатеть, Германн готов погрязнуть в любви, пойти на убийство. Германн становится маньяком богатства, как Скупой рыцарь. Свою мечту о богатстве он считает романтически-возвышенной мечтой, самого себя рассматривает как романтика. В отношениях с Лизой он строго придерживается традиционного кодекса романтического героя. Однако присмотримся пристальнее. Возвышенные мечты об идеале, об общем благе, о справедливости – непреходящий атрибут романтика – чужды ему. Его жизненная цель низменна, проникнута эгоизмом. Герой на поверку оказывается антигероем.

Пружинной действия «Пиковой дамы» является семейная тайна, рассказ о секрете трех нарт. Неразгаданная до самого конца тайна придает действию напряженность. Пушкин размышляет о загадочных силах, определяющих человеческие судьбы. Фабула увлекательна, композиция стройна.

Пушкинскую повесть отличают стройность и строгость, отсутствие лирических отступлений. События развиваются в четкой логической связи, без перемещений во времени, намеренных умолчаний. Производит огромное впечатление троекратное повторение действия, каждый раз усиливающегося в напряженности. Когда Германн в первый раз подходит к игор-

ному столу, то это замечает только его друг Нарумов; однако после того, как Германн объявил непривычно крупную ставку и выиграл, «...между игроками поднялся шопот». Германн является второй раз, и ему тотчас уступают место. На третий вечер «...все его ожидали. Генералы и тайные советники остановили свой вист, чтобы видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна». Однако едва он проиграл, как сразу же перестал быть интересен для окружающих: «Игра пошла своим чередом». Бытовой реализм обстановки придает тройной сцене убедительность. Впервые в русской литературе Пушкин совмещает быт с фантастикой, и эта традиция оказалась плодотворной.

Судьба Германна трагична, он сходит с ума. Печальны финалы многих произведений поздней пушкинской прозы: не отомстив, утратив все, уходит Дубровский; перед казнью прощается с Гриневым Пугачев. Но хотя Пушкин знает меру трагического в жизни, он умеет видеть в людях прекрасное – великодушные, нравственную силу, цельность, отвагу в борьбе со злом. В его прозе, как в его поэзии, есть гармония, есть пафос жизненного утверждения, за страницей виден продленный призрак бытия.

VIII

В последние годы своей жизни Пушкин проявляет все больший интерес к журналистике, к организации общественного мнения. В 1830–1831 гг. в Петербурге под редакцией его друга А. Дельвига выходила «Литературная газета». Пушкин был ее душой. После того, как по распоряжению властей она была закрыта, Пушкин хотел взяться за издание политической газеты. Этот план осуществлен не был, но за год до смерти поэт начал издание журнала «Современник». К сотрудничеству были при-

влечены Гоголь, Тютчев, Кольцов, собирався привлечь Пушкин в журнал и писателей-разночинцев, в первую очередь Белинского. В 1834 г. он пронизательно заметил: «Наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на это, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия».

Публицистика Пушкина – отдельная блестящая страница его творчества. Он выступал как критик и как теоретик литературы. Его статьи невелики по объему, но отличаются глубиной мысли и афористической сжатостью формулировок. Выше мы приводили некоторые отрывки из его статей, посвященных литературе и театру. В них преобладает сдержанная интонация, но Пушкин был и гневным сатириком, мастером памфлета (он печатал памфлеты под псевдонимом Феофилакт Косичкин). Острие его сатиры было направлено против реакционной, верноподданной журналистики, в частности, против продажного писаки, жандармского агента Ф. Булгарина.

Огромную нравственную и эстетическую ценность имеет и эпистолярное наследие Пушкина. В его письмах порой обсуждаются животрепещущие важные политические и общественные вопросы. Ниже мы подробнее коснемся одного из важных идейных документов 1830-х гг., «Философического письма» П.Я. Чаадаева. Сейчас отметим, что Пушкин, прочитав его в журнале «Телескоп», счел необходимым откликнуться. В его письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. звучит волнение. Пушкин выступает как патриот и гражданин: «Я далек от того, чтобы восхищаться всем окружающим; как писатель я раздражен, как человек с предрассудками – я оскорблен, но клянусь вам честью, что ни за что на свете я бы не променял свою родину и не желал бы иметь иной истории, чем история наших предков, какой ее дало нам провидение».

В последний год своей жизни Пушкин написал стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836), в котором, по примеру Горация, а в русской поэзии, по примеру Ломоносова и Державина, изложил свое гуманистическое кредо. Он был убежден, что его творчество имеет всемирный смысл:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

«Право на славу» мотивировано в знаменитых строках:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

В этих строках творческий итог поэта. В них названы три главных его заслуги перед историей, перед народом, в них гуманистическое завещание последующим поколениям писателей.

Характерно, что слово «Свободу» Пушкин пишет здесь с заглавной буквы. Советский историк М. Нечкина справедливо отмечала: «Едва ли во всей дореволюционной литературе найдется имя хотя бы одного гениального поэта, который был бы более органично и неразрывно связан с историей революционно-освободительного движения в своей стране, чем Пушкин». Восславление свободы души, свободы мысли, гражданской свободы – главнейшая его тема.

Пушкин не мог обращаться к широкому народному читателю – крепостная Россия была неграмотной. Но в его стихотворении «Памятник» звучала твердая убежденность, что разрыв между поэтом и народом будет преодолен:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Это время пришло.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тринадцатый директор

В связи с тем, что Добраницкому Мечиславу Михайловичу были предъявлены обвинения необоснованно, отменить постановление Центрального райкома ВКП(б) от 16 октября 1935 года об исключении его из партии. Подтвердить членство Добраницкого в партии с июня 1923 года и считать его реабилитированным в партийном отношении (посмертно).

Из постановления бюро
Ленинградского обкома
КПСС от 6.12.1988 года

В октябре 1930 г., сменив на посту академика Н.Я. Марра, тринадцатым директором Государственной Публичной библиотеки стал Мечислав Михайлович Добраницкий.

Его личность вызывает особый интерес – и в силу огромности и сложности проблем, которые им решались, и по причине злой воли, перечеркнувшей его судьбу безжалостно и внезапно на самом взлете.

Он родился в 1882 г. в Лодзи в купеческой семье. По национальности поляк. К 1990 г. окончил в родном городе реальное училище и поступил в политехникум в Шарлоттенбурге (район Большого Берлина) на машиностроительный факультет, откуда ушел со второго курса. Учился с перерывами в университетах Берлина и Гейдельберга, получив звание доктора права, под-

твержденное им на государственных экзаменах в Казанском университете в 1912 г. Перерывы в учебе имели причиной революционную деятельность, захватившую молодого Добраницкого очень рано.

В 1907 г. в жизни 25-летнего революционера произошло этапное событие: в апреле–мае он принимает участие в Пятом (Лондонском) съезде РСДРП, на котором был избран председателем Мандатной комиссии. Как и вся польско-литовская делегация, Добраницкий по основным пунктам повестки дня поддерживал ленинское большинство в его идеологических баталиях с меньшевиками.

Добраницкий остается в эмиграции, он занимается партийной работой, которую продолжает и по возвращении в Россию после 1910 г., практикуя в Петербурге в качестве помощника присяжного поверенного. В первую мировую войну – солдат на Юго-Западном фронте. В 1917 г. – активный член Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и нередко упоминается в анналах Октябрьского вооруженного восстания.

После победы Великого Октября география деятельности Мечислава Михайловича не менее пространна, чем в дореволюционный период: в Ростове он заведует секретариатом облсо-впрофа, в Тифлисе организует Музей революции и в таком же музее сотрудничает в Москве и одновременно преподает в Коммунистическом университете имени Свердлова. В 1924–1927 гг. Добраницкий – генеральный советский консул в Гамбурге, где, видимо, очень кстати оказались и его знание европейских языков, и широкая культура, и хорошая юридическая подготовка. В Гамбурге он встречает молодую немку, близкую ему по духу, с которой связывает навсегда свою жизнь.

С 1917 г. Мечислав Михайлович сотрудничал в газетах и журналах. В 1926-м он издал «Систематический указатель ли-

Опубликовано: Газета «Вечерний Ленинград» от 13 января 1989 года.

тературы по истории русской революции», сохранивший свою ценность по настоящее время. Но, не боясь ошибиться, можно сказать, что у Мечислава Михайловича к моменту, когда он переступил порог ГПБ, не было какого-либо опыта библиотечной работы. Однако жизненный опыт революционера, юриста, дипломата, глубокая образованность помогли ему быстро восполнить этот пробел. Помогли и умные, высококвалифицированные работники ГПБ, такие, как В.Э. Банк, Р.Б. Зельцде, Л.И. Олавская и другие, которые, как и весь коллектив библиотеки, заинтересованно приняли нового директора.

Утро для Мечислава Михайловича начиналось в 9.00 с обхода библиотеки. Высокого роста, подтянутый, худощавый, появлялся он один, и хотя это было уже привычно, но получалось всегда как-то и неожиданно. Темный костюм, белая рубашка, неброский галстук – все очень скромно, аккуратно. Внешность истинного интеллигента, аристократические руки, длинные пальцы – он сразу внушал к себе уважение. Доставал иногда из кармана белоснежный платок, проводил им по полкам – проверка на чистоту.

С окружающими не был излишне распахнут, больше замкнут. Не часто улыбался. Всегда ровен и одинаков, по лицу было трудно судить, доволен он чем-то или нет. Но когда с кем говорил – был предельно внимателен, все выслушивал, не прерывал. Был обязательен, пунктуален, требователен.

Директорский день его был расписан по минутам – собрания, совещания, выезды «в город», прием посетителей, но суеты не ощущалось, все успевал. В партийных и хозяйственных кругах Ленинграда имел, по-видимому, неплохие связи, и кое-что для ГПБ удалось «пробить». Библиотека взяла курс на техническую специализацию, стала широко помогать массовым и заводским библиотекам, развила работу по МБА, организации экскурсий, выставок, справочно-библиографического обслужи-

вания, копирования текстов. Но много было проблем – теснота в хранилищах и залах, нехватка оборудования, низкая организация труда, некомпетентность... Побывав в ГПБ нарком просвещения А.С. Бубнов, близко узнал про трудности, переживаемые библиотекой, поставил вопрос на Совнарком. По докладу Мечислава Михайловича правительство приняло в октябре 1934 г. постановление о работе книгохранилища. Библиотека получила средства на улучшение обслуживания, и это было хотя и ненадолго, но облегчение для ГПБ.

Жили Добраницкие в здании, где находился Дом Плеханова, по 4-й Красноармейской, 1, в маленькой, с трех окнами во двор, квартирке. По соседству жила Р.М. Плеханова, с которой Мечислав Михайлович был в самых дружеских отношениях. А в квартире 5, здесь же, жил немецкий коммунист-эмигрант Герман Грюнберг, с 1933 г. заведовавший в ГПБ гаражом и часто сопровождавший директора в поездках по городу.

...В стране катились волнами разоблачения «антисоветских заговоров», «правотроцкистских центров», «шпионских гнезд». Из жизни вырывались люди, которых Добраницкий близко знал по партии как верных ленинцев, и конечно, эти факты не прошли мимо его внимания. Круг сужался. «Врагом народа» был назван начальник Библиотечного управления в Москве В.Г. Киров, «двурушником» и «обманщиком партии» В.И. Невский – директор Библиотеки имени В.И. Ленина. И вот настал черед, пришла роковая осенняя ночь и для Мечислава Михайловича. Для него, для его жены, для шофера-немца Грюнберга и для еще одного немецкого антифашиста, тоже работника ГПБ, по имени Франц. О дальнейшей их судьбе, кроме Грюнберга, в библиотеке ничего не знали. А Герман Грюнберг прошел все круги ада сталинских лагерей, чудом выжил и в 1966-м, приехав ненадолго из Потсдама, убежал в ГПБ. Но о Добраницких и Франце он ничего не сказал.

20 июня 1937 г. в газете «За коммунистическое просвещение» с погромной статьей «Двурушник в роли руководителя библиотечным делом» выступил некий П. Нидов. Направо и налево этот черносотенец сыпал обвинения В.Г. Кирову и другим. «Библиотечное дело в РСФСР, – распинался сей автор, – не обеспечено большевистским руководством». Была упомянута им и ГПБ, где «долгое время подвизался, – как говорилось в статье, – ныне снятый и исключенный из партии Дубраницкий...»

В конце прошлого года в библиотеке стало, наконец, известно о судьбе тринадцатого директора и его жены немецкой антифашистки Сусанны Вантцлебен: арестованные и обвиненные в участии «в фашистско-троцкистской, шпионско-диверсионной и террористической организации, существовавшей среди германских политэмигрантов и шуцбундовцев в Ленинграде», как сказано в приговоре, они были расстреляны – Мечислав Михайлович 5 ноября, а Сусанна 24 ноября 1937 г.

Оба реабилитированы в 1960-м, а 6 декабря 1988 г. стало днем восстановления их и в партийных рядах.

*В. ЧУРСИН,
главный библиограф ГПБ*

В поисках утраченного времени

Короткий, лаконичный учебник, который студенты, окончив университет, сохраняют на долгие годы как справочник; учебник, богатый информацией (квинтэссенция предмета) и в то же время легко читающийся, пробуждающий интерес к предмету, – как не мечтать о таком? До последнего времени вузовские учебники по историко-филологическим и историко-журналистским дисциплинам представляли собой толстенные «кирпичи», по ним даже к экзаменам готовиться нелегко: они скучноваты, переполнены необязательным материалом, некоторые преподаватели считают, что учебники даже могут приносить вред студенту, отвлекают от чтения первоисточников.

Попыткой порвать с устоявшейся традицией отмечен новый учебник проф. Б.И. Есина. При небольшом объеме он необыкновенно информативен. Указатель периодических изданий, упомянутых или разобранных, содержит около 150 названий, а указатель имен – до 500. В учебнике приведены сведения о системе рубрик ряда периодических изданий XIX века, круге сотрудников и читателей, тиражах, периодичности, об организационной стороне издательского дела, о том, какие изменения происходили в журналистике на протяжении богатого событиями XIX столетия.

Все это необходимо и интересно будущему журналисту, который в процессе обучения, к великому сожалению, не только

Рецензия на книгу Б.И. Есина «История русской журналистики XIX в.» опубликована в Вестнике Московского университета, сер. 10, журналистика. 1991, № 4.

не должен, но и не может многие издания прошлого века прочесть, даже подержать в руках отдельные номера, подавляющее большинство – библиографическая редкость. Лишь в малой степени возмещают этот недостаток подготовленные на факультете журналистики МГУ сборники и хрестоматии: в них статьи выдающихся публицистов прошлого изъяты из журнального контекста. На наш взгляд, остро стоит задача подготовки ротационных переизданий (в качестве учебных пособий) отдельных номеров «Вестника Европы», «Сына отечества» и других русских журналов и газет, тематических сборников типа «Газетные отклики на убийство Александра II». Но пока что подобная практика существует лишь в зарубежных университетах, а в наших основная нагрузка по-прежнему падает на учебник. Как положительные качества учебника Б.И. Есина отмечу ясность изложения, строгую логичность. Автор, думается, излишне суховат, но этот недостаток – продолжение достоинств книги, отличающейся громадной концентрацией материала.

И в то же время учебник Б.И. Есина, не успев появиться, уже устарел. Пока он, как это у нас водится, проходил долгий, многолетний путь от рукописи к книге, в стране имели место события, как теперь выражаются, судьбоносной значимости. Обнаружилась несостоятельность укоренившегося взгляда, что журналистика – это, прежде всего источник для изучения развития революционных идей в России. Мы поняли необходимость более терпимо и пристально вглядываться в позицию таких сложных и благородных мыслителей, как П.Я. Чаадаев, Ю.Ф. Самарин, А.В. Дружинин, стали более взвешенно подходить к главным идейным спорам в публицистике XIX столетия, например, к полемике Н.В. Гоголя и В.Г. Белинского по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями». По-иному читаются в наши дни и публицисты либерального лагеря, пытавшиеся в 1860–1870-е гг. установить дух большей терпимости,

направить общество по пути мирного, созидательного развития.

Всего этого в учебнике Б.И. Есина нет и не могло быть: автор написал его в эпоху застоя, идеологических табу и трафаретов. Используя выражение самого автора, он ставил перед собой задачу вести «решительный бой с русскими буржуазными либералами».

История журналистики как отдельная научная дисциплина оформилась в послевоенные годы, когда идеологический гнет в стране был особенно тяжок. Она не выдвинула бесспорных нравственных авторитетов, избежавших конформизма, сохранивших внутреннюю независимость, таких, как, скажем, в истории филологии Д.С. Лихачев или М.М. Бахтин. Тем не менее основы новой отрасли науки заложены, накоплен большой фактический материал, и ученым завтрашнего дня нужно будет взять из трудов предшественников все то, что выдержало испытание временем. В том числе из опыта учебника Б.И. Есина.

Но с опозданием вышедшем № 11 за 1990 г. в саратовском журнале «Волга» помещена разгромная, язвительная рецензия на этот учебник. «Волга» обладает репутацией одного из лучших «толстых» журналов российской провинции, имеет исключительно сильный отдел беллетристики. К сожалению, взвешенности, обычно присущей материалам критического отдела этого журнала, в рецензии, подписанной И. Книгин (очевидно, псевдоним), нет.

Думается, автор укрылся за псевдонимом не случайно: в академических кругах издавна принят тон уважительности к оппоненту даже в самых решительных научных баталиях, но «И. Книгин» яростен и нетерпим. Нападая на учебник «История русской журналистики XIX в.» за нетерпимость, он, по сути, дает пример подобной же нетерпимости, только лишь с другим знаком.

Порой возникает мысль, что рецензент не взял труда внимательно проштудировать разбираемую книгу. Он приводит большую подборку цитат из нее, но сами по себе эти цитаты не являются подтверждением главного тезиса, что автору учебника присуща «безответственная легкость суждений». Неужели не прав проф. Есин, когда пишет, что Чехов – «пример журналиста – патриота и демократа»? Справедливо ли его упрекать за то, что пренебрежительное отношение к Гречу и Булгарину выражается в отсутствии инициалов при упоминании их фамилий? Это не соответствует действительности: при первом упоминании их фамилий в тексте, на с. 29, инициалы даны; в книге проводится принцип: в дальнейшем изложении, после первого упоминания, все фамилии даются без инициалов (см., например, упоминания фамилий Пушкина, Рылеева, Бестужева рядом в тексте на с. 28–29). Нельзя не согласиться с рецензентом, когда он сожалеет, что характеристика «Русского вестника» М.Н. Каткова или журнала братьев Достоевских чересчур лапидарная, сбивается на ярлык, но, к сожалению, это издержки жанра, в котором работал ученый.

Б.И. Есин – видный историк дооктябрьской газеты, создатель ряда трудов по истории отечественной журналистики прошлого века, и его научная репутация вряд ли пострадает от резко недоброжелательной статьи в журнале «Волга». Все же печально, что и в академическую критику стали вторгаться приемы предельно политизированной сегодняшней газетно-журнальной полемики. Больше терпимости, уважительности, понимания – к этому, думается, должен стремиться каждый ответственный журналист наших беспокойных дней.

А.А. Чернышев

«Боль, от которой невозможно избавиться»

Два письма Вячеслава Назарова к Андрею Чернышеву

Письмо первое

Здравствуй, Андрей!

Кажется, я понял, что такое старость. Это не хилость тела и духа и не тоска по несбывшемуся – это настоящая потребность в добром слове друга, сказанном не по обязанности, а от души.

Ты прав, наверное, во всем, что касается моей прозы (прости, что сразу начинаю отвечать на твое письмо, а не объяснять, что я послал тебе новый сборник стихов¹, – надеюсь, все правильно). Кроме одного – читателю недоступного.

Я люблю писать фантастику². Для меня это скорее отдых, чем работа. Не знаю, в чем тут дело, но мои стихи – написанные и ненаписанные – не дают мне творческого удовлетворения, не дают наслаждения вдохновением и чувства освобожденности после своего «создания», – всего того, что заставляло писать моих великих предтеч и современников.

Наверное, я их даже ненавижу – стихи. Они вызывают во мне, как подкожный нарыв, они болят внутри и требуют вы-

¹ Вячеслав Назаров. «Световод». Красноярск, 1973.

² Фантастические произведения Вячеслава Назарова печатались в журнале «Енисей», вошли в прижизненный сборник «Вечные паруса», изданный в 1972 г. в Красноярске. После кончины В. Назарова его книги продолжали выходить в Москве, Красноярске, за рубежом. – *Ред.-сост.*

хода, они вздуваются, как фурункулы, в неподходящее время и в неожиданных местах – боль, боль, боль, бесконечная боль, от которой невозможно избавиться. А разве можно любить вечно живущую в тебе боль?

А писать прозу для меня – наслаждение. Я раскрепощаюсь, я чувствую себя проводником какой-то могучей и неведомой мне силы, человеком – больше! – Богом, создающим мир по своему желанию и управляющим судьбами людей – вплоть до жизни и смерти.

Ты, наверное, помнишь старческие занятия Крэга, повторенные Булгаковым в «Театральном романе», – коробка с бумажными человечками, которая ночами превращается во Вселенную.

Видно, кроме стремленья к вершине,
нужно людям немного вина...

Я заметил в последнее время, что все-все! – люди с огромным удовольствием делают, что они не умеют, и говорят о том, чего они не знают. Редакторы и критики московских издательств, к примеру, в своих рецензиях на мою фантастику с «ученым видом знатоков» тратят свой пыл на разгром научно-хулиганских теорий, забывая о литературной стороне дела. А мне смешно – в моем доме буквально пасутся молодые ниспровергатели Эйнштейна из одного нашего «суперинститута» (уж нарушу ради тебя государственную тайну – он занимается биологией космоса и, в этой связи, дельфинами) – авторы этих теорий, защитивших на них кандидатские и докторские. Так вот эти молодые гении очень любят говорить о литературе и считают свой суд над ней окончательным в последней инстанции.

Так что на твое письмо я не только не обиделся, а обрадовался ему – хорошо, что есть человек, который поймет меня и не осудит. Фантастика для меня – бегство, бегство от стихов,

от этой вечной боли, от этого нестерпимого зуда. Разве не показательно то, что фантастику я начал писать после операции на сердце?¹

Кстати, о боли. Вернее, о «Световоде» –

Это больно – сжигает жилы
бесконечный текущий зной...

Эта книжка гениальна. Успокойся, я не спятил – она гениальна для меня. Это – мой потолок. И появиться эта книжка могла только в силу моей болезни – крайком махнул рукой: обиженных Богом – не обижают. Только этим я могу объяснить то, что прошли наши «старые» стихи, и новые – те же «Страна шутов» (стр. 62), «Петух» (стр. 101).

Ты знаешь, Андрюш, сейчас я перелистал «Световод» и готов взять назад все, что написал. Хорошо издавать хорошие книги. Даже стихи. Не зря я все-таки жил на этой старой, забытой Богом земле.

Обнимаю тебя.

Письмо второе

Милый Андрей!

По старой доброй традиции – с Новым годом тебя, с пожеланиями всевозможных успехов и радостей, больших и малых. Если старый год был хорош – пусть новый будет лучше, если плох – все равно пусть будет лучше. Видимо, это наиболее реальное из пожеланий – весы Фортуны постоянно качаются, и ритм этих качаний и есть, по сути, ритм и смысл человеческой жизни.

Я недавно – буквально на днях – вышел из больницы, с очередного бессмысленного и бесполезного «профилактического

¹ Тяжелую операцию на сердце В. Назаров перенес в 1972 г. – *Ред-сост.*

ремонта». Много работаю – хорошо ли, плохо ли, какая разница? – в последнее время это просто чисто животная потребность: думать обо всем, чтобы не думать о себе. С упрямством, достойным лучшего применения, сражаюсь с ветряными мельницами, ибо в остальном я пацифист и вегетарианец.

Всего тебе доброго!

Обнимаю.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора-составителя 3

Раздел ПЕРВЫЙ: ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А.А. ЧЕРНЫШЕВЕ

Ясен ЗАСУРСКИЙ. Преподаватель, ученый, личность 8

Анатолий АНДРИКАНИС. Жили по соседству, вместе учились
в школе 11

Вилен ГУНДОРОВ, Эмма БУРОВА. Третий завет 15

Лев БОРЩЕВСКИЙ. «Высокое рядом с тобой, умей
его разглядеть». 21

Людмила СЕРГЕЕВА. «Слова прощенья и любви» 27

Галина ЛАПШИНА. В строгих рамках филологии 36

Ирина ЛЫСЕНКО. «Не зря прожил день» 40

Леонид ФЕЛЬДМАН и др. Он был поцелован Богом 44

Елена БОНЧ-БРУЕВИЧ. Интеллигентный, бескомпромиссный. . . 45

Людмила ГИЛАНОВА. В орбите его обаяния 50

Владислав ПРОНИН. В котлованах и впадинах памяти. 51

Армен МЕДВЕДЕВ. Все проходит... 56

Владимир ЛИНКОВ. О памяти и ее пределах 62

Игорь ВОЛГИН. Ушел с работы, чтобы всецело отдаться науке. . . 68

Наталья ЗАВЬЯЛОВА. Дорогой наш человек 72

Валерий ЛЫСЕНКО. Во всем серьезность и обстоятельность 73

Александр РУДНЕВ. «Вашим мнением дорожу...» 78

Сергей ЧЕРНОВ. Заметил мои горящие глаза.... 84

Андрей РАСКИН. Кто хотел, тот взял, сохранил,
понес дальше.... 87

Григорий ПРУТЦКОВ. Главный урок профессора Чернышева. . . . 91

Наталья ЛЕВИТИНА. Спасибо за планку!. 94

Артем ЛЫСЕНКО. От первого до третьего звонка 99

Шерзодбек КУЧКОРОВ. Рука в руке	114
Алла АЗАРОВА (ЧЕРНЫШЕВА). Мой муж, мой друг, моя гордость	117

Раздел ВТОРОЙ: О ЖИЗНИ, ДРУЗЬЯХ, РАБОТЕ

А. ЧЕРНЫШЕВ. Коммунист-праведник	156
А. ЧЕРНЫШЕВ. О Вячеславе Назарове.	163
Вспоминая друга-поэта	163
О ранних стихах Вячеслава Назарова	176
А. ЧЕРНЫШЕВ. Предисловие «От автора» к книге «Открывая новые горизонты»	189
А. ЧЕРНЫШЕВ. Печать русской эмиграции в Берлине	193
А. ЧЕРНЫШЕВ. Бахметевские сокровища и алмазы Алданова	197

Раздел ТРЕТИЙ: ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА. ПУШКИН

А. ЧЕРНЫШЕВ. Конспект лекций по русской литературе, прочитанных в Будапештском университете	226
--	-----

Приложения

В. ЧУРСИН. Тринадцатый директор	430
А. ЧЕРНЫШЕВ. В поисках утраченного времени.	435
«Боль, от которой невозможно избавиться».	
Два письма В. Назарова к А. Чернышеву	439



ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕГНЕР

ЭЛЛАДА

ОЧЕРКИ И КАРТИНЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
ДРЕВНОСТИ И ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ

Сочинение д-ра ВИЛЬГЕЛЬМА ВЕГНЕРА.
Четвертое русское, исправленное и
значительно дополненное издание (1900 г.)
под редакцией проф. В.И. Модестова.
Перевод с немецкого П. Евстафьева.

Научный редактор, автор вступительного
слова и примечаний издания 2018 г. –
главный научный сотрудник Института
всеобщей истории РАН, профессор, доктор
исторических наук Игорь Евгеньевич Суриков.

М. : О-во сохранения лит. наследия, 2018, 880 с., ил.

Перед читателем в «Элладе» Вегнера, точно в панораме, проходят живые, художественно исполненные, но в тоже время исторически верные картины кипучей жизни и быта древних эллинов, во всех их блестящем разнообразии, во всех фазах их развития. Громкие дела великих героев Эллады, подвиги граждан, битвы, и войны, государственное и гражданское развитие страны, народные обычаи, картины природы, семейный быт – все это рассказано и описано автором в его замечательном труде с большим талантом и тщательностью, в удивительно простой, ясной и доступной форме. Но, кроме внешних событий, читатель найдет в «Элладе» наглядную характеристику всей духовной деятельности греческого народа, насколько она проявилась в науке, архитектуре, скульптуре, живописи, во всех творениях эллинского гения, в домашней и общественной жизни.

Издание содержит более 400 иллюстраций, карты, схемы.

Подробнее – на сайте издательства «ОСЛН» – osl.n.ru



ПУТЕШЕСТВИЕ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХА МАКАРИЯ В РОССИЮ В ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА

описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским



М.: «О-во сохранения лит. наследия», 2019.
– 728 с., ил. изд. 4-е, ляссе, стандарт – 4 экз.
ISBN 978-5-902484-46-2

В царствование Алексея Михайловича дважды приезжал в Россию Антиохийский патриарх Макарий: в первый раз (1656 г.) для сбора пожертвований, а во второй, – десять лет спустя, – для суда над патриархом Никоном. В первый приезд с ним был его родной сын, архидиакон Павел Алеппский, который составил подробное и чрезвычайно интересное описание трёхлетнего путешествия своего отца. По полноте и разнообразию содержания описание Павла Алеппского – один из самых лучших и ценных письменных памятников о России середины XVII века и во многих отношениях превосходит записки о ней тогдашних западноевропейских путешественников.

На русский язык перевод с арабской рукописи Московского Главного архива Министерства иностранных дел выполнил проф. Г.А. Муркос (1846–1911).

За основу данного издания взяты пять выпусков этого труда, выходявших из печати в 1896–1900 гг.

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС Р19-902-3029

Книга представлена в интернет-магазине «ЛитНаследие»
в разделе «Православные издания «ОСЛН» – www.osln.ru

E-mail: litnas@mail.ru

Тел. 8 (495) 589-81-33; тел./факс 8 (495) 671-99-64

Михаил Девятаев

ПОБЕГ ИЗ АДА

На самолёте врага из немецко-фашистского плена

М.: «О-во сохранения лит. наследия», 2018,
232 с., ил. Изд. 2-е.

Редакторы-составители А.М. Девятаев,
Н.М. Девятаева, В.П. Лысенко.

Руководитель проекта Л.Г. Рудин.



Книга лётчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева (1917–2002) посвящена советским воинам – победителям в Великой Отечественной войне. М.П. Девятаев 8 февраля 1945 г. совершил побег из немецко-фашистского плена на угнанном немецком бомбардировщике «Хейнкель He 111» с девятью узниками концлагеря на борту с острова Узедом – секретного немецкого испытательного полигона ФАУ-1 и ФАУ-2. Книга в новой редакции дополнена фотоснимками и материалами, в которых рассказывается о том, как сложилась жизнь героя и автора после войны, воспоминаниями дочери – Н.М. Девятаевой, очерками о самолётах, на которых воевал прославленный лётчик, о мемориальном Доме-музее М.П. Девятаева на его родине – пгт Торбеево Республики Мордовия. Книга адресована интересующимся историей Великой Отечественной войны, отечественной авиации, вопросами военно-патриотического воспитания молодёжи. Она может стать ценным и памятным подарком для ветеранов и всех, кто связан своей памятью с Великой Отечественной войной.

Контакты:

E-mail: litnas@mail.ru

Тел. 8(495) 589-81-33;

тел./факс 8(495) 671-99-64.

Дополнительная информация,
а также каталог предлагаемой литературы
на сайте издательства
www.osln.ru



Воспоминания

«Делать в жизни свое дело»

**Воспоминания
об Андрее Александровиче Чернышеве**

Редактор-составитель – *А.В. Лысенко*
Директор ОСЛН – *Л.Г. Рудин*
Корректор – *Л.И. Смирнова*
Верстка – *А.Е. Успенский*

Подписано в печать 27.11.2019
Формат 60x90 1/16. Объем 28 п.л. Тираж 100 экз. Заказ №

Отзывы на книгу от читателей будут приняты с благодарностью.
Почтовый адрес для писем: 109316, Москва,
Волгоградский пр-т, 4 – 175;
e-mail: litnas@mail.ru

Издательство «Общество сохранения литературного наследия»
«ОСЛН» www.osln.ru
Тел. 8(495) 589-81-33, тел./факс 8(495) 671-99-64

ISBN 978-5-902484-96-7



9 785902 484967